

# История лингвистических учений

---

Древний  
мир



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

*ИСТОРИЯ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  
УЧЕНИЙ*

ДРЕВНИЙ МИР



ЛЕНИНГРАД  
«НАУКА»  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
1980

Ответственные редакторы:  
*А. В. ДЕСНИЦКАЯ, С. Д. КАЦНЕЛЬСОН*

**И**  $\frac{70101-506}{042(02)-80}$  511.79.4602000000.

© Издательство «Наука», 1980 г.



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Подобно истории других наук, история языкознания ближайшим образом раскрывается как история проблемных ситуаций, сменявших одна другую в ходе развития данной науки. Каждая историческая эпоха в развитии данной науки характеризуется разработкой определенных вопросов, отчасти унаследованных от предшествовавших поколений исследователей, отчасти же заново вставших перед наукой данной эпохи. Общие закономерности развития науки стали привлекать особое внимание в наше время, характеризующееся революционной перестройкой ряда наук.

Известный интерес в плане освещения процессов исторического развития науки представляет теория парадигмы, выдвинутая в последние десятилетия американским историком физики Томасом Куном в книге «Структура научных революций» (T. S. Kuhn. The structure of scientific revolutions. Chicago, 1970). Согласно концепции Куна, на ранней стадии развития науки общепринятой концепции, или, как выражается Т. Кун, «парадигмы» данной науки еще не существовало. В науке господствовал еще полный разнобой по поводу проблематики, границ, методов и основных понятий. Требовалось значительное время для того, чтобы постепенно выработалась некая парадигма как общепринятый образец актуальной научной практики. Из предпарадигмальной эпохи наука выходит с некоторым набором проблем, задающих общее направление исследований и отвлекающих ученых от разнобоя и поисков альтернативных решений. Парадигма обеспечивает содружество исследователей, сплачивает их в единое сообщество. Пока господство данной парадигмы сохраняется, несовместимые с ней факты и утверждения подгоняются под общие принципы либо вовсе игнорируются. Когда же напор новых фактов и положений, противоречащих данной парадигме, становится все более очевидным, господство парадигмы постепенно расшатывается и возникает ситуация кризиса. В науке возникают несовместимые друг с другом направления, единство

научного сообщества становится проблематичным, и в результате научной революции на смену старой парадигме приходит новая.

Слабой стороной концепции Куна является невнимание к внутренней логике развития науки. Лежащее в основе данной концепции понятие парадигмы односторонне ориентировано лишь на понятие «сообщества ученых», спланируемого с помощью парадигмы. Познавательная ценность парадигмы и ее место в процессе развития научного знания, как и внутренняя логика этого процесса, остаются у Куна нераскрытыми. Отдельные этапы в становлении данной науки и преемственность между различными стадиями в сущности оказываются за пределами куновской теории парадигм. Допускаемая некоторыми сторонниками теории парадигм возможность сосуществования нескольких парадигм в одну историческую эпоху подрывает само понятие парадигмы. В итоге, как замечает М. Г. Ярошевский во Введении к «Истории психологии», «... куновская концепция, вызвавшая широкий резонанс в историко-научных исследованиях, справедливо подверглась критике за отщепление внутренней логики развития науки от воздействия на нее социально-экономических факторов, а также за отрицание преемственности между различными стадиями в становлении научного знания».<sup>1</sup>

Смена «парадигм» в процессе развития науки отнюдь не случайный, а исторически мотивированный процесс. Задача исследователя истории науки заключается в раскрытии логической природы каждого нового шага в развитии науки и тем самым в установлении материальной природы нового открытия как определенной ступени в познании мира. Организация и правильная ориентация кооперированных усилий содружества ученых несомненно является важной предпосылкой плодотворного развития науки. Но для того чтобы такая организация была успешной, необходимо, чтобы разрабатываемая таким содружеством теория отражала существенные категориальные связи объективного мира.

\* \* \*

Интерес к прошлому нашей науки заметно возрос в последние десятилетия. Наряду с общими работами, стремящимися охватить всю историю языкознания с древнейших времен до настоящей поры,<sup>2</sup> вышло в свет множество частных исследований по отдельным эпохам и направлениям, а также хрестоматий, переизданий классических сочинений и т. д.<sup>3</sup> Интерес этот не случаен.

<sup>1</sup> Ярошевский М. Г. История психологии. М., 1976, с. 9—10.

<sup>2</sup> См., например: Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975.

<sup>3</sup> Звегинцев В. А. Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX вв. 1-е изд. М., 1956; 2-е изд., расширенное, М., 1960; Брезин Ф. М. Очерки по истории языкознания в России (конец XIX—начало XX в.). М., 1968; Helbig G. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft. Leipzig, 1970;

Он тесно связан с процессом развития теоретического языкознания, принявшим в наше время особенно интенсивную форму. Мы имеем здесь дело с определенной закономерностью, уже отмечавшейся некоторыми исследователями. С удивительной проницательностью писал на эту тему акад. В. И. Вернадский:

«История науки . . . должна критически составляться каждым научным поколением и не только потому, что меняются запасы наших знаний о прошлом, открываются документы или находятся новые приемы восстановления былого. Нет! Необходимо вновь перерабатывать историю науки, вновь исторически уходить в прошлое, потому что благодаря развитию современного знания в прошлом получает значение одно и теряет другое. Каждое поколение научных исследователей ищет и находит в истории науки отражение научных течений своего времени. Двигаясь вперед, наука не только создает новое, но неизбежно переоценивает старое, пережитое».<sup>4</sup>

Чем же вызывается необходимость повторных переоценок истории науки? — Как могут на свалках истории отыскиваться идеи, созвучные новейшим направлениям, и как такие отжившие свой век идеи могут обрести вдруг жизненную значимость для решения вопросов, всплывших лишь в самое последнее время? — Чтобы ответить на эти вопросы, надо прежде всего присмотреться к специфическим взаимоотношениям между историей языкознания и теорией языка.

История языкознания тесно связана с теорией языка. В некотором смысле можно даже сказать, что обе науки имеют дело с различными аспектами одного и того же объекта. Обе они прямо или косвенно вырастают на основе социально-исторического процесса познания языка. Но если теория языка главным образом интересуется результатами познавательного процесса и стремится упорядочить их, опираясь на объективные связи элементов языковой системы, то история языкознания поглощена изучением того же процесса в его становлении и больше внимания уделяет субъективной стороне дела — заслугам отдельных ученых, борьбе мнений и направлений, преемственности традиций и т. д. В сущности говоря, теория языка это та же история языкознания, но очищенная от проявлений субъективного фактора и систематизированная по объективным основаниям и, с другой стороны, история языкознания — это персонифицированная и драматизированная теория языка, в которой каждое научное понятие и теоретическое положение снабжено ярлыком с указанием лиц, дат и конкретных обстоятельств, связанных с их появлением в науке.

Внутренняя связь истории языкознания с теорией языка осознана в науке уже давно, едва ли не с момента возникновения

---

Koerner E. F. K. Towards a Historiography of Linguistics. — *Antropological Linguistics*, 1972, 14, p. 255—280.

<sup>4</sup> Вернадский В. И. Очерки и речи, вып. 2. Пг., 1922, с. 112.

истории языкознания как самостоятельной лингвистической дисциплины. Уже Х. Штайнталь, один из зачинателей этой науки, мотивировал необходимость специальных историко-лингвистических изысканий общим состоянием грамматической теории его времени. Значительные успехи сравнительно-исторического языкознания, как и немецкой классической философии, поставили перед наукой, по мысли Штайнталья, задачу перестройки грамматики. Ломка старых воззрений, своими корнями уходивших в античную древность, должна была начаться с критики их теоретических оснований. «Хоть скоро мы решились, — писал немецкий языковед, — окончательно порвать со старой грамматикой, — мы должны исследовать ее истоки у греков. Историческое прошлое грамматики, рассматриваемое в его отношении к будущему, представляет, таким образом, актуальный интерес для современности».<sup>5</sup>

[Обнажая историко-генетические корни теории, вступившей в конфликт с современным уровнем позитивных знаний, критика становится более углубленной и эффективной. Она помогает нам тщательнее отслаивать рациональные моменты в традиционных воззрениях от посторонних примесей. В целом, однако, было бы неправильно думать, что интерес к истории науки продиктован лишь необходимостью критической оценки устаревших идей. В не меньшей степени он вызывается задачами положительной разработки новых взглядов. Конечно, новое содержится в старом не в готовом для использования виде, и только вооруженный современными знаниями и по-новому ориентированный исследователь способен усмотреть в стародавних суждениях зародыши актуальных концепций. В этой обновляющей функции содержится, быть может, самое удивительное из того, что способна предложить история языкознания современному исследователю языка.

Настоящее издание является первой в ряду издаваемых Ленинградским отделением Института языкознания АН СССР монографий, посвященных истории лингвистических учений как в Европе, так и в других странах мира.

\* \* \*

Ответственные редакторы выражают свою искреннюю признательность И. А. Перельмутеру за большую научно-организационную работу при подготовке к изданию этой книги.

*С. Д. Кацнельсон*

---

<sup>5</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern mit besonderer Rücksicht auf die Logik. Berlin, 1863, S. 4.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН О ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ

В трудах по истории языкознания либо вообще ничего не говорится о Древнем Египте, либо его упоминают почти вне всякой связи с историей лингвистики, чаще всего, например, по поводу дешифровки египетских иероглифов. Это, разумеется, не случайно. В Древнем Египте не было «лингвистического учения», т. е. совокупности каких-либо теоретических положений о языке. Поэтому до нас не дошло ни языковых исследований, ни описания с точки зрения лингвистической каких-либо грамматических явлений, ни упоминания грамматических категорий, ни даже каких-либо грамматических терминов, хотя и существовали практические пособия для писцов или будущих писцов типа лексикографических справочников или толковников знаков письма.<sup>1</sup>

Впрочем, в этом отношении немногим лучше дело обстояло и в других возникающих отраслях науки — математике, астрономии, медицине, ветеринарии, — о чем свидетельствуют довольно подробные и обширные справочники. Например, судя по математическим папирусам, которые представляют собой сборники иногда довольно сложных практических арифметических и геометрических задач, тенденция к абстрагированию еще только начала проявляться. Однако еще не утвердилось понятие абстрактного числа, не было математической символики, не было абстрактных понятий точки, линии, треугольника, круга, шара, фигуры, стороны и т. д.

В пособиях по медицине тоже можно обнаружить примеры проявления теоретического интереса к отвлеченным проблемам. Так, в медицинском папирусе Эберса впервые высказана общая теория возникновения болезней (нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы), а в анатомо-хирургическом папирусе Смита исследован случай, имеющий без сомнения лишь теорети-

---

<sup>1</sup> Коростовцев М. А. Писцы Древнего Египта. М., 1962, с. 41—47.

ческое значение (смещение костей тела в результате падения человека с большой высоты на голову). В целом же и медицинские папирусы представляли собой перечни болезней, травм и конкретных способов их лечения.

Таким образом, даже в математике и медицине, развитие которых подталкивалось их большим практическим значением, нельзя найти научных трактатов, которые излагали бы сумму каких-либо теоретических положений или абстрактных предпосылок.

Можно думать, что отсутствие теоретических трудов, в частности касающихся языковых проблем, не является случайностью. Это, конечно, отнюдь не свидетельствует о «несклонности» египтян к абстрактным проблемам вообще, а связано, видимо, с тем, что абстрактное мышление, столь рано и ярко проявившееся у египтян в религии, мифологии и искусстве, еще только начало проникать в сферу научных знаний, причем прежде всего тех, которые основывались на отчетливых эмпирических результатах и возможности непрерывного сравнения этих результатов.

В области же языка отсутствие теоретического интереса к языковым явлениям определялось, по-видимому, также и относительной изолированностью Египта от других народов. До начала XVII в. до н. э., т. е. более чем в течение тысячелетия с момента создания египетского государства, территория Египта была вне досягаемости иноземных нашествий. Походы же египтян на юг и в Переднюю Азию носили весьма ограниченный характер и были направлены против небольших государств и племен, стоявших на столь низкой ступени развития, что и это не стимулировало изучения языка, хотя бы исходя из попытки сравнения. Строго говоря, египетские глаголы речи «говорить» (*ḡd*) и «вещать» (*mdw*) относились только к египтянам, остальные же «горностраницы» (т. е. чужеземцы) не «говорили», а «лопотали», «бормотали» (глагол *ḡʿ*), что, как можно думать, по мнению египтян, зависело от неправильного положения языка во рту.

Дело в том, что, хотя у египтян были разные слова для выражения понятия «язык» как физического органа и для понятия «язык» как способности говорить, они были уверены, что речь производится непосредственно языком и, для того чтобы научиться другому языку, следует просто изменить положение языка во рту, «перевернуть» его.<sup>2</sup> Разумеется, эта «теоретическая» предпосылка не сказывалась на практических методах изучения иностранных языков.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sauneron S. La différenciation des langages d'après la tradition égyptienne. — Bull. Inst. française d'archéologie orientale, 1960, t. LX, p. 40—41. Автор приносит большую благодарность Вяч. Вс. Иванову, который при обсуждении доклада любезно указал автору на эту интересную статью.

<sup>3</sup> Вопрос об изучении египтянами иностранных языков и о распространении египетского языка за пределами Египта подробно освещен М. А. Коростовцевым (указ. соч., с. 100—111) в гл. V («Египетская культура и окружающий мир»).

Наконец, не было выработано и некоторых философских, в частности логических, предпосылок, которые тоже могли бы явиться стимулом для создания каких-либо теоретических исходных положений при изучении языка.

Все это не только не свидетельствует о существовании какого-либо «лингвистического учения» в Древнем Египте, но на первый взгляд даже о проявлении интереса к языку вообще. Но последний вывод был бы преждевременным, так как имеются довольно веские данные о возникновении интереса к языку в самые отдаленные времена египетской истории.

Например, определенное внимание к тайне происхождения языка и его значению существовало уже в древнейшую эпоху. Об этом свидетельствует известный «Мемфисский философско-богословский трактат», составленный около середины III тыс. до н. э.<sup>4</sup> Он был создан ради утверждения превосходства Птаха, главного бога новой столицы объединенного Египта — Мемфиса, над богами древнейшего религиозного центра Гелиополя. Последние (в том числе и бог солнца Атум) определяются лишь как «зубы и губы в устах Птаха, которые называют имя всякой вещи». Основными органами мироздания объявляется сердце (по египетским представлениям — средоточие мысли) и язык, т. е. речь, Птаха. Это положение подкрепляется ссылкой на то, что человеческие чувства (зрение, слух, обоняние) представляют материал для мысли, а уже речь выполняет замысленное («это язык повторяет задуманное сердцем»). Утверждается даже, что творец всего сущего всебог Птах «был удовлетворен, после того как он создал все вещи и все божественные слова». Учитывая полемический характер трактата, можно думать, что до выдвижения Птаха на роль общеегипетского бога творцом речи и «имени всякой вещи» считался главный бог Гелиополя Атум. Нет сомнения, что и в дальнейшем создание языка связывалось с деятельностью того бога, который по тем или иным причинам получал общегосударственное значение. Так, более чем через тысячелетие после составления мемфисского трактата фараоном Аменхотепом IV — Эхнатом (ок. 1400 г. до н. э.) создателем и властителем вселенной был провозглашен «солнечный диск дневной» Атон. Ему и было приписано, что он вкладывает речь в уста каждого младенца и наделяет народы разными языками.<sup>5</sup>

Но если создателями речи считались в Египте общегосударственные божества, то на всем протяжении египетской истории покровителем правильной устной речи, а также счета, меры, всех знаний считали изобретателя письма, «властителя книг», бога

---

<sup>4</sup> Sethe K. *Dramatische Teste zu altaegyptischen Mysterienspielen*. Leipzig, 1928.

<sup>5</sup> Sandman M. *Texts from the time of Akhenaten*. Bruxelles, 1938, p. 93—96.



луны и мудрости Тота,<sup>6</sup> почитавшегося в образах ибиса или павиана, а покровительницей искусства письма и счета — богиню Сешат. Любопытно, что Тоту приписывалось и осуществление таинственной возможности передачи того, что написано, с помощью звуковой речи.<sup>7</sup>

К таким мифологическим представлениям о языке мы можем вполне отнести слова В. Томсена, что это «свидетельства той притягательной силы, которую всегда имели такие проблемы для человеческого ума».<sup>8</sup>

Однако отсутствие каких-либо научных теоретических положений о языке и внимания к научно-теоретическим языковым проблемам не исключает того, что у египтян был совершенно определенный интерес к некоторым практическим задачам, близко связанным с языковыми проблемами, т. е. прежде всего с письмом и практическими потребностями обучения этому письму.

Учить будущих писцов правильно писать и выражать свою мысль в соответствии с правилами хорошего писцового тона — это задача писцов с момента возникновения египетской письменности. Об этом говорится в произведениях особого литературного жанра — поучениях, и об этом свидетельствуют многочисленные школьные упражнения.

Естественно, что многие правила письма и стиля основывались на определенном понимании и восприятии отдельных языковых фактов, что в сумме складывалось в какие-то представления, пока еще, правда, подсознательные, о некоторых явлениях языка. Поэтому как любая задача математических папирусов является ценным свидетельством о математических представлениях египтян, так и любой египетский текст (учитывая к тому же своеобразие египетского письма) может являться для исследователя источником сведений о языковых явлениях. Для иллюстрации приведем следующий пример. Известно, что в связи с особенностями своего письма (в частности, в связи с игнорированием в письме гласных) египтяне для правильного чтения использовали смысловые определители — детерминативы, которые ставились почти после всех знаменательных слов, написанных звуковым способом. Из того факта, что и после фразеологической группы следовал общий детерминатив, как после отдельного слова, можно сделать вывод о подсознательном ощущении египтянами того

<sup>6</sup> Нет сомнения, что сведения Платона, который в начале IV в. до н. э. побывал в Египте, что Тот «первый изобрел числа и счет, геометрию и астрономию, игру в шашки, игру в кости, а также и письмена», основаны на египетской традиции. Однако вряд ли к ней восходит его сообщение, что Тот выделил из потока речи отдельные звуки и создал «единую науку о многих буквах» — грамматику (П л а т о н. Соч. в 3 т., т. III, ч. 1. М., 1971, с. 20).

<sup>7</sup> «Дает он, чтобы вещало письмо», — так определяется роль бога Тота в медицинском папирусе Эберса (Eb. I, 8): G r a p o w H. Grundriß der Medizin der alten Aegypter. V. Berlin, 1958, S. 530).

<sup>8</sup> Томсен В. История языковедения до конца XIX века. М., 1938, с. 8.

языкового явления, что фразеологические единицы стоят ближе к слову, чем свободные словосочетания. Такие мелкие примеры подсознательного восприятия некоторых языковых явлений можно было бы приумножить.

Внимание к языковым явлениям у египтян явно увеличивается с довольно точно определяемого времени, примерно с XVII—XVI вв. до н. э. До этого времени с момента появления письменных памятников египетский язык около полутора тысяч лет развивался как язык синтетический (это так называемые староегипетский и новоегипетский языки). В указанный же выше период тип языка начал сменяться на аналитический, первый этап которого получил наименование новоегипетского языка. Эта смена, между прочим, характеризуется теми же особенностями, которые через тысячелетия и в иной семье языков имели место при переходе от народной латыни к романским языкам, например изменением фонологической системы, зарождением артикля, появлением новых видов местоимений, увеличением числа и роли сложных глагольных конструкций с вспомогательными глаголами и т. п.

Хотя при переходе к новоегипетскому языку прежде всего изменился фонологический строй языка, древняя система египетского письма осталась прежней. По ряду причин она не была в состоянии отразить новшества в языке и многое скрывала под старой оболочкой. Перед египтянами встал совершенно конкретный вопрос, как в новых условиях правильно читать свои постоянно воспроизводимые классические и новоегипетские литературные тексты и, следовательно, как в письме следует отражать такое важное языковое явление, как естественное членение речевого потока.

В этом направлении египтянами был сделан любопытный шаг, впервые, пожалуй, отражавший уже не подсознательные, а вполне сознательные представления о делении речевого потока. Судить об этом позволяет графический прием, который египтяне стали использовать во многих литературных текстах с начала Нового царства, — так называемые «красные точки» над строкой, своеобразные семантико-синтаксические сигналы, которые указывали на членение текста на отрезки.<sup>9</sup>

Исследование выделенных «красными точками» отрезков показывает, что они иногда совпадали с простыми предложениями, т. е. с нашим синтаксическим членением речи. Однако таким отрезком могли быть и два простых предложения, связанные причинно-следственным отношением, и сложноподчиненные предложения. В свою очередь, от простых и сложных предложений «красными точками» могли отделяться такие элементы, как например некоторые виды определений, придаточных предложений,

---

<sup>9</sup> Петровский Н. С. Проблема изучения синтагматики древнеегипетской речи. — В кн.: Ассириология и египтология. Л., 1964, с. 116—127.

косвенных дополнений, обстоятельств. Отделяемый элемент речи мог состоять и из одного знаменательного слова и являться словосочетанием. Хотя египетское представление о членении потока речи иногда совпадает с нашим представлением о синтаксическом делении на предложения и члены предложения, оно имело свои особенности. Это видно на тех примерах, когда некоторые типы обстоятельств и косвенных дополнений не отделяются «красными точками», а составляют с предложением одно целое и, наоборот, когда в словосочетании зависимый член отделяется от независимого.

Следовательно, членение речевого потока египтянами нельзя считать грамматическим. Оно соответствовало их представлению о другом реально существующем делении речи на единицы, представляющие фонетическое и смысловое целое, т. е. на синтагмы.<sup>10</sup> Принципы членения египетского текста на синтагмы с помощью «красных точек» или, точнее, «синтагматических точек» говорят о том, что эти элементы речевого целого являлись прежде всего единицами смысловыми, семантическими, синтаксический объем которых был различен и зависел от смысла высказывания и от стиля речи.

Осознание синтагматического членения речи свидетельствует также о главной особенности восприятия египтянами языковых явлений: от целого к его элементам.<sup>11</sup>

При этом нет сомнения, что на практике египтяне хорошо выделяли предложения, слова и значимые части слов, на что указывают школьные упражнения.

В целом можно констатировать, что древние египтяне ощущали членение своего речевого потока прежде всего на элементы значимые, смысловые, а не грамматические. «Верхней границей» этого деления в восприятии египтян являлась та значимая единица, которую мы сейчас называем синтагмой. Синтагмой могло быть и отдельное слово, которое египтяне прекрасно различали.

Но, как известно, существует конечная, уже далее нечленимая значимая единица языка — морфема, которая обладает либо лексическим, либо грамматическим значением. Среди последних (служебных) морфем в египетском языке можно найти различные словообразующие и формообразующие аффиксы. Например, к префиксам можно отнести «приставочную согласную» каузатива, к суффиксам — так называемые «местоимения-суффиксы», к ин-

---

<sup>10</sup> Ср. определение синтагмы Л. В. Щербы: «Фонетическое единство, выражающее смысловое целое в процессе речи—мысли» (Щ е р б а Л. В. Фонетика французского языка. М., 1935, с. 87).

<sup>11</sup> «Учение о словосочетании и учение о синтагме, — пишет В. В. Виноградов, — касаются разных сторон синтаксического строя языка и предполагают разный подход к языку: от элементов к целому (словосочетание) и от целого к элементам (синтагма)» (В и н о г р а д о в В. В. Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка. — В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950, с. 247).]

фиксам — форманты различных глагольных форм. Можно привести пример и формообразующей глагольной флексии.

Представляется несомненным, что египтяне осознавали все значимые элементы речи, т. е. не только высшие значимые единицы — синтагмы, но и минимальные значимые единицы, которые мы сейчас называем морфемами, в частности четко выделяли служебные морфемы. На это указывают тщательность и повторяемость выписывания служебных морфем, о чем свидетельствуют прежде всего школьные упражнения, специально посвященные этому. Например, на одном новоегипетском остроконе дана таблица ограничения вспомогательного глагола «быть» с помощью местоимений-суффиксов для указания лица и числа.<sup>12</sup> При этом местоименно-суффиксные морфемы выписаны в своеобразном порядке: после первых лиц обоих чисел следуют третьи лица, а затем вторые. Правда, в значительно более поздних школьных упражнениях в таких «парадигмах» глаголов местоимения-суффиксы расположены в привычном нам порядке. Подобные примеры свидетельствуют и о внимании египтян к классификации грамматических явлений.

Как мы считаем, подсознательное различение египтянами низших значимых единиц — морфем имело огромное практическое значение; оно легло в основу создания ими развитой подсистемы звуковых знаков в общей фонетико-идеографической системе их письменности. Звуковые знаки египетского письма по своей природе являлись графемами, передававшими консонантный состав морфем, т. е. консонантными морфеграфемами.<sup>13</sup> Как известно, морфемная система письма встречается у некоторых народов. С другой стороны, бывают консонантные виды письма в консонантно-фонемной форме. Но консонантно-морфемный вид фонографического письма пока можно обнаружить лишь у древних египтян. Консонантизм египетского письма был вызван прежде всего игнорированием гласных при письме. Поэтому древнеегипетское письмо необходимо включало в себя и семантическую часть — так называемые идеографические знаки. В целом египетское письмо можно определить как консонантно-морфемно-идеографическое письмо. Такой характер письма, возникшего в конце IV тыс. до н. э. и разработанного в начале III тыс. до н. э., вполне соответствовал своеобразию египетского мышления в ту древнюю эпоху и уровню их подсознательных представлений о языковых и фонетических явлениях. Следует подчеркнуть, что не существует никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что египтяне различали

---

<sup>12</sup> Cerny J., Gardiner A. Hieratic Ostraca. Vol. I. Oxford, 1957, pl. VIII, 7.

<sup>13</sup> Петровский Н. С. Звуковые знаки египетского письма как система. М., 1978.

отдельные звуки членораздельной речи — фонемы,<sup>14</sup> но они выделяли, как и другие морфемы, простейшие морфемы, звуковая оболочка которых состояла из одного консонанта. На этом основании среди египетских консонантных морфемаграм (наряду с дву-, трехслоговыми знаками) существовали однослоговые знаки, которые неудачно определяют как египетский «алфавит». На самом деле эти знаки являлись простейшими консонантными морфемаграммами, отражавшими один консонант, а не буквами, которые используются для графического обозначения фонем.<sup>15</sup>

Лишь для очень позднего времени истории Египта можно отметить возникновение интереса к материальной форме слов. Возможно, однако, что это уже связано с влиянием греко-римских воззрений. Так, например, на фрагменте демотического папируса римского времени (середина I в. н. э.) мы видим три разных слова, объединенных по признаку одинакового звучания.<sup>16</sup>

Ценным свидетельством возникновения интереса у египтян к звуковой стороне языка являются практические пособия для запоминания знаков письма. Как мы упомянули выше, у египтян была фонетико-идеографическая система письма. Это обстоятельство и сейчас позволяет рассматривать египетские знаки как со стороны идеографической (например, классифицировать их по внешнему виду), так и со стороны звуковой. Именно эти две возможности восприятия своего письма можно обнаружить у древних египтян, хотя и в очень позднее время. Первый подход проявился в «Папирусе знаков из Таниса» (II в. н. э.).<sup>17</sup> От этого справочника знаков дошло свыше 200 иероглифов и соответствующих им скорописных иератических знаков. Они были сгруппированы по внешнему виду, т. е. сперва идут знаки, изображающие человека, затем — животных, птиц и т. д. Краткие пояснения к знакам определяли их смысловые значения.

Иной характер носило другое пособие по изучению знаков, так называемый «Иероглифический словарь» (I в. н. э.).<sup>18</sup> Судя

---

<sup>14</sup> Вот почему сообщение Платона в диалоге «Филеб», что «некий Тот» первый выделил из потока речи отдельные звуки, нет оснований связывать с египетской традицией (ср. выше, примеч. 6).

<sup>15</sup> Нет сомнения, однако, в том, что сама возможность передачи одного звука могла быть воспринята как идея алфавита древнесемитическими племенами Синайского полуострова в XIII—XII вв. до н. э., которые создали свои буквы под влиянием внешних форм египетских иероглифов. Затем эти буквы восприняли финикийцы, и, по-видимому, в X—IX вв. до н. э. финикийский алфавит был заимствован греками, которые приспособили его к нуждам своего языка, в частности использовали некоторые буквы для передачи гласных.

<sup>16</sup> Erichsen W. Eine ägyptische Schülübung in demotischer Schrift. København, 1948, S. 10.

<sup>17</sup> Griffith F. Ll., Petrie W. M. F. Two hieroglyphic papyri from Tanis. I. The sign papyrus (a syllabary), by F. Ll. Griffith. London, 1889.

<sup>18</sup> Iversen E. Papyrus Carlsberg Nr. VII. Fragments of a hieroglyphic dictionary. København, 1958; Петровская В. И. Древнеегипет-

по сохранившимся фрагментам, знаки в нем были не только расположены по звуковому принципу, но при их толковании обращало внимание и на звуковую сторону.

Примерно то же самое можно сказать и о возникновении у египтян представления о лексическом составе своего языка. Интерес к нему диктовался, разумеется, чисто практическими целями. Свидетельством этого являются лексикографические справочники.<sup>19</sup> Так же как и справочники по медицине и математике, они появились в конце Среднего царства (ок. XVIII в. до н. э.), т. е. когда были накоплены знания за более чем тысячелетнюю историю египетского государства. Пособия по лексике не были ни толковыми словарями, ни переводными словарями, а представляли собой большие перечни слов в целях их запоминания и правильного написания. Поэтому их сейчас справедливо называют ономастиками.

Представляется, однако, любопытным, что слова в них были уже сгруппированы по классам предметов. В так называемом «Рамессейском ономастиконе» (конец Среднего царства), содержащем перечень 323 слов, все слова были разбиты на следующие группы: виды масел, птицы, рыбы, растения, животные, нубийские крепости и верхнеегипетские города, сорта хлебных изделий, виды зерна, части тела, фрукты, виды домашнего скота.<sup>20</sup>

Составленный в период Нового царства (в конце XII в. до н. э.) «Ономастикон Аменемопе» сохранился в нескольких списках, из которых самый полный так называемый «Московский словарь». В нем перечислено более 600 слов, распределенных по следующим группам: небо, вода, земля, двор царя, должности, занятия, племена и народы, люди, города Египта, постройки и их части, земельные участки, напитки и пищевые продукты.<sup>21</sup>

\* До нас дошли фрагменты и других древнеегипетских словников, но и приведенных примеров достаточно, чтобы сделать общий вывод, что ономастики представляли собой еще не словари, а каталоги названий предметов. Как справедливо отметил выдающийся египтолог и лингвист А. Гардинер, издатель указанных выше древнеегипетских ономастиков, «когда они (египтяне, — Н. П.) говорили о «словах», они никогда не ссылались на их «значения», они скорее предпочитали концентрировать внимание на «вещах» и их «именах»». <sup>22</sup> В связи с этим следует сказать, что у египтян еще не было выработано понятия «значение», в частности «лексическое значение» (не было поэтому и слова, отражающего это

---

ский толковник письменных знаков и «Иероглифика» Гореполлона. — В кн.: Ассириология и египтология. Л., 1964, с. 105—115.

<sup>19</sup> Перепелкин Ю. Я. К вопросу о возникновении энциклопедии на Древнем Востоке. — Тр. Ин-та книги, документа и письма, 1931, т. II, с. 1—13.

<sup>20</sup> Gardiner A. H. Ancient Egyptian Onomastica. Vol. I. Oxford, 1947, p. 6—23.

<sup>21</sup> Ibid., p. 24—63.

<sup>22</sup> Ibid., p. 4.

понятие), т. е. и в области лексики еще не существовало некоторых абстрактных предпосылок, которые могли бы явиться теоретическим фундаментом для научного описания лексики египетского языка.

Таким образом, совершенно ясно, что языкознание в Древнем Египте не выдвинулось в самостоятельную дисциплину и вообще не было создано (и не могло быть создано) каких-либо теорий языка. Еще не встал вопрос о физиологии звуков, не было попытки классифицировать части речи или выделить члены предложения, словосочетания и т. д. И тем не менее внимание и интерес к языку у древних египтян проявились не только в мифологических представлениях о происхождении языка.

Огромный запас позитивных сведений о языке неминуемо вызвал к жизни представления, часто подсознательные и своеобразные, о самых разнообразных явлениях языка.

Можно ли дать определение такой стадии в отношении истории развития лингвистики? Вероятно, определение «ненаучный», или «донаучный», период не соответствовало бы действительности. Как мы видели, многие представления древних египтян были вполне научные с современной точки зрения (например, о делении речевого потока, о возможности классификации египетских слов и знаков письма и т. д.) и легли в основу их языковой практики, а их общий подход к языку (от целого к элементам) и стремление к систематизации явлений языка заслуживают особо пристального внимания. Наряду с этим совершенно очевидно, что еще не возобладала тенденция рассмотреть эти явления с точки зрения каких-либо теоретических и абстрактных предпосылок, чему были глубокие причины.

Такой этап лингвистической мысли можно определить как «протолингвистический», подразумевая под этим ту стадию накопления языковых фактов и представлений, за которой непосредственно следует первая стадия уже вполне развитого лингвистического мышления, с характерными для него попытками философской и грамматической интерпретации фактов языковой действительности.

К сожалению, нам ничего не известно о непосредственном влиянии древнеегипетских «протолингвистических» представлений на представления древних греков и затем на грамматиков Александрийской школы, хотя, как мы отметили, уже Платон приписывал египтянам выделение отдельных звуков речи и создание «грамматики» в понимании того времени.

Можно, однако, полагать с большой долей вероятности, что, как и в других возникающих науках, влияние Египта в этой области тоже было ощутимо. На это косвенно указывают такие практические аспекты этого влияния, как заимствования египетских слов греческим языком,<sup>23</sup> изучение греками египетского

---

<sup>23</sup> Е р н ш т е д т П. В. Египетские заимствования в греческом языке. М.—Л., 1953.



языка, египетско-греческое двуязычие в Египте в эллинистическую эпоху, переводы и пересказы египетских литературных произведений на греческий язык, несомненное влияние египетской традиции на создание Александрийской библиотеки и т. д., которые совершенно очевидны и не требуют доказательства.<sup>24</sup>

Думается, однако, что главный вывод о значении некоторых представлений египтян о языковых явлениях, которые можно реконструировать, заключается не в этом. Они сами по себе представляют значительный интерес для истории языкознания, так как позволяют представить ту ступень языкознания, которая обычно скрыта у других народов либо из-за отсутствия собственной письменности, либо из-за огромного влияния языка, письменности и представлений иноязычного народа.

## ВАВИЛОНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

(III—I тыс. до н. э.)

Если наука есть систематизированное познание, то шумеры и вавилоняне систематизировали свои познания почти исключительно в ходе школьного преподавания; эта систематизация была порождена его нуждами.<sup>1</sup> Основой же школьного преподавания в древней Месопотамии было зазубривание<sup>2</sup> — зазубривание перечней знаков самих по себе; зазубривание знаков с указанием их шумерского произношения; знаков вместе с аккадскими и другими переводами шумерских слов, которые эти знаки изображали; специально составных знаков; перечней знаков, систематизированных по группам понятий (растения, камни, животные, профессии и т. п.) — такие перечни со II тыс. до н. э. обычно были двуязычными (шумеро-аккадскими), а за пределами Месопотамии — и многоязычными и являлись одновременно словарными пособиями (по ним можно было найти правильное написание того или иного нечасто употреблявшегося термина) и зачатком энциклопедии (они были сводами известных по каждой отрасли знания терминов — скотоводческих, минералогических, столярных, земледельческих и т. п.).<sup>3</sup> В этом отношении они при-

<sup>24</sup> Эти вопросы подробно изложены в гл. VI («Египет и греки») книги М. А. Коростовцева (указ. соч., с. 112—113).

<sup>1</sup> Т. е. не непосредственно практикой, а опосредственно через обучение. См. об этом подробно: L a n d s b e r g e r B. *Scribal concepts of education*. — In: *City Invincible*. Chicago, 1960, p. 94 sq.; O p p e n h e i m A. L. *Ancient Mesopotamia*. Chicago, 1964, p. 228—249.

<sup>2</sup> Как нам указал А. А. Вайман, речь идет не только о зазубривании наизусть, но прежде всего о зазубривании путем многократного переписывания.

<sup>3</sup> Обзора шумеро-вавилонских филологических пособий, соответствующего современному уровню науки, пока не существует; см. работы, указанные в примеч. 1, и старую книгу: W e b e r O. *Die Literatur der Babylonier und Assyrier*. Leipzig, 1907, S. 286.

мыкали и к более сложным текстам научного содержания — к перечням химических и медицинских рецептов, математических задач, а также к подсобным математическим таблицам разного рода (умножения, корней, обратных величин и т. п.).<sup>4</sup>

Потребность в школьном преподавании возникла в Нижней Месопотамии около 3000 г. до н. э. в связи с изобретением — для нужд больших храмовых, а затем и царских хозяйств — шумерской письменности, сначала иероглифической (рисуночной), а затем более скорописной клинообразной. Этим письмом писали на глиняных плитках углом среза тростниковой палочки. Система клинообразного письма включала несколько сотен знаков, первоначально изобразительных; каждый знак передавал название изображаемого предмета или любое из группы слов, близких к этому названию по значению, а иногда — и по звучанию; позже, кроме того, знаки могли обозначать либо только корень этих слов, либо отдельные последовательности фонем (слоги или части слогов) независимо от их места в структуре слова. «Слоговые» значения знаков выбирались по принципу «ребуса», т. е. в соответствии со звучанием целых слов, передававшихся теми же знаками. При этом омонимы, различавшиеся не по звучанию, а по значению (а в шумерском омонимов было очень много) передавались разными знаками; соответственно могло существовать (и обычно существовало) и по несколько знаков с одинаковым фонетическим («слововым») значением.<sup>5</sup> Более редкие корни и слова могли изображаться комбинациями двух или более первичных знаков. Такой характер письменности заставил начинать обучение письму с зазубривания учеником списка знаков, главным образом путем многократного его переписывания. Зазубривались также списки различных терминов, которые могли встретиться в хозяйственных документах, в особенности термины, писавшиеся комбинацией из двух или более знаков. Затем преподаватель переходил к следующему этапу: ученикам давались для переписывания легко запоминающиеся тексточки, например пословицы, а потом уже и целые литературные произведения — фольклорные или специально созданные для школы (поучения для школьников); давали переписывать также образцы хозяйственных и деловых текстов,

<sup>4</sup> См. подробно: Вайман А. А. Шумеро-вавилонская математика. М., 1969, а также, при всей ее строгости в отборе фактов, увлекательную книгу крупнейшего историка древней математики О. Нейгебауэра (Точные науки в древности. М., 1968) — книгу, которую стоит прочесть всякому, кто интересуется наукой о древности вообще: археологу, филологу, востоковеду, историку науки или любителю. Более общие данные о вавилонских науках см. также: Oppenheim A. L. Ancient Mesopotamia, p. 288—310; Oppenheim A. L. et al. Glass and glassmaking in Ancient Mesopotamia. New York, 1970; Meissner B. Babylonien und Assyrien. II. Heidelberg, 1925, S. 290—418.

<sup>5</sup> Подробнее о системе клинообразного письма см.: Gelb I. J. A study of writing. The foundations of grammatology. London, 1952, p. 60—71, 120—121; Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1966, с. 37—43, 88—89.

надписей а также писем. Религиозные тексты <sup>6</sup> стали включаться в школьный письменный канон значительно позже, так как жрецы долго грамоте не учились, а богослужебные обряды заучивали наизусть.<sup>7</sup>

Древнейшие перечни знаков были составлены в то время, когда письмо из иероглифического еще не превратилось в клинообразное, т. е. не позже XXVIII—XXVII вв. до н. э., и затем переписывались без существенных изменений до второй половины III тыс. до н. э. В течение некоторого времени составление их иногда приписывалось определенным, названным по имени писцам <sup>7</sup> или их писцовым школам, но потом списки окончательно приобрели анонимность.

В связи с тем, что к концу III тыс. до н. э. (III династия из города Ура, 2111—2004 гг. до н. э.) язык преподавания — шумерский — стал мертвым языком, пришлось перестроить характер преподавания и пересмотреть набор бывших в ходу пособий. Принцип их составления в виде перечней (столбцами) и списков, подлежащих зазубриванию без участия логических умозаключений, сохранился, но списки усложнились и удлинились.

При династиях из городов Иссина (2021—1794/3 гг. до н. э.) и Ларсы (1932—1763 гг. до н. э.), особенно к концу их правления, наблюдается расцвет шумероязычной школы (так называемой é-d и b-(b)a). Ее высокие достижения видны из неполного перечня предьявлявшихся при выпуске экзаменационных требований:<sup>8</sup> оканчивающий учение писец должен был уметь устно и письменно переводить с шумерского на аккадский и наоборот, знать наизусть шумерские писцовые и грамматические термины и шумерское словоизменение (спряжение и склонение), знать шумерское произношение, шумерские эквиваленты любых аккадских слов, различные виды каллиграфии и тайнописи (или, скорее, технических приемов сокращенной записи), технический язык различных жреческих и других профессий, категории культовых песнопений, должен был уметь руководить хором и пользоваться музыкальными инструментами, уметь составить, завернуть в глиняный конверт и опечатать юридический или хозяйственный документ любого рода, знать математику, включая землемерную практику, уметь подсчитать и распределить рационы для работников, знать различные нормы расходования материалов и продуктов, уметь вычислить объем землеопных работ и т. п. За время курса молодые писцы должны были прочесть довольно много дидактических и литературно-религиозных текстов и даже выучить их канонический список. Но на-

<sup>6</sup> Имеются в виду религиозно-культурные тексты; само собой разумеется, что любые литературные тексты были в то время проникнуты религиозной идеологией.

<sup>7</sup> Шум. sa n ĝ a; в тот период это значило, как показал А. А. Вайман, 'писец, чиновник' и лишь позже 'верховный жрец храма'.

<sup>8</sup> Sjöberg Å. Der Examentext A. — Zeitschrift für Assyriologie, 64, 2<sub>1</sub> (1975), S. 10 ff. См. ниже, примеч. 31.

стоящие мудрецы знали и много других вещей, никакого практического значения не имевших, в том числе, например, собрания изречений, часто весьма темных и неоднозначных.

В «э-дубе» важнейшее место в преподавании заняли двуязычные терминологические перечни, т. е. в сущности словари. Ранние их варианты вошли вместе с рядом других памятников шумерской письменности (в том числе и той, которую мы называли бы художественной) в состав первого (шумерского) «ниппурского письменного канона», или «потока традиции» (XX—XVIII вв. до н. э.).

После завоевания южных городов Нижней Месопотамии — Ниппура, Ларсы, Урука, Ура — вавилонским царем Хаммурапи (1763 г.) и их разрушения его сыном Самсуилуной (1739 г.) центр учености был перенесен в пригород Вавилона — Борсиппу, а место сравнительно общедоступной светской школы (*é-du-b*-(b)a) заняла индивидуальная выучка у отдельных грамотеев (нередко — гадателей или низших жрецов, так как к середине II тыс. до н. э. царские хозяйства пришли в упадок, а вместе с тем испытали качественное и количественное ослабление кадры писцов-администраторов, к которым примыкали и светские учителя). Новые учителя гораздо хуже прежних знали шумерский язык. Хотя его не прекращали изучать вплоть до I в. н. э., основным средством письменного общения стал аккадский язык.

В XVII—XVI вв. до н. э. были периодом застоя в развитии клинообразной письменности; лишь в XV—XII вв. до н. э. она вновь расцветает — уже как аккадская письменность, хотя и с обязательным изучением шумерского языка, без чего не были бы понятны словесные знаки клинописи. Центры образованности теперь — города Вавилон, Борсиппа, Иссин, Ниппур; создается второй «поток традиции» (аккадский), в котором ведущее место, по-видимому, опять занял «ниппурский письменный канон», в составе которого принимают оксигательную форму и важнейшие филологические пособия. Божеством писцов становится бог-покровитель города Борсиппы Набу, сын общегосударственного главного бога Мардука, и это, возможно, указывает на то, что школа попала в орбиту влияния храмовой организации Вавилона (но не храмового хозяйства, которое теперь не играло ведущей социальной роли).

Следующие «филологические» списки, словари и другие пособия (все они традиционно, хотя и неправильно, называются «силлабариями») были наиболее распространены либо в эпоху «э-дубы», либо в эпоху аккадского «потока традиции»:<sup>9</sup>


<sup>9</sup> Полное научное издание существует для списков «Прото-Эа», *E-a=A=nāqu*, S<sup>a</sup>, S<sup>b</sup>, «*Ana ittišu*», «*Dim me-din ġir-ilu*» и «*ĤAR-ra=hubullu*», и для нескольких менее важных силлабариев («*I z i-išātu*» и близкие к нему). Они выходят с 1937 г. в Риме в серии «*Materialien zum Sumerischen Lexikon*» в обработке Б. Ландсбергера, а сейчас издаются М. Сивилем; см. также: Arch. für Orientforschung, 1957—1958, N 18, S. 81—86, 328—344.

1. Списки знаков, подобранных по группам в соответствии с их внешними формами (не входили в ниппурские каноны).

2. Списки знаков, подобранных по их произношению (без какого-либо строгого классификационного принципа, помимо того что в пределах группы знаков с одинаковыми согласными, распределенными произвольно, мог более или менее выдерживаться порядок огласовки: сначала слоги с гласным *u*, потом с *a*, потом с *i*). Произношение более сложных знаков передавалось наиболее простыми слоговыми знаками; приводились также названия знаков (типа старых русских — «аз, буки, веда»). Эти списки носят в науке условное обозначение «Силлабарий S<sup>a</sup>» (он тоже не входит в ниппурские каноны; дошел преимущественно из ассирийских библиотек).

3. Ниппурский список «Прото-Эа»: перечень знаков с указанием их названий, а также всех чтений каждого знака.

4. Дальнейшее развитие этого списка (в «ниппурском [аккадском] каноне»), условно обозначаемое в науке как «тип Эа»: основным текстом является перечень-серия из сорока таблиц; он назывался у вавилонян, согласно их обычаю, по первой строке всего сочинения «*E-a=A=nāqu*» (вариант: «*a=A=nāqu*»), дословно:




«(e)a (есть произношения знака)  [условно транслитерируемого ассириологами как A] (в значении) 'жаловаться' (акк. *nāqu*)». Название это сразу определяет структуру перечня — три его столбца дают: шумерское чтение — самый знак — и аккадский перевод данного шумерского знака при данном его чтении (напомним, что каждый знак мог иметь целый ряд разных чтений). Кроме того, в типе «*E-a=A=nāqu*» мог прибавляться еще и четвертый столбец с названием знака.

Существовали более краткие выдержки из этой полной серии таблиц; одна из подобных выдержек, условно называемая в науке «Силлабарием S<sup>b</sup>» и состоявшая из всего двух таблиц, служила в начале I тыс. до н. э. элементарным школьным учебником клинописи.

5. Ниппурский список «Прото-Изи» — список знаков по их звучанию, включая составные.

6. Расширенный список «*Izi=išātu*» (оба слова означают 'Огонь' соответственно по-шумерски и по-аккадски); отличается от «Прото-Изи» добавлением аккадского перевода, состоит из 16 таблиц; аналогичны вокабуляры «*Lú=ša*» ('Который'), «*Ká-ġál=abullu*» ('Ворота') и «*Ni(g)-ga=makkuru*» ('Имущество').

7. Список «*Di-ri=DIRIG=siāku=watru*» был сразу составлен как двуязычный и включен в ниппурский канон. Первая его строка, она же и заглавие, означает: «(как) *diri* (читается знак)

 [условная транслитерация DIRIG], (носящий название) *siāku* (т. е.  SI +  A) (и имеющий значение) 'излишний, превосходящий' [акк. *watru*]]. Список составлен по группам знаков в соот-

ветствии с формой их начальных частей и включает только такие знаки, чтение которых отлично от чтения составных частей каждого из них.

8. Ряд двуязычных списков содержит шумерские слова, имеющие более одного аккадского перевода; обычно подбираются синонимы, по возможности по три). Сюда относятся списки «*A n t a-g a l = š a q ū*» (оба слова значат, по-шумерски и по-аккадски, 'Верхний'), «*E r e m-ḥ u š = a n a n t u*» («Сражение»), «*A l a n = l ā n u*» ('Облик, или рост').

9. Наиболее важное сочинение этого типа — это список из свыше тридцати таблиц «*SIG<sub>4</sub> + A L A M<sup>10</sup> = n a b n i t u*» ('Создание'), датируемый, видимо, касситским периодом, т. е. второй половиной II тыс. до н. э. Это тематически подобранный список слов, обозначающий части тела (в порядке от головы до ног), а также их деятельности.

10. Из ранних шумерских терминологических списков слов (или составных знаков), подобранных по их первому составному элементу (или по знаку-детерминативу), позже был составлен большой словарь терминов «*Ḫ A R-g a = ḫ u b u l l u*» ('Долг').<sup>11</sup> В нем аккадские переводы шумерских слов иногда содержат ошибки, поскольку словарь создавался тогда, когда шумерский язык давно уже вымер.

11. Поскольку некоторые аккадские термины в серии *Ḫ A R-g a = ḫ u b u l l u* с течением времени устарели, к ней был составлен дополнительный словарь-комментарий «*Ḫ A R. G U D = i m r ū = b a l l u*».<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Прописными буквами дается условное чтение знаков, точное чтение которых по-шумерски нам в данном случае неизвестно или почему-либо безразлично. Здесь речь идет о знаке, составленном из двух: *SIG<sub>4</sub>* (индекс указывает на то, что это четвертый по частоте из знаков с чтением *SIG*) и *A L A M*; чтение этого сочетания не установлено.

<sup>11</sup> В этом словаре даются следующие группы терминов: юридические термины (эта часть взята в сокращении из другого пособия — «*A n a i t t i š u*», о котором ниже), деревья, деревянные предметы, тростник и предметы из тростника, глиняная посуда, кожаные изделия, металлы и металлические изделия, домашние животные, дикие животные, части тела человека и животных, камни и каменные изделия, растения, рыбы и птицы, шерсть и одежда, местности, пиво, патока и мед, ячмень и пищевые продукты.

<sup>12</sup> Термин *Ḫ A R. G U D* (вероятно, правильнее читать *m u r-g u (d)*), по-видимому, означает 'воловы отруби', аккадское *i m r ū* означало 'средство для откорма'; когда же это слово вымерло, его заменило слово *b a l l u* ('пищевая' смесь'. Комментарий к устаревшим словам составлялся и для других, литературных и нелитературных произведений. Сюда же должны быть отнесены словари аккадских устаревших слов и словари синонимов. В I тыс. до н. э. делались наивные попытки составлять перечни слов, сгруппированные по мнимо одинаковому корневому составу. Следует также отметить перечень-пособие по палеографии (Meissner B. Ein assyrisches Lehrbuch der Paläographie. — Arch. für Orientforschung, 1927, N4, 71—73). Оно показывает, между прочим, что представления ассирийцев о древних формах клинописи были довольно превратными, и то же самое видно и из нововавилонских царских надписей, часто написанных письмом, не совсем удачно имитирующим монументальные пошибы конца III—начала II тыс. до н. э.





характера, показатели действия и состояния и т. д. Все эти формы также включены в парадигму, но подчинены указанной выше ее общей структуре.

Списки № X—XI пытаются соединить распределение глагольных форм по парадигме с указаниями в переводе на омонимические значения; тут же приводятся и другие, мало систематизированные лексикологические сведения и т. д. В списках № XII—XVIII содержатся различные полезные писцу глоссы и выражения; в перемежку с ними иногда приводятся куски парадигм.

б. Совсем иначе построены нововавилонские грамматические сочинения.<sup>15</sup> Они тоже изложены в виде списков в два или три столбца, однако в шумерском столбце даются не целые слова в той или иной грамматической форме, а только форманты; в переводе на аккадский шумерские форманты передаются иногда целым словом (например, шумерский глагольный префикс *i n - g a-*, означающий, что действие глагола происходит совместно с другим действием, переводится на аккадский словом *u 'и'*), иногда — формантом же (например, шумерский префикс *ù-* пожелательного наклонения переводится *lu-*, *-ma-a*, *u ma-ri-tum*, где *lu* — префикс аккадского пожелательного наклонения 1-го л., *-mā* — энклитический, а *u* — самостоятельный союз; оба могут выражать последовательность действия глаголов, при которых они стоят, — оттенок, который может присутствовать и в шумерских глаголах в форме пожелательного наклонения, а именно в оборотах типа «пустить А делает то-то, и тогда В делает это». На специфическое употребление союзов в данном случае указывает термин *maritu*, который означает «несовершенный, или курсивный вид».

Это — одна из главных особенностей данных списков: помимо перевода, здесь имеется т е р м и н о л о г и ч е с к о е пояснение к употреблению либо шумерских формантов, либо их аккадских эквивалентов. Итак, мы впервые сталкиваемся с собственно грамматической терминологией, примененной в собственно грамматическом тексте. Сами эти грамматические термины были, по-видимому, известны еще в старовавилонский период, но там они изредка встречаются лишь в пояснении к лексикологическим глоссам.

Надо заметить, что поздние аккадские грамматисты подходили к шумерскому языку исключительно с точки зрения своего родного аккадского языка, поэтому некоторые их термины неадекватны явлениям шумерского. Так, шумерская глагольная форма обычно начинается префиксом наклонения или действия-состояния; за ним следуют префиксы (ошибочно называемые шумерологами «инфиксами»), указывающие на различные пространственные отношения и, наконец, показатель действующего лица (при глаголах действия). Перед каждым показателем пространственных отношений также может стоять показатель лица, к которому этот пространственный показатель относится, например, действие может про-

<sup>15</sup> Списки их дошли от ахеменидского времени (VI—IV вв. до н. э.).

исходить -t а- 'от меня', -e- t а- 'от тебя', -n- t а- 'от него (лица)', -b- t а- 'от него (предмета)' и т. д. Но в силу частью фонетических, частью графических причин личные показатели — как субъекта действия, так и сопровождающие пространственные показатели — могут в написанной глагольной форме не присутствовать. Это создавало для позднеаккадских грамматистов непреодолимые затруднения и приводило к недоразумениям; например, автор списка выделяет шумерский суффикс -е, встреченный им в глагольных формах 1-го, 2-го и 3-го л. В списке он пишет следующее:

е	я пустая суффикс*
	.....
е	ты пустая суффикс
	.....
е	он пустая суффикс
	.....
е	его префикс суффикс, и т. д.

И далее:

е n	я полная суффикс
	.....
е n	меня префикс «инфикс»
	.....
е n	ты полная суффикс
	.....
е n	тебя «инфикс» суффикс, и т. д.

Автор имеет в виду, что в курсивно-несовершенном виде (иногда он и поясняет: *ma-ri-tum* «несовершенный вид») встречаются формы типа m u - u n - ḡ a ḡ - e/-en в 1-м и 2-м л., но только m u - u n - ḡ a ḡ - e в 3-м л. Написание с графически выраженным -n в ауслауте он называет «полной», а с невыраженным «пустой», т. е. «неполной» формой. С другой стороны, в пунктуально-совершенном виде тот же самый суффикс -е (n) означает уже субъект состояния, наступившего в результате действия (=объект) 1-го или 2-го л.

Но в виде «инфикса» (т. е. префикса на позиции, наиболее близкой к основе) -е n- не может означать 'меня' и 'тебя'. Грамматист был введен в заблуждение формами 1-го и 2-го л., где форманты действующего лица по фонетическим или графическим причинам оказались невыраженными, но был аффикс -n- перед основой, означавший каузатив (и восходивший к личному показателю 3-го л.). Точно так же записи «е его префикс суффикс» и «е n меня префикс „инфикс“» основаны на недоразумениях, которые здесь нет смысла разбирать (так, в последнем случае -n относится к другому форманту).

Таким образом, термины «полный» (*malû*) и «пустой» (*rêqu*) оказываются, в сущности, относящимися не к грамматике, а к гра-

фике. Некоторые термины нам неясны [например, *šushurtu* 'отвернутая' — может быть «пространственный префикс» (?), *rē'ātu* 'пасомая' (?)]. Неудачен термин *šu'āti* 'его' (= «винительный падеж») и *šu'āti šu'āti* 'двойной винительный падеж', так как в шумерском нет винительного падежа, и употребление этих терминов значит только, что форма, из которой автор списка выписал данную группу морфем, по-аккадски переводилась в данном же конкретном случае с винительным падежом. Также термин *gamartu* 'завершенная', поясняющий главным образом шумерские глагольные формы с префиксом *b a-*, по-видимому, означает «статив» — категорию не столько шумерского языка, сколько аккадского; в самом деле, формы на *b a-* по-аккадски чаще всего переводятся стативом.

Однако имеются и вполне ясные и удачные термины; таковы *išṣēn* 'один' и *ma'dūtu* 'множество' (единственное и множественное число), *ḥamṣu* 'быстрый' и *marḫu* 'жирный' (пунктуально-совершенный и курсивно-несовершенный виды). Имелось также понятие глагольной породы. Удача грамматистов в создании терминологии в данном случае объясняется тем, что данные категории близко совпадали в аккадском и в шумерском.

Следует заметить, что самостоятельно, без устных пояснений, ученик ни в коем случае не мог бы разобраться в шумерском тексте с помощью одних грамматических списков.

14. Были также списки — орфографические справочники для написания имен собственных, имен богов и т. п.

В терминологические словари иногда вводились (с соответственными пометами) иноязычные глоссы — хурритские, или «субарейские», западносемитские и т. п.<sup>16</sup> Встречаются попытки составить небольшие словнички иностранных слов.<sup>17</sup>

Списки слов являлись одновременно и словарными пособиями (по ним можно было найти значение шумерского термина, правиль-

<sup>16</sup> Frank C. *Fremdsprachige Glossen in assyrischen Listen und Vokabularen.* — MAOG, 1928—1929, 4, S. 81—95.

<sup>17</sup> Balkan K. *Die Sprache der Kassiten* (Kassitenstudien I), New Haven, 1954. Уже во II тыс. до н. э. все важнейшие перечисленные шумеро-аккадские «филологические» пособия как необходимые для изучения клинописной грамоты были введены всюду, где распространилась клинопись, иногда снабжаясь переводом на местный язык — хеттский, хурритский, западносемитский угаритский. См.: Güterbock H. G. — *Revue hittite et asianique*, 1957, 60, p. 80 sq.; Laroche E. *Catalogue des textes hittites*. IV, A (Vocabulaires). Paris, 1971; Thureau-Dangin F. *Vocabulaires de Res-Shamra. Syria*, 1931, 13, p. 225—226; Nougayrol J. — In: *Ugaritica*. V. Paris, 1968, N 130 sq. Известен даже вокабуляр древнеегипетских слов в клинописной транскрипции: Smith S., Gadd C. J. *A cuneiform vocabulary of Egyptian words.* — JEA, 1945, 11, p. 230—239. Особо следует отметить терминологический словарь «*ḪAR-ḡa=ḫubullu*», транскрибированный греческими буквами для того, чтобы облегчить изучение шумеро-аккадской письменной традиции в эллинистический период. См.: Sollberger E. *Graeco-Babyloniaca*. Iraq, 1962, 24; Дьяков И. М. *Языки древней Передней Азии*. М., 1966, с. 315 сл.

ное написание того или иного нечасто употреблявшегося слова), и зачатком энциклопедии (они были сводками терминов, известных по каждой отрасли знания).

Но г л а в н ы м о б р а з о м списки слов служили пособием для самого усвоения грамоты, как шумерской, так и аккадской, путем постоянного, многократного переписывания и заучивания наизусть.<sup>18</sup>

Логическому мышлению в вавилонской школе не обучали — тот процесс логических умозаключений, результатом которого могло явиться составление таблиц, списков или рецептов, был проделан заранее составителями; мы не имеем ни одного трактата или другого какого-либо сочинения, посвященного дедукции, индукции или другому чисто логическому оперированию с фактами. И, однако, такое оперирование должно было происходить на каком-то этапе.

Это видно, между прочим, на примере одного учебного пособия, позволяющего нам представить себе одновременно уровень старовавилонской грамматической, правовой и педагогической науки. Это тоже двуязычный текст, называемый «K i - KI.KAL-b i - š è = *ana ittišu*», или кратко «*Ana ittišu*» 'По извещению об этом', датируемый в своем окончательном виде, вероятно, серединой XVIII в. до н. э., но не раньше XIX в. до н. э.<sup>19</sup>

Как уже упоминалось, в начале II тыс. до н. э. шумерский язык полностью вышел из живого употребления, однако в школах его продолжали изучать, переписывая шумерские литературные и другие произведения; но обиходным языком был только аккадский. Юридические документы тем не менее все еще полагалось составлять либо целиком по-шумерски, либо по-крайней мере выдерживать все стандартные части юридического формуляра по-шумерски; по-аккадски, помимо имен собственных, нередко делались нестандартные приписки и вписывались клаузулы, специфические только для данного конкретного дела. Но иной раз писец — особенно в тех случаях, когда он плохо помнил все необходимые выражения шумерского формуляра, — отходил от этих правил и составлял и другие части документа по-аккадски.

По-видимому, в конце XIX—начале XVIII в. до н. э., когда в Нижней Месопотамии временно началось бурное развитие частного предпринимательства и частного права, стороны в участвовавших юридических сделках не всегда могли располагать помощью высококвалифицированных писцов, знавших юридическую терминологию и прошедших полный курс шумерского языка. Поэтому документы часто составлялись на варварском, чудовищно искаженном шумерском языке; так, некоторые писцы не умели образо-

<sup>18</sup> Это и было причиной того, почему развитие научных знаний в Вавилонии с середины II тыс. до н. э. затормозилось: объем материала, подлежащего механическому зазубриванию, превзошел человеческие возможности.

<sup>19</sup> Landsberger B. Materialien zum sumerischen Lexikon. I Die Serie *ana ittišu*. Roma, 1937.

вать множественное число от *ì-lal-e* 'он отвесит' (серебро, т. е. заплатит цену) и вместо *ì-lal-e-ne* 'они отвесят' писали *ì-lal-e-meš*, букв. 'он отвесит они суть'. Положению, видимо, и должно было помочь пособие «*Ana ittišu*». Подобно другим «филологическим» текстам, оно было составлено в двух столбцах (по-шумерски и по-аккадски) и имело следующее содержание:

Часть первая:

Таблица I, I, 1—16: подборка фраз, связанных с уведомлением об уплате долга;

I, 1—IV, 76: парадигмы спряжения важнейших шумерских глаголов, встречающихся в юридических текстах, иногда с примерами предложений;

Таблица II, I, 1—43: подборка фраз, связанных с процентами;

I, 44—56: некоторые типичные для процентных документов глагольные формы;

I, 57—90: подборка фраз, связанных с процентным (*ḪAR-ra = ḫubullu*) и беспроцентным долгом (*iz ki-m-ti-la, eš-dé-a, šu-lal = qīptu, qāru*), обменом (*šu-bal = šurēlu*) и с разделом пополам.

II, 1—71: подборка оборотов (в том числе и примеров на употребление притяжательных местоимений), а также глагольных форм, типичных для юридических документов различного содержания;

III, 1—IV, 54: подборка терминов и оборотов, употребительных в торговых делах и в сделках купли, продажи, обмена и других, связанных с уплатой денег («серебра»);

Таблица III, I, 1—II, 1: подборка терминов и оборотов, связанных с сельскохозяйственными работами, в особенности применительно к нуждам составления арендных и долговых документов;

II, 2—III, 4: подборка терминов и оборотов, связанных с разными видами имущества и операциями с имуществом;

III, 5—III, 27: подборка терминов и оборотов, связанных с вопросами наследования и усыновления;

III, 28—IV, 56: термины и обороты, связанные с вопросами наследования и усыновления, подобранные так, что образуют почти сплошное повествование, прерываемое лишь вариантами отдельных описанных в этом связном тексте ситуаций или отдельных употребленных выражений.

Здесь начинается Вторая часть пособия:

Таблица IV, I, 1—III, 72: подборка терминов и оборотов, связанных с организацией сельскохозяйственных работ на полях дворца (*a-ša g é-gal = eḡel ēkallī*), включая поля царя (*a-ša(g) lu gal = eḡel šarri*) и поля илотов (*a-š a(g) ma š d á = eḡel miš-keṇī*);

IV, 1—51: подборка терминов и оборотов, связанных со сдачей внаем жилых помещений.

Таблица V сохранилась плохо; видимо, здесь в числе прочего приводилось именное словоизменение, в том числе в наиболее ти-

пичных определительных конструкциях (с именем и с притяжательным местоимением). Взяты существительные «хозяин, дом, поле, сад, раб, рабыня», названия важнейших обязательных жертвоприношений, а также слова «содержание, паек, ячмень».

Таблица VI, I, 1—II, 61: подборка терминов и оборотов, связанных с различными правоотношениями двух стороны, включая взаимные расчеты, клятвы и т. п.;

III, 1—22: подборка терминов и оборотов, связанных с наймом работника;

III, 23—55: подборка терминов и оборотов, связанных с засвидетельствованием сделок (клятвы, свидетели, печать);

III, 56—IV, 40: подборка терминов, означающих разные виды документов, и оборотов, связанных с их засвидетельствованием;

IV, 41—52: подборка терминов разного содержания, например, 'срок' ( $u(d)-d u g_4-(g) a = adannu$ ), 'рядом' ( $da = \bar{i} \bar{i} hu$ ), 'между' ( $da l-b a-a n-na = b\bar{i} r\bar{i} tu$ ), 'по ту сторону' ( $ba l-r i = eb\bar{e} r\bar{t} \bar{a} n$ ).

Таблица VII, I, 1—55: подборка терминов и оборотов из процессуального права;

II, 1—44: подборка терминов и оборотов, связанных с рабством и, возможно (текст здесь плохой сохранности), выкупом из рабства;

II, 15—35: подборка довольно пространных оборотов и предложений, относящихся к брачному (и бракоразводному) праву.

Начиная с VII, II, 36 и до конца VII таблицы обороты и предложения, связанные с брачным и семейным правом, приобретают характер квазидокументального повествования, довольно логично подводящего к полностью приведенному в пособии тексту законов о приемных детях, а затем и других семейных законов:

«Девушка, став как бы женой,<sup>20</sup> дала приблизиться к себе для соития; из ее дома он ее похитил, в дом отца своего он ее привел, брачный договор с нею заключил, брачный выкуп ( $n\bar{i} g-m u n u s^{us}-s a = ter\bar{h} \bar{a} tu$ ) отнес // брачный выкуп (приведен альтернативный термин  $ku(g)-da m-t u k u = ter\bar{h} \bar{a} tu$ ) // брачный выкуп свой на<sup>21</sup> стол положил, к отцу (ее) ввел (ее);<sup>22</sup> он был милостив к ней (!) // не был милостив к ней (!) //.

Он возненавидел ее и обрезал бахрому ее (платья), ее разводную плату он возместил и привязал к ее лону, (и) вывел ее из дому. В будущем муж, что по сердцу ей, может взять ее (замуж), — он не будет предъявлять о ней иска. Впоследствии иеродулу ( $n u-\bar{g} i(g)=qadi\bar{s} tu$ ) с улицы он взял, из любви к ней, в ее состоянии

<sup>20</sup> Букв- 'сделавшись в состоянии жены' —  $na m-da m-\bar{s} \bar{e} b a-a b-a k-a$ .

<sup>21</sup> В шумерском тексте 'со стола положил'  $g^{us} ba n\bar{s} u-r ta b i-n-\bar{g} a r$ , в аккадском пропущено слово 'на':  $\langle a-na \rangle pa-a\bar{s}-\bar{s} u-r i i\bar{s}-ku-[un]$ .

<sup>22</sup> Поздняя ассирийская копия здесь регулярно путает местоимения 'ее' и 'его'; наш перевод по смыслу несколько отличается от перевода Ландсбергера, однако можно понимать и 'к отцу (своему) ввел (ее)'; тогда 'он' относится к отцу жениха.

иеродулы он взял ее (замуж); эта иеродула взяла сына улицы, приложила его к груди с человеческим молоком, — а отца и матери своих он не знает; он (же) обращался с ним ласково, не бил его по щеке, вырастил, научил писцовому искусству, сделал крепким, дал ему жену. Отныне и навеки:

Если сын скажет отцу своему — «ты не мой отец», его должно обрить, сделать ему *abbuttu*<sup>23</sup> и продать за серебро. . . (следуют остальные, так называемые «Шумерские семейные законы»)).<sup>24</sup>

В отличие от составителей других шумеро-вавилонских «филологических» текстов, одолевать которые ученику приходилось, борясь с мощным влиянием непобедимой скуки, автор «*Ana ittišu*» был озабочен тем, чтобы сделать свое пособие интересным. С пропедевтической точки зрения композиция его продумана и рациональна. Может показаться удивительным, почему автор начинает не с парадигм, а с фраз и лишь потом переходит к парадигмам, а затем — снова к фразам; однако этим он с первых же строк убеждает ученика в том, что его учебник дает осмысленные фразы, а не перечень никак не связанных между собой слов и словоформ; после этого успокоенный ученик уже легче переходит к сухим парадигмам, занимающим подряд сравнительно немного места (менее 10% всех строк); затем идет текст, в основном состоящий опять из глагольных форм, — очевидно, предполагалось, что ученик, уже зная парадигму, сможет их самостоятельно спрягать правильно; затем идет все более усложняющийся текст, завершающийся подбором сюжетно связанных фраз по-шумерски (III, III, 28-III, IV, 56; так же как и все остальное в этом пособии, с переводом на аккадский): в повествование внесен элемент того, что западные журналисты называют *human interest*: герой повествования даже обучен писцовому искусству, чтобы сделать его более близким ученику! Тот же прием — перехода от отдельных более легких фраз к парадигмам, а от парадигм — ко все более усложняющимся фразам-упражнениям и затем к связному повествованию — выдержан и во второй половине пособия: упражнения подводят к вопросам о браках и усыновлении, и здесь вводится занимательный рассказ, причем и в нем усыновленного тоже обучают писцовому искусству (VII, II, 36 след.). И наконец, ученика подводят к умению читать связанные законодательные тексты.

Любопытно, что «*Ana ittišu*» включает наряду с терминами, действительно характерными для юридических документов из Нишпура, множество юридических терминов и оборотов, не дошедших до нас из документов реальной юридической практики. Видимо, автор широко черпал из устного обычного права, очевидно стремясь дать в руки своим ученикам шумерские формулы

<sup>23</sup> *Abbuttū*, как показал Ландсбергер, — знак рабства, заключающийся в обривании головы, кроме задней ее половины (*mutitatu*); при освобождении раба «очищали», сбывая и эту половину волос (как «чистому» жрецу, который ходил с совсем обритой головой).

<sup>24</sup> О них см.: ВДИ, 1952, № 3, с. 212



даже на случаи введения в сделку редко употреблявшихся клаузул, где писцы обычно переходили с шумерского на аккадский: забота о правильном шумерском языке писца-юриста стояла для автора, как видно, на первом месте; несмотря на то что сочинение дошло в копиях, написанных на тысячу лет позже, ошибок в языке его мало (причем больше даже против литературных норм языка аккадского перевода, чем языка шумерских образцов).

Хотя этот превосходный для своего времени учебник шумерского языка для писцов-юристов (вводивший их попутно и во всю юридическую терминологию, как шумерскую, так и аккадскую) и вошел в так называемый «ниппурский канон», однако в отличие от других «филологических» текстов он впоследствии не пользовался популярностью<sup>25</sup> и известен нам из весьма немногочисленных поздних ассирийских списков VIII и VII вв. до н. э. (из храмовых библиотек Ашшура и из библиотеки Ашшурбанашалы). Потеря пособия популярности связана, как нам кажется,<sup>26</sup> с тем, что со второй половины правления Рим-Сина I, царя Ларсы (1822—1763 гг. до н. э.) и в особенности со времени Хаммурапи (1792—1750 до н. э.), т. е. как раз ко времени создания пособия, вследствие ряда государственных мероприятий резко сократился объем частнохозяйственной деятельности,<sup>27</sup> а затем, после разгрома шумерских школ (в Уре и Ларсе при царе Самсуилуне, а в Ниппуре — неоднократно в течение XVIII в. до н. э.) и после переноса центра клинописного образования в Вавилон,<sup>28</sup> столь же резко снизился уровень познаний писцов в шумерском языке; о массовом составлении документов в повседневной практике по-шумерски не приходилось и думать.

«*Ana ittišu*» как замечательный источник по истории вавилонской экономики, быта, культуры и права заслуживает более подробного исследования; здесь мы остановимся только на уровне лингвистического мышления его составителя. Для этого мы рассмотрим разделы I, I, 17—76; II, I, 44—56; а также отчасти II, II, 1—71 и V.

Перед началом парадигм I, I, 17—76 автор дважды приводит фразы с глагольной формой *i n -(n) a - a b - s u m -(m) u* 'он даст его (предмет) ему (человеку)' (условно переводим будущим временем

<sup>25</sup> Однако из него были сделаны важные заимствования в разделе правовой терминологии в основном старовавилонском лексикологическом пособии — «*ḪAR-ra-ḫubullu*».

<sup>26</sup> Иное объяснение см. у Ландсбергера (Materialien. . ., p. I—II), который считает, что «*Ana ittišu*» попало к ассирийским писцам из местных школ Ниппура, минуя вариант канона, сложившийся в Вавилоне и Борсиппе. Спрашивается, однако, по ч е м у «*Ana ittišu*», не попало в этот более поздний канон?

<sup>27</sup> Leemans W. F. 1) The Old-Babylonian Merchant. Leiden, 1950, p. 113 sq.; 2) Foreign trade in the Old Babylonian period. Leiden, 1960, p. 13; Harris R. On the process of secularization under Hammurapi. — JCS, 1961, vol. 15.

<sup>28</sup> См.: Landsberger B. Scribal concepts. . ., p. 97.

курсивный вид). Соответственно парадигмы начинаются с глагола *sum* 'давать'. Глагол дан в следующих формах 3-го л.

ед. ч.	}	субъекта действия пунктуального (совершенного) вида
мн. ч.		
ед. ч.	}	субъекта действия курсивного (несовершенного) вида
мн. ч.		
ед. ч.		субъекта действия пунктуального (совершенного) вида с префиксом косвенного объекта (дательного падежа) 3-е л. ед. ч.
мн. ч.		субъекта действия пунктуального (совершенного) вида с тем же префиксом
ед. ч.		субъекта действия курсивного (несовершенного) вида с тем же префиксом
мн. ч.		субъекта действия курсивного (несовершенного) вида с тем же префиксом
ед. ч.		субъекта действия пунктуального (совершенного) вида с префиксом косвенного объекта (направительного падежа) 3-е л. мн. ч.

и далее по тому же образцу.

В шумерском языке имеется еще много других падежей, отражаемых с помощью префиксов в глаголе; при этом они могут быть отнесены к разным лицам и числам, но автор «*Ana ittišu*» ограничивается только этими выдержками из реально существовавшей парадигмы. Чем он руководствуется? Пространственные префиксы, отнесенные к другим лицам, кроме 3-го, в юридических текстах встретятся практически очень редко (в Нишпуре документы не стилизовались от 1-го или 2-го л.); автор и в дальнейшем избегает примеров, включающих 1-е и 2-е л. Лишь в «семейных законах» в конце таблицы VII встречается выражение 'ты не есть мой (отец, сын, и т. п.)'; здесь автор вводит правильную шумерскую форму *n u - m e - e n* без всяких объяснений, очевидно рассчитывая на ее зазубривание. Что касается пространственных префиксов, отражающих другие падежи, кроме дательного и направительного (которые автор, видимо, смешивает ввиду совпадения аккадского перевода в обоих случаях), то и их он в своих дальнейших примерах стремится избегать; кое-где они все же встречаются, но и здесь, по-видимому, соответствующие формы предлагалось зазубривать без объяснений.

В таблице I после парадигмы спряжения глагола *sum* 'давать' автор дает точно такие же формы для глаголов *ba* 'дарить', 'делить', 'отрезать долю' (причем автор повторением глагола *ba* каждый раз с тремя разными аккадскими переводами обращает внимание ученика на многозначность этого слова; кроме того, он переводит пунктуальный [совершенный] вид глагола *ba* совершенным видом I породы аккадского глагола, а курсивный [несовершенный] вид — несовершенным видом II породы; в данном случае

семантическая разница между I и II аккадской породой невелика, и автор просто не учел, что и I аккадская порода имеет свой несовершенный вид, а II — свой совершенный); далее приводится в той же форме (т. е. с субъектным префиксом -n-) глагол *zu* 'знать' (очевидно, воспринятый как непереходный, вследствие чего видовое членение, как и полагается для шумерских непереходных глаголов, не дано; но в дальнейшем автор дает непереходные глаголы в тексте более правильно, т. е. без префиксального показателя -n субъекта действия: *i-ĝ ál* 'он имеется'); следует глагол *su* 'прибавлять' (с двумя аккадскими переводами), *á ĝ* 'отмерять', *á ĝ* 'любить', *l á* 'отвешивать', *ĝ ar* 'дарить', 'класть' (здесь наряду с регулярной — но фактически неупотребительной — формой курсивного вида *in-ĝ ar-e* дается и более правильная, хотя нерегулярная форма *i n-ĝ á-ĝ á*), *š ir* 'заключать договор' (здесь вместо курсивного вида дается удвоенная порода *in-š ir-š ir* — и форма правильно переведена не аккадским несовершенным видом I породы, а аккадским совершенным видом II породы!), *il* 'поднимать, носить и т. п.' (почему-то только в 3-м л. ед. ч. пунктуального вида), *h u ĝ* 'нанимать' (с ошибкой: 'он их нанял' переведено *in-n é-e n-h u ĝ*, собственно 'он им нанял', а 'он его нанял' переведено *i n-n i-i n-h u ĝ* 'он в нем нанял': автор путается в довольно сложной системе отражения в шумерских глагольных формах прямого объекта = субъекта состояния, наступившего в результате действия); далее *dub* 'ссыпать' (парадигма построена так же, как для *š ir*), *rad* 'обгрызать, крошить' (тот же случай), *si(g)* 'насыщать, наполнять' (с правильным указанием на восстановление «немого» [g] перед гласным суффикса и на наличие удвоенной породы), *gul* 'разрушать' (с правильным указанием на переход гласного суффикса \*-e > -u под влиянием огласовки основы) и т. д. Нет надобности перечислять все глаголы — характер работы, сделанной автором пособия, ясен уже из сказанного.

Отметим одну постоянную ошибку автора: он рассматривает -n- перед основой в с е г д а как показатель 3-го л. субъекта (любого), между тем как это показатель 3-го л. ед. ч. субъекта д е й с т в и я. Ошибка — под влиянием родного аккадского языка автора, где различия между субъектом действия и субъектом состояния не делается. Однако в самом начале он правильно перевел глагольную форму *i n - n a - a b - s u m - m u*, где -b- перед основой — показатель 3-го л. неодушевленного субъекта состояния (= прямого объекта).

Начиная с I, IV, 46 автор пособия начинает подготавливать ученика, уже привыкшего к однообразию глагольных парадигм, к мысли о том, что в шумерском глаголе не все так гладко: он дает два глагола, имеющих разное чтение при одинаковом написании (*i n - š i t a<sub>5</sub>* 'он сосчитал' и *i n - z à (g)* 'он выбрал'; но *š i t a<sub>5</sub>* и *z à g* — это один и тот же знак; различное чтение отмечено надписанной сверху глоссой); вводит составной глагол *š u-...t i* 'брать, занимать, принимать', не подходящий под обычную пара-

дигму; глагол *b* (d), неожиданно имеющий «необъяснимый» префикс *ib - ta-*, глагол *in - diri (g)*, который и без удвоения может передавать II аккадскую породу (*uwattar* 'он преувеличит'), и даже III (*ušqelpi* 'он пустил по течению'), и т. п. Но, обратив внимание ученика на подобные «аномалии», автор не пытается расширить объем своих парадигм настолько, чтобы они охватили и такие случаи.

Переходя в начале таблицы II к терминам и фразам, автор время от времени снова возвращается и к чистым глагольным формам. Здесь он вводит супин на *\*-e d - à m* (связанный, как мы знаем,<sup>29</sup> с курсивным видом), но переводит его несовершенным видом то I, то IV аккадской породы; довольно нерегулярно пытается передать до сих пор недостаточно объясненные шумерские глагольные формы на *a b - ba-* через аккадский «перфект» (разновидность совершенного вида, выражающая последовательность действия, — видимо, перевод, даваемый в тексте *«Ana ittišu»*, базируется на какие-то имевшиеся в виду автором конкретные случаи предложений, содержавших эти формы). В дальнейшем глагольное словоизменение спорадически возникает в тексте пособия среди примеров на юридические термины и обороты.

Именно словоизменению посвящены строки II, II, 56—57 и 62—68. Последнюю группу примеров мы приведем целиком; речь идет о двойном предлоге-последлоге (*k i-...-t a* 'от', 'с 'кого'), букв. 'места (такого-то) от'.

<i>ki-n i-t a</i>	<i>it-ti-šu</i>	'с него'
<i>ki-n e-n e-t a</i>	<i>it-ti-šu-nu</i>	'с них'
<i>ki-m u-t a</i>	<i>it-ti-ia</i>	'с меня'
<i>ki-z u-t a</i>	<i>it-ti-ka</i>	'с тебя (мужчины)'
<i>ki-z u-n e-n e-t a</i>	<i>it-ti-ku-nu</i>	'с вас'
<i>ki-l ú-s ilim-t a</i>	{ <i>it-ti šal-me</i> }	'с благополучного
<i>ù lú-g e-n a-t a</i>		
	{ <i>ù ke-ni</i> }	и верного' <sup>30</sup>

Как мы видим, и в данном случае парадигма неполная: взяты только наиболее употребительные местоимения — нет 'тебя (женщины)' и нет 'нас'.<sup>31</sup>

Любопытной представляется парадигма склонения существительного *lu ga l* 'господин, хозяин; царь' в начале таблицы V. Сначала дается слово *lu ga l* отдельно, затем с суффиксальным

<sup>29</sup> Edzard D. O. *hamtu, marû und freie Reduplikation beim sumerischen Verbum*. T. 2. — ZA, 1972, Bd 62, N 1, S. 25.

<sup>30</sup> Юридическая формула, означающая «с того, кто из солидарно ответственных контрагентов будет явиться ко времени расчета».

<sup>31</sup> Более полная именная парадигма, а также некоторые грамматические термины даны в тексте упоминавшегося выше Examentext A, излагающем, по-видимому, содержание выпускного экзамена высшей шумерской школы времени династии Исина или Ларсы.

притяжательным местоимением 'его'. Затем эта последняя форма склоняется: *lu gal - a - ni - š é*, *lu gal - a - na*, *lu gal - a - ni - ga*, *lu gal - a - ni - d è*; в действительности это на-правительный, местный, дательный и совместный падежи (это далеко не все падежи действительной шумерской именной парадигмы!). Однако автор все формы одинаково переводит *a-na be-li-ši*, что можно по-русски перевести как 'господину его' или же 'для господина его'. В том же роде и остальные примеры на склонение. В строках V, I, 11—17 автор (как и многие писцы — его современники) принял окончание  $-k e_4$  (из род. п.  $-(a) k +$  перенесенный показатель эргатива  $-e$ ) за чистый родительный падеж.

Можно подвести итоги. Автор несомненно хорошо практически знал шумерский язык, мог, очевидно, на этом мертвом языке свободно говорить и довольно правильно писать даже совсем нестандартные слова и предложения (на это указывает большое число примеров, взятых не из документов, а из устной правовой практики и введенных, очевидно, для того, чтобы отучить начинающих писцов от манеры писать в документе все нестандартное по-аккадски); в то же время он допускал характерные для его времени аккадизмы в шумерском ( $-n$  перед основой не только для 3-го л. ед. ч. субъекта действия, но и для субъекта состояния и прямого объекта; составная форма  $-k e_4$  в значении простого родительного падежа).

Однако ясно, что теоретических понятий у него было мало; пожалуй, его познания ограничивались только вполне последовательным различием имевшихся в аккадской филологической литературе специальных терминов, так называемых «быстрых» и «жирных» (т. е. медленных) глагольных форм (акк. *ḫamtu* и *marû*, обозначение пунктуального и курсивного вида)<sup>32</sup> да умением различать удвоение типа *marû* от породного удвоения.<sup>33</sup> Все же ему не чужда была также и идея парадигматической классификации глагольных форм, в то время как, например, другое, и при том более распространенное клинописное филологическое пособие — серия « $SIG_4 + ALAM = nabnitu$ » — хотя и знало различие между формами *ḫamtu* и *marû*, однако относило его к лексикологическим категориям.

При всей слабости грамматических представлений автора «*Ana ittišu*» это пособие все же сохранилось в классическом клинописном каноне на протяжении более тысячи лет и несомненно сыграло положительную роль как в сохранении знания мертвого шумерского языка среди вавилонян и ассирийцев, так и в осмыслении их родного аккадского языка. Однако, реконструируя сейчас шумерскую грамматику, не следует слепо полагаться на лингвистические взгляды древних аккадцев.

<sup>32</sup> Edzard D. O. *ḫamtu, marû und Freie Reduplikation...* T. 1. — ZA 1971, 1972, Bb 61, S. 208—232, T. 2, Bd 62, 1 (1972), S. 1—34.

<sup>33</sup> Эдцард (там же) называет породное удвоение *Freie Reduplikation*. Ср. также примеч. 29.

Задержка в развитии вавилонской науки, в том числе и филологической, наблюдающаяся начиная с XVII в. до н. э., объясняется, как нам кажется, гибелью традиционной светской школы — «э-дубы» с ее высокими требованиями к ученикам и учителям. Дальнейшая ученая деятельность была направлена преимущественно на кодифицирование знаний, на создание возможно более обширных и полных перечней и таблиц. Ученикам по-прежнему предлагалось все это бездумно переписывать и зазубривать. Подобная деятельность имела свой естественный предел: им была ограниченная способность человеческого мозга к механическому заучиванию информации. «Мудрец», освоивший сотни и сотни канонических перечней (не только филологических, но и всех прочих) и не учившийся при этом логически мыслить, был уже не способен двигаться дальше в познании явлений.

Весь шумеро-аккадский письменный канон, как необходимая принадлежность школ, где изучалась клинопись, во II тыс. до н. э. распространился вместе с этой системой письма по Передней Азии, частью без изменений (но с многочисленными ошибками, так как местным писцам был чужд не только шумерский, но и аккадский язык), частью, как уже упоминалось, с добавлением перевода на местный язык. Так, большинство филологических пособий «ниппурского канона» были известны в Малой Азии едва ли не вплоть до Трои, в Сирии и Палестине и отчасти даже в Египте, а также в юго-восточном Иране (древнем Эламе), вероятно, и в Урарту. Нечего и говорить, что в Ассирии (где говорили, как и в Вавилонии, по-аккадски) вавилонский поток письменной традиции изучался едва ли не тщательнее, чем в самой Нижней Месопотамии.

Во второй половине II тыс. до н. э. у западных семитов, по-видимому у финикийцев, было изобретено «алфавитное» письмо, вернее, письмо, состоявшее из знаков для комбинаций согласной фонемы с произвольным гласным или нулем гласного. Это письмо было бесконечно легче учить, чем аккадскую клинопись, но гораздо сложнее понимать, и первые столетия оно применялось только как мнемоническое средство для записи общеизвестных культовых текстов, хозяйственных документов, содержание которых было приблизительно задано, реже — для коротких писем и т. п. Но в I тыс. до н. э., когда арамеи и другие западносемитские народы усовершенствовали эту письменность, введя в нее, во-первых, словоразделы, а во-вторых, отдельные обозначения хотя бы только для долгих гласных, новый семитский алфавит (предок всех алфавитов мира) стал успешно конкурировать с аккадской клинописью и в конце концов вытеснил ее совсем.

Однако при распространении арамейской письменности на Иран в V—III вв. до н. э. возникла ситуация, сходная с той, что существовала в Вавилонии рубежа III и II тыс. до н. э.: сначала все писцы были арамеязычными, и документы составлялись только по-арамейски; потом, при политическом отрыве Ирана от Перед-

ней Азии, арамейских писцов стало там не хватать. Документы тем не менее продолжали, по мере возможности, писать по-арамейски, но только пока дело касалось заученных из школы стандартных оборотов документального формуляра. Сперва стали писать отдельные слова, а наконец — и весь текст арамейской скорописью на том или ином иранском языке, но наиболее ходовые слова и тогда продолжали писать по-арамейски: они остались в тексте как уже непонятные иероглифы, читавшиеся по-ирански, несмотря на арамейское написание букв: так, *MLK'*, т. е. арам. *talkā* 'царь', читалось *šāh* 'царь, шах'.

Поэтому потребовались арамейско-иранские словари (так называемые «фарханги»). Писцы Вавилонии во II—I вв. до н. э. еще знали наряду с арамейским и аккадский и еще пользовались старыми шумеро-вавилонскими филологическими пособиями. После нового завоевания Вавилонии иранцами-парфянами во II в. до н. э. принципиальное сходство арамейской гетерографии, существовавшей для написания иранских текстов, с системой аккадской клинописи, где тоже каждое слово или даже целое выражение можно было при желании написать знаками для его шумерского эквивалента, было осознано писцами, и «фарханги» были созданы по образцам шумеро-аккадского словаря «*Ea=A=nāqu*». Но грамматические представления аккадцев, в частности понятия о видах и породах глагола, были, как кажется, забыты; во всяком случае пережитков этих представлений у эллинистических или сиро-арабо-еврейских грамматистов до сих пор не было выявлено.

## ЗАЧАТКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА У ХЕТТОВ

Раннему проявлению лингвистических интересов у хеттов способствовала языковая ситуация Хеттского царства, которая отличалась исключительной пестротой, как и хеттская культурная письменная традиция. В клинописном архиве Богазкея представлены клинописные тексты по меньшей мере на семи языках (не считая отдельных лувийских диалектов, как истанувийский): анатолийских (хеттском, лувийском, палайском), неиндоевропейских языках Анатолии и прилегающих областей (хатти, хурритском), языках древней месопотамской культуры (шумерском, аккадском). Около половины шумерских текстов из Богазкея представляет собой двуязычные тексты (шумерские и аккадские), что было продолжением вавилонской традиции (можно думать, что некоторые из этих текстов если не были привезены из Вавилона, то составлены в Богазкее приезжими вавилонскими учеными).<sup>1</sup> К древнехеттскому периоду относятся уже многочис-

<sup>1</sup> Cooper J. S. Bilinguals from Boghazköi. I. — ZA, 1971, Bd 61, S. 7; Güterbock H. Some aspects of Hittite prayers. — In: The fron-

ленные двуязычные аккадско-хеттские тексты (в частности, завешание и летопись Хаттусилиса I, XVII в. до н. э.), а также прототипы хаттско-хеттских билингв (частично дошедших до нас в копиях новохеттского времени — XIV и XIII вв. до н. э.). На примере хаттского языка, который уже в древнехеттский период становится мертвым, особенно наглядно видно, как внимательно древнехеттские писцы относились к чужому языку: записывая текст хатти, писец на поля выносил те специфические слоговые знаки (как можно было бы сказать с некоторой долей модернизации, «транскрипционные»), которые использовались для записи хаттских губных фонем (типа [f]—[v]).<sup>2</sup> Любопытно также и строгое соблюдение хаттского порядка слов в некоторых хаттско-хеттских билингвах, где писец-хетт явно стремился к передаче значений каждого хаттского слова, а не к литературности самого хеттского перевода.<sup>3</sup>

Язык хатти в древнехеттский период, когда вся хеттская культура ориентировалась на хаттский образец, был священным языком придворного культа, в центре которого находились царь и царица, величавшиеся хаттскими титулами. Поэтому пробуждение лингвистических интересов именно по отношению к этому мертвому языку придворного культа соответствует закономерности, по которой «первыми филологами и первыми лингвистами» нередко оказываются жрецы.<sup>4</sup> В этом отношении особенно показательны двуязычные хаттские и хеттские песнопения, в которых указываются имена богов на «языке смертных» (хат. ha-p/wi-wuna-n, хет. dundukešni 'у смертных') и на «языке богов» (хатти ha-wa-šhap/wi, хет. DINGIR<sup>MEŠ</sup>-naš ištarna 'среди богов').<sup>5</sup> Хеттский перевод этих песнопений сохранился также в копии древнехеттского времени. Параллели к разграничению названий в языке богов и людей обнаружены, с одной стороны, в египетских текстах<sup>6</sup> (что может представить интерес в свете свидетельств

---

tiers of human knowledge. Lectures held at the Quincentenary celebration of Uppsala University 1977, ed. by T. T. Segerstedt (Acta Universitatis Upsalensis, p. 38). Uppsala, 1978, p. 132, 139.

<sup>2</sup> K a m m e n h u b e r A. Das Hattische. — In: Handbuch der Orientalistik. 1. Abt., Bd 1/2, Abschn., Lief. 2 (Kleinasiatische Sprachen). Leiden—Köln, 1969, S. 443.

<sup>3</sup> S c h ü s t e r H. S. Die hattisch-hettitischen Bilinguen. I (Einleitung und Kommentar). Leiden, 1974.

<sup>4</sup> В о л о ш и н о в В. Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929, с. 88—89. Ср.: И в а н о в В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976, с. 250.

<sup>5</sup> L a r o c h e E. Hattic deities and their epithets. — JCS, 1947, vol. 1, p. 187—216; F r i e d r i c h J. Göttersprache und Menschengesprache im hethitischen Schrifttum. — In: Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift A. A. Debrunner. Bern, 1954, p. 135—139.

<sup>6</sup> D o r n s e i f f F. Antike und Alter Orient: Interpretationen (Kleine Schriften 1). Leipzig, 1956, S. 66, 67, 210.



интенсивных ранних египетско-малоазиатских связей),<sup>7</sup> с другой — в различных древних индоевропейских традициях, как испытывавших малоазиатские воздействия (гомеровская греческая традиция),<sup>8</sup> так и в приуроченных в историческое время к Западной Европе — древнеисландской («Младшая Эдда») и древнеирландской.<sup>9</sup> Само создание особого «языка богов» объясняется внутренними особенностями мифопоэтического языка<sup>10</sup> и может и не быть связано с двуязычием — в песнопениях по два имени у каждого бога есть и в хатти, и в хеттском: «Когда обращаются с заклинаниями к жене бога, певец поет так:

Тебя лишь смертные зовут Тахатанвити,  
Среди богов ты — Мать Источников — Царица!

Когда сын-царевич (помазанник) обращается с заклинаниями к богу Вассецили, певец поет так:

Тебя лишь смертные зовут Вассецили,  
Среди богов ты — Царь, подобный Льву!

Когда царевич обращается с заклинаниями к наложнице Бога Грозы, певец говорит так:

Тебя лишь смертные зовут Тасиммети,  
Среди богов — царица ты Тиммет!

Когда царевич обращается с заклинаниями к Советнику Бога Грозы, певец говорит:

Тебя лишь смертные зовут «Советник Бога Грома»,  
Среди богов ты — Бог Грозы Полей!

Когда обращаются с заклинаниями к Зерну, помазанник говорит так:

Зерно! Ты смилуйся! О, будь благословенно!  
Тебя лишь смертные зовут Зерном,  
Среди богов — Богиня ты Хаяма!

<sup>7</sup> C a n b y J. V. The Walters Gallery Cappadocian tablet and the sphinx in Anatolia in the Second millennium B. C. — JNES, 1975, vol. 34, N 4, p. 236, 246. Чисто типологическая аналогия есть в айнском.

<sup>8</sup> Güntert K. Die Sprache der Götter und der Geister. Halle, 1921. Среди гомеровских слов языка богов обращает на себя внимание *ixōr* 'кровь богов', очевидно, представляющее собой азиатское заимствование (ср. хет. *ešhar, išhar* 'кровь'; ср.: Иванов В. В. Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии. — Вестн. МГУ, 1957, № 2, с. 24—25; K r e t s c h m e r P. Hethitische Relikte im kleinasiatischen Griechisch (Abhandlungen der Österreichischer Akademie der Wissenschaften, N 25). Wien, 1951. \*Дорнзейф (D o r n s e i f f F. Antike und Alter Orient. . . , S. 210) ссылается на наличие особой крови у богов как на черту, параллельную наличию у них особого языка.

<sup>9</sup> W a t k i n s C. Language of gods and language of men: remarks on some Indo-European metalinguistic traditions. — In: Myths and Law among the Indo-Europeans. Studies in Indo-European comparative mythology. Berkeley—Los Angeles, 1970.

<sup>10</sup> Б а х т и н М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 100; Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. Перевод, вступительная статья и комментарии В. В. Иванова, М., 1977, с. 259.

В последней строфе в хаттском гимне употреблено слово хатти *kait* 'зерно' (родственное — как миграционный термин? — хурритскому *kate* 'зерно',<sup>11</sup> откуда, очевидно, и лик.  $\chi\delta\delta\alpha$  'злаки, зерно'),<sup>12</sup> тогда как в хеттском тексте ему соответствует хет. *halki-* 'зерно' (родственное, возможно, русскому *злак* и т. п.). Имени богини Тиммет в «языке богов» хатти соответствует имя Иштар в хеттском переводе, что свидетельствует о наличии подобия *interpretatio hethitica* пантеона хатти. Обозначение божества как «подобного льву» (хатти *takkeḫal* 'лев' родственно также однокоренному термину хатти со значением 'герой') «в языке богов» хатти напоминает образность таких древнехеттских текстов, как летопись Хаттусилиса I, уподобляющего себя самого льву.

Языковая ситуация древней Малой Азии на рубеже III и II тыс. до н. э. характеризовалась постепенным вытеснением языка хатти хеттским языком, усваивавшим при этом из хатти термины придворного культа и названия тех предметов, которые так или иначе были связаны с сакральной сферой (ср. хет. *paš-ana-* 'леопард' из хат. *ḫa-prašš-un* 'леопард', откуда евразийский миграционный термин типа перс. *pārs* — *fārs* 'барс', хет. *ḫapalki* 'железо' из хаттского слова со сходным звучанием, проникшего в многие языки Европы, Западной и Восточной Азии и т. п.). Вместе с тем наблюдается и интенсивное проникновение слов анатолийских языков в староассирийский диалект торговцев, выезжавших из Ашшур в Анатолию, где возникли староассирийские торговые колонии.<sup>13</sup>

Показательно, что к числу таких слов, очевидно, нужно отнести и ст.-ассир. *targummannum* 'переводчик с туземных языков на аккадский', засвидетельствованное в двух текстах из Малой

<sup>11</sup> H a a s V. Die Stellung der Hurritologie innerhalb der altorientalischen Philologien. — In: Das Hurritologischen Archiv. Berlin, 1974, S. 23; хурр. *kate* 'зерно' в угаритском слове (строка II 10); L a r s e n E. Teššub, Hebat et leur cour. — JCS, 1948, vol. 2, N 2, p. 117, n. 24.

<sup>12</sup> N e u m a n n G. Beiträge zum Lykischen. V. — Die Sprache, 1974, Bd 20, H. 2, S. 113, 114; И в а н о в В. В. Разыскания в области анатолийского языкознания. 3—8. — В кн.: Этимология, 1976. М., 1978, с. 158—159.

<sup>13</sup> Клинописные тексты из Кюль-Тепе в собраниях СССР (письма и документы торгового объединения в Малой Азии XIX в. до н. э.). Автографические копии, транскрипции, перевод, вводная статья, комментарий и глоссарий Н. Б. Янковской (Памятники письменности Востока. XIV). М., 1968, с. 21 и след. (в дальнейшем сокращенно Янковская); ср. также из новейшей литературы: L a r s e n M. The Old Assyrian colonies in Anatolia. — JAOS, 1974, vol. 97, N 4; M a w e l l - H y s l o p R. The metal *amutu* and *ašī'u* in the Kültepe texts. — Anatolian Studies, 1972, vol. XII (с дальнейшей библиографией). О словах анатолийского происхождения в языке староассирийских документов см.: B i l g i ç E. Die einheimischen Appellativa der karpadokischen Texte und ihre Bedeutung für die anatolischen Sprachen. Ankara, 1954; И в а н о в В. В. 1) Хеттский язык. М., 1963, с. 13—15; 2) Общеиндоевропейская, анатолийская и праславянская языковые системы. М., 1965, с. 281 (там же литература). О хат. *ḫa-prašš-* см.: И в а н о в В. В. Разыскания в области анатолийского языкознания, с. 153—158.

Азии XIX в. до н. э.<sup>14</sup> и заимствованное, по всей вероятности, из хет. *tarkummai-*, *tarkummija-* 'объявлять, переводить'<sup>15</sup> (в конечном счете к этому слову восходят и названия 'драгомана' в современных европейских языках, в том числе и в русском).<sup>16</sup> Высокий уровень материальной культуры древней Малой Азии (наследницы таких древнейших центров предгорной цивилизации времени, непосредственно следовавшего за неолитической революцией, как Чатал-Гююк)<sup>17</sup> объясняет как весьма раннее становление в этой области торгового капитала (связанного прежде всего с торговлей металлами — оловом, серебром, железом) и создание международной торговой организации (включавшей наряду с ассирийскими купцами и аморейскими), так и специфическую ситуацию городского многоязычия, делавшую необходимым наличие устных переводчиков-драгоманов.

Эта ситуация отражена и в самих письменных текстах из старо-ассирийских торговых колоний. Как показали исследования последних лет (частично подтвердившие догадку, давно высказанную Боссертом), на древнемалоазиатских печатях этого времени встречается значительное число иероглифических знаков, представляющих собой ранние формы позднейших хеттских (лувийских) иероглифов: знаки с условным чтением 'Солнечный Бог Неба', 'Бык' ('Голова Быка'), 'Козел' ('Голова Козла'), 'Птица', 'Сосуд', 'Рука', 'Звезда', 'Круг' (простой и двойной), 'Счастье' (магический 'Треугольник'), 'Ветка',<sup>18</sup> символ 'Жизни' (совпадающий с египетским) и 'Дерева'.<sup>19</sup> Сложная комбинация знаков

<sup>14</sup> См. об истории слова: Gelb I. J. The word for dragoman in the Ancient Near East. — Glossa, 1968, vol. 2, N 1, p. 97 (там же о титуле GAL ta-ar-gu-ma-ni 'главный над драгоманами').

<sup>15</sup> Хеттский глагол мог быть производным от заимствованной формы, образованной от семит. \*rgm 'говорить' с префиксом ta- (ср. однотипное taadabilu 'переводчик' в языке Эблы, корень \*dvr-?), но мог позднее благодаря народной этимологии связаться с хет. tag- 'говорить', см.: Иванов В. В. Отражение двух серий индоевропейских глагольных форм в праславянском. — В кн.: Славянское языкознание. VI. Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.). Доклады советской делегации. М., 1968, с. 248.

<sup>16</sup> Следовательно, из перечисленных культурных терминов древних малоазиатских языков в русский язык вошли три: *драгоман* (из хеттского через ряд промежуточных звеньев), *барс* (и *леопард*) из хатти (через тюркское и иранское посредничество), *железо* из хатти (или хеттского).

<sup>17</sup> Mellaart J. Çatal Hüyük. A neolithic town in Anatolia. London, 1967; Массон В. М. Неолит Южной Турции. — В кн.: Археология Старого и Нового Света. М., 1966.

<sup>18</sup> Börker-Klähn J., Börker Chr. Eflatun Pinar. — JDA I, 1976, Bd 90 (1975), S. 24, Anm. 68.

<sup>19</sup> Canby J. V. Op. cit., p. 241, 244. Ср. также указание на связь хеттских иероглифов как с египетскими, так и с древнейшей малоазиатской символической печатей, в частности, уже в Чатал Гююке: Rosenkranz B. Nicht alphabetische Schriften der antiken Welt. Köln, 1975, S. 8, 55. Давно отмеченная связь хеттского иероглифа для «жизни» с египетским представляет большой интерес ввиду других древнемалоазиатско-египетских сближений, касающихся ранней символики (в частности, сфинксов; см.: Canby J. V. Op. cit.). К несомненным свидетельствам (возможно, однако,

со значением 'Солнечный Бог Неба', в точности совпадающая с такими иероглифическими знаками Новохеттского царства, как знак № 34 в Язылыкая, много раз засвидетельствована на «каппадокийских» (малоазиатских) печатях, в частности таких, которые содержали и явные хеттские (анатолийские) имена, написанные клинописью (среди них имя Ré-ḡi-ḡa,<sup>20</sup> образованное от хеттского имени бога, родственного индоевропейскому богу грозы — славянскому Перуну).<sup>21</sup> Можно, следовательно, думать, что уже в это время в древней Малой Азии параллельно употреблялись не только разные устные языки, но и разные системы письма; двуписьменные печати с клинописными и иероглифическими именами царей и других лиц известны от времени Среднего (XV в. до н. э.) и Нового (XIV—XIII вв. до н. э.) царства (ср. их собрание, найденное в Мескене-Эмаре на Евфрате). Такая ситуация двоякой письменности была характерна для хеттской культуры Нового царства, когда официальные документы писались клинописью на глине, а повседневные записи делались на дереве иероглифами.

Сама структура обеих систем письма, использовавшихся хеттскими писцами, предполагала определенный анализ записываемого языка, в частности хеттского. Запись хеттского слова посредством сочетания логограммы (шумерограммы или аккадограммы) с фонетической записью суффикса (UŠ-tar 'смерть', хет. akkatar от ак- 'умирать' + суффикс -tar) основывалась на словообразовательном анализе. Ребусные или смысловые («шарадные») написания собственных имен (KUG.TUL-та вместо Šuppi-lulima, имя Суппилулиума, записанное как 'чистый' + 'источник' + суффикс -та) были возможны лишь при их этимологизировании.<sup>22</sup> Существенно и то, что писцы могли переходить от системы передачи значений и звучаний в клинописи к аналогичной системе в иероглифическом письме, в том числе и для фиксации

---

значительно более поздним) египетского влияния на хеттскую клинописную графику принадлежит написание названия города Хатти посредством логограммы KUBABBAR 'серебро', о хронологии этого написания см.: Kühnle C., Otten H. Der Saßgamuwa-Vertrag (eine Untersuchung zu Sprache und Graphik). StBoT, 1971, N 16, S. 33—36; разгадку этого написания, до недавнего времени казавшегося таинственным, дает егип. ḥd 'серебро' (= \*ḥad, судя по позднейшей коптской вокализации слова), см.: Иванов В. В. Проблемы истории металлов на Древнем Востоке в свете данных лингвистики. Историко-филологический журн., АН АрмССР, 1976, № 4 (75), с. 72.

<sup>20</sup> Hrozny V. Inscriptions cunéiformes du Kultépe. Vol. I. — In: Monographie Archivu Orientalního. Vol. XIV. Praha, 1952, pl. LXI, Kultépe 27<sup>a</sup>. Такой же рисунок и с теми же иероглифами повторяется также на печатях из Музея изобразительных искусств им. Пушкина, воспроизведенных в кн.: Яковская, с. 306, № 116 (1592), 121 (1602).

<sup>21</sup> Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974, с. 9, 10, 84, 210, 211 и др.; Иванов В. В. Очерки по истории семантики в СССР, с. 266.

<sup>22</sup> Ср. о хеттской клинописи и иероглифике с такой точки зрения: Иванов В. В. Хеттский язык, с. 55 и след., 211 и след.

текстов на разных языках: иероглифы в святилище Новохеттского времени в Язылыкaya используются для записи хурритских слов <sup>23</sup> (как несколько позднее их использовали и для близкородственного урартского языка), <sup>24</sup> тогда как после крушения Хеттской империи иероглифами обычно записывали лувийские тексты. Следовательно, и клинопись, и иероглифика выступали в качестве таких систем представления языков, которые в известной мере были независимы от данного конкретного языка (если не считать особых «транскрипционных» фонетических знаков, само наличие которых особенно подчеркивало этот «метаязыковой» характер употребления клинописи).

О больших лингвистических познаниях хеттских писцов свидетельствует и правильное употребление ими помет, указывающих, на каком из языков архива Богазкея—Хаттусаса произносится тот или иной ритуальный отрывок внутри хеттского клинописного текста: *nešili*, *našili*, *nešumnili* 'по-несийски'—'по-(древне)хеттски' (на языке древней хеттской столицы — Несы или Каниша староассирийских табличек, современное Кюль-тепе, к юго-востоку от Богазкея), <sup>25</sup> *luḫili* 'по-лувийски', *palaumnili* 'по-палайски', *ḫurlili* 'по-хурритски', *ḫattili* 'по-хаттски', *papilili* 'по-вавилонски'. В поздних текстах Новохеттского времени

<sup>23</sup> L a r o c h e E. Les dieux de Yazılıkaya. — RHA, 1969, t. 27; ср. также: O t t e n H. Zur Datierung und Bedeutung des Felsheiligtums von Yazılıkaya. — ZA, 1968, Bd 58; G ü t e r b o c k H. G. Yazılıkaya; à propos a new interpretation. — JNES, 1975, vol. 34, N 4.

<sup>24</sup> L a r o c h e E. Les hiéroglyphes d'Altıntépé. — Anadolu, 1973, XV, p. 55—61, pl. I—IV; H a w k i n s J. D., M o r p u r g o - D a v i e s A., N e u m a n n G. Hittite hieroglyphs and Luwian: New evidence for the connection. — Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 1974, Bd I (Philologisch-historische Klasse). Jg. 1973, № 6; R o s e n k r a n z B. Op. cit., p. 57; К л е й н Дж. Дж. Урартские иероглифические надписи из Алтынтепе. — В кн.: Древний Восток. 3. Ереван, 1978, с. 127—149; Д ъ я к о н о в И. М. Замечания к урартским иероглифическим надписям из Алтынтепе. — Там же, с. 150—152. В Мескене-Эмаре иероглифами записывали и меситские имена: M a s s o n E. [Письмо в редакцию]. — Nestor, 1 September 1976, p. 1072 (со ссылкой на доклад Лароша на XXIII Международной ассириологической встрече летом 1976 г.).

<sup>25</sup> И в а н о в В. В. Хеттский язык, с. 18; Я н к о в с к а я, с. 14 и след. Тожество Несы и Каниша, ранее лишь предполагавшееся, доказано благодаря открытому в 1970 г. тексту архаического древнехеттского мифа о кровосмесительном браке близнецов — детей царицы Несы (Каниша); O t t e n H. Eine althethitische Erzählung um die Stadt Zalpa. — StBoT, 1973, N. 17. Кроме этого древнехеттского мифа Неса упоминается только в архаической погребальной песне (в тексте, лексически близком к тому же мифу, см.: O t t e n H. Op. cit.; ср.: И в а н о в В. В. Из семиотических комментариев к клинописным хеттским текстам. — В кн.: Восточная филология. IV. Сб. ст. памяти Г. В. Церетеди. Тбилиси, 1976, с. 114) и в надписи Анитты: N e u E. Der Anitta-Text. StBoT, 1974, N. 18; ср.: Г и о р г а д з е Г. Г. Текст Анитты и некоторые вопросы ранней истории хеттов. — ВДИ, 1965, № 4. По отношению к этим трем архаическим текстам представляется возможным говорить о следах архаической несийской литературы (в хеттских текстах в том же смысле не раз упоминается об особых текстах, исполнявшихся «певцами Каниша»): Луна, упавшая с неба, с. 7,

перед иноязычными (чаще всего лувийскими или другими диалектными анатолийскими) словами писцы довольно регулярно ставили глоссовый клин <sup>26</sup> (в более ранних текстах Среднехеттского царства этот знак еще имеет разделительную функцию, <sup>27</sup> более сходную с тем использованием глоссового клина для отделения друг от друга разных столбцов многоязычного текста, которое в Богазкейском архиве известно в шумеро-аккадском тексте песнопений, а позднее, в I тыс. до н. э., засвидетельствовано и в Месопотамии). В новохеттский период у большинства писцов были лувийские (или хурритские) имена. Если (как это кажется правдоподобным) они и говорили по-лувийски (или по-хурритски), это делало необходимым для них четко разделять свой разговорный язык, частые заимствования из которого и помечались глоссовым клином, и официальный хеттский канцелярский язык, ими поддерживавшийся, нередко с сохранением искусственных штампов древнехеттского времени. В качестве очень показательного в этом отношении образца можно указать на автобиографию Хаттусилиса III, где с довольно большим числом лувийских слов, помеченных глоссовым клином, сочетаются такие намеренно архаические клише, как оборот 'среди богов', восходящий к древнехеттскому переводу указанной ритуальной формулы хатти (хат. ha-p/wi-wuna-n). Некоторые из самых поздних хеттских текстов (например, надпись Суппилумумы II о завоевании им Кипра) производят впечатление искусственно архаизованных переводов лувийских иероглифических надписей.

Известный аналог многоязычию Богазкея в новохеттский период обнаруживается и в Угарите, входившем в сферу влияния Новохеттского царства. По причинам, в основном сходным с ситуацией в староассирийских колониях в Малой Азии, этот северосирийский торговый центр (отчасти напоминающий по своей демографической структуре «международные селтльменты» в торговых портах первой половины нашего века) отличался исключительным многоязычием: в архиве Угарита найдены тексты (или отдельные глоссы) на ряде древних семитских языков (угаритском, аморейском, древнеханаанском, аккадском) и шумерском (в том числе и двуязычные шумеро-аккадские тексты и трехязычный шумеро-аккадско-хеттский с четырьмя столбцами, где два первых — логографическая и фонетическая записи шумерского оригинала), а также хеттские клинописные и иероглифические

---

<sup>26</sup> Ср. о хронологии этого графического приема: Kühnle C., Otten H. Der Saušgamuwa-Vertrag. . ., S. 52, 38, 39, 43. Наиболее детальное обсуждение (в указанной работе не упомянутое) содержится в статье: Güterbock H. G. Notes on Luwian studies, — *Orientalia*, 1956, vol. 25, f. 2, p. 135.

<sup>27</sup> Otten H. Sprachliches Stellung und Datierung des Madduwatta-Textes, — *StBoT*, 1969 (1970), H. 11, S. 9; см. также: Cooper J. S. Bilinguals from Boghazköi, p. 6.

надписи, хурритские тексты и надписи на языках областей, с которыми Угарит поддерживал торговые связи, — египетском и одном из языков эгейской письменности (кипро-минойском). Эта языковая пестрота, превышающая даже меру языкового многообразия Богазкея (характерно, что и в Угарите используется тот же термин *tar-gu-um-ia-ni* 'драгоман', RŠ 17.251 : 23), согласуется и с разнообразием систем письма — для записей на угаритском и хурритском в Угарите использовалось и особое квазиалфавитное (слоговое) письмо. Наряду с этим для записи хурритского (как и других указанных выше языков) применялась аккадская клинопись. Угаритские слова записывались также аккадским и слоговым кипроминойским письмом (RŠ 20. 25 и др.).

В Угарите найдены трехязычный шумеро-аккадско-хурритский словарь (RŠ 21.62), по своей структуре сходный с разбираемыми ниже шумеро-аккадско-хеттскими словарями из Богазкея, двуязычный шумеро-хурритский словарь (RŠ 8.11)<sup>28</sup> и четырехязычный шумеро-аккадско-хурритско-угаритский словарь (RŠ 20.149). Хаттусас (Богазкей), Эбла и Угарит (Рас Шамра) — три единственно известные до сих пор области, где месопотамская словарная практика была распространена на местные языки.

Существует чрезвычайно любопытная графическая деталь, позволяющая предположить, что писцы южноазиатского (или северносирийского) происхождения в Хаттусасе — Богазкее в конце Новохеттского царства были знакомы с навыками, выработанными несколько ранее в более южных областях. Уже в начале XIV в. до н. э. в письмах древнеханаанейских правителей Финикии и Палестины египетскому фараону (найденных в архиве Эль-Амарны) писцы, писавшие по-аккадски, отмечали древнеханаанейские глоссы в аккадских текстах глоссовым клином; подобное употребление обнаружено и в аккадских текстах из Угарита.<sup>29</sup> Сходство с несколько более поздним употреблением глоссового клина в Богазкее кажется разительным: писцы, пишущие на официальном канцелярском языке (аккадском или хеттском), помечают глоссовым клином вставленные в текст слова своего родного «неофициального» языка (древнеханаанейского или лувийского), родственного соответствующему официальному языку.

В двух случаях в аккадско-хеттском словаре из Богазкея в аккадском столбце обнаруживаются не аккадские, а древнеха-

<sup>28</sup> Ср.: Х а ч и к я н М. Л. Шумерско-хурритский словарь из Рас-Шамары как источник по хурритской диалектологии. — ВДИ, 1975, № 3, с. 21—37.

<sup>29</sup> B ö h l F. M. Th. Die Sprache der Amarnabriefe mit besonderer Berücksichtigung der Kanaanismen. — LSS, 1909, vol. 2; Д ъ я к о н о в И. М. Языки Древней Передней Азии. М., 1967, с. 330; К ü h n e C. Mit Glossenkeilen markierte fremde Wörter in akkadischen Ugarittexten. I, II. — In: Ugarit-Forschungen. Internationales Jahrbuch für die Alturumskunde Syrien-Palästinas, hrsg. von K. Bergerhof, M. Dietrich, O. Loretz. Neukirchen-Vluyn, 1974, Bd 6, S. 157—167; 1975, Bd 7, S. 253—260.

наанейские слова,<sup>30</sup> что напоминает смешение этих двух языков и в письмах из Эль-Амарны: др.-хан. QĀ.NA.A.Ṭ — хет. ar-š[a-n]a-tal-la-aš 'завистник' (ср. др.-евр. qanā 'завистливый', 'ревностный', qin'ā 'ревность, зависть'), КВо I 44 + КВо XIII 1.36; др.-хан. RE.E.Ṭ — хет. kar-tim mi-ia-za 'гнев' (др.-евр. hōrī 'гнев'). Проблема вероятных ханаанейских воздействий на составителей хеттских словарей составляет часть более общего вопроса о вероятном интенсивном контакте новохеттской культуры и древнеханаанейской: во-первых, в Богазкее найден хеттский перевод ханаанейского мифа о Боге Грозы Ваале, Боге — Творце Земли Элькунирше и его жене Ашерту (Ашерат), причем сюжет рассказа частично аналогичен истории Иосифа и жены Потифара (Пентефрия) в «Ветхом Завете»,<sup>31</sup> во-вторых, обнаруживается все большее число разительных аналогий позднейшим древнееврейским текстам, ритуалам и формулам в хеттских текстах, что позволяет думать скорее о древнем малоазиатском влиянии на более южные области,<sup>32</sup> в-третьих, вероятно, возведение оборота 'сыновья Хета' в «Книге Бытия» (23, 3) и др., к хет. DUMUMEŠ URUḪatti 'сыновья Хатти' (в смысле 'жители Хатти', 'хетты'),<sup>33</sup> в-четвертых, выявлено сходство внутренней

<sup>30</sup> Otten H., Soden W. von. Das akkadisch-hethitische Vokabular KBo I 44 + KBo XIII 1. — StBoT, 1968, H. 7, S. 12.

<sup>31</sup> Otten H. Ein kanaanäischer Mythos aus Bogazköy. — In: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. — Bd I, H. 1. Berlin, 1953, S. 125—150; Hoffner H. A. The Elkunirša myth reconsidered. — RHA, 1965, t. XXIII, p. 5—16; Laroche E. Textes mythologiques hittites en transcription. Pt. 2. Mythologie d'origine étrangère. — RHA, 1968, t. XXVI, fasc. 82, p. 139—142.

<sup>32</sup> Ср., в частности, о клятве у воды и о сопоставлении воды и вина: Oettinger. Die militärischen Eide der Hethiter. — StBoT, 1976, H. 22, S. 72 (Anm. 5), 74, 75 (Anm. 14, 15), где не указана значительно более ранняя работа Э. Форрера на ту же тему: Forrer E. Das Abendmahl im Hatti-Reiche. — Actes du XX<sup>e</sup> Congrès international des orientalistes. Bruxelles, 1938, Louvain, 1940, p. 124—128. Из еще более разительных сходств следует отметить, что ритуальная роль въезда в город на осле, реконструированная для ранней ближневосточной традиции (в частности, в докладе 1933 г. О. М. Фрейденберг (Въезд в Иерусалим на осле. — В кн.: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978, с. 491—531); ср. из более ранних работ: Ball C. J. The ass in Semitic mythology. — PSBA, 1910, vol. 32, p. 64), подтверждена мифом о детях царицы Несы-Каниша, где осел играет именно такую роль, соответствующую и культовой функции осла в изобразительном искусстве Каниша: ср.: Otten H. Eine althethische Erzählung um die Stadt Zalpa (ветхозаветные и новозаветные параллели Оттенон не учтены). К отдельным текстуальным совпадениям см. также: Terner E. Zwei hethitische Sonnenlieder. — KIF, 1930, Bd I, H. 3, S. 387—392; Götz A. Die Pestgebete des Muršiliš. — KIF, 1929, Bd I, H. 2; Hoffner H. A. 1) Some contribution of Hittitology to Old Testament Study. — Tyndale Bull., 1969, vol. 20, p. 27—95; 2) The Hittites and Hurrians. — In: Peoples of Old Testament times. Ed. by D. J. Wiseman. Oxford, 1973; Gurney O. R. Some aspects of Hittite religion. The Schweich lectures 1976. Oxford, 1977.

<sup>33</sup> Иванов В. В. 1) К типологическому ачлазю внутренней формы праслав. \*čelovъkъ 'человек'. — В кн.: Этимология, 1973. М., 1975, с. 23,



формы обширной группы выражений, связанных с заключением и нарушением договоров, в ряде древних языков Ближнего Востока, в том числе и в хеттском, и в древнееврейском.<sup>34</sup> В последнем случае речь может идти о сродстве юридической терминологии международного права, легко объяснимой наличием межгосударственных (или межплеменных) связей. Но часть указанных фактов может быть связана с проникновением ханаанейского (западно-семитского) этноса в древнюю Малую Азию, что может быть отражено и в документах, относящихся к *ḫarīru*, если это название интерпретируется и как этническое (а не только как обозначение 'изгоя');<sup>35</sup> с этой точки зрения особенно интересен текст из Угарита, упоминающий «*ḫarīru* Солнца» (т. е. *ḫarīru* — подданных хеттского царя).

Хотя для позднего периода истории Новохеттского царства в деятельности писцов — составителей словарей — обнаруживаются следы влияния южных областей (с лувийским, хурритским и западносемитским населением), начало хеттской лексикографии может быть отнесено к значительно более раннему периоду Древнего царства. Об этом свидетельствует, в частности, наличие в словарях таких хеттских слов, которые есть только в древнехеттских текстах: акк. *[s!ja]rpu* переводится др.-хет. *taggalija* 'обнять'<sup>36</sup> (KUB III 117.3). Выступающее в шумеро-аккадско-хеттском словаре соответствие шум. *IGI.ĪUŠ* — акк. *NE.KĒL.MU.U* — хет. *tar-gul?li-ja-u-ḫa-ar* 'страшный взгляд' представляет инфинитив от глагола, итеративная форма которого *tarkuqalliškinu* в летописи Хаттусилиса I переводит акк. *[il-ta-na]-ak-la-ma-šu* 'злобно посмотрел'<sup>37</sup> (как лев на город Хакху).

---

примеч. 22; 2) Древние культурные и языковые связи южнобалканского, эгейского и малоазийского (анатолийского) ареалов. — В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977, с. 19—20.

<sup>34</sup> Weinfeld M. Covenant terminology in the Ancient Near East and its influence on the West. — JAOS, 1973, vol. 93, № 2, p. 190—199. Ср. выше, примеч. 32, о нарушении клятвы. В том же плане представляет интерес и использование хет. *išḫiul* 'договор' в языке староассирийских торговых колоний в Малой Азии.

<sup>35</sup> Cp. Anbar (Bernstein) M. 'eres ḥa'ibrīm 'le pays des Hebreux'. — Orientalia, 1972, vol. 41, fasc. 3, p. 283—386; Rowton M. B. Dimorphic structure and the problem of the 'APIRŪ-IBRIM. — JNES, 1976, vol. 35, N 1, p. 13—20; Иванов В. В. Из семитических комментариев к клинописным хеттским текстам, с. 126—127. Для еще более ранней эпохи (III тыс. до н. э.) следует иметь в виду и данные о связях с Малой Азией Эблы, документируемые находками в Эбле, ср.: Gelb I. J. Thoughts about Ibla: a preliminary evaluation. March 1977. — Syro-Mesopotamian Studies, 1977, May, p. 5, 15.

<sup>36</sup> См. об этом слове: Sommer F., Falkenstein A. Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattušili I (Labarna II). — In: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Philosophisch-historische Abteilung. N. F. H. 16). München, 1938, S. 34. Хеттский глагол используется в § 108 хеттских законов.

<sup>37</sup> Saporet C. L'autobiographie di Hattušili I (versione accadica). — RSO, 1965, XIV, p. 84 (там же см. о необычности переходного употребления аккадского глагола).

Для сопоставления аккадско-хеттских словарных соответствий с аналогичными переводами в аккадо-хеттских билингвах Древнего царства особенно существенно то, что переводу акк. *puḫḫuru*, *raḫḫu* посредством хет. *taḡarr-* 'собираться' в словаре КВо I 42; II 44, 46, 49; III 49 отвечает аналогичное соответствие статива *raḫḫu* и причастной формы *taḡarrpanteš* 'объединены' в документе Телепинуса (23 A I 4, ср. KUB III 85,4) и аналогичное соотношение перевода акк. *mādu*, *mātum* — хет. *mekki* 'многой, много' в словаре (КВо I 45.11—16; I 31; II 32) с подобным же переводом в заветании Хаттусилиса I. Поскольку, однако, отнесение к древнехеттскому времени обеих частей некоторых из названных билингв остается спорным,<sup>38</sup> приведенные факты говорят не столько в пользу бесспорной древности словарей, сколько в пользу того, что и словари, и билингвы отражают один и тот же тип соотношения хеттских слов с аккадскими. Время выработки этой традиции можно отнести к XVII в. до н. э., когда хетты (возможно, с помощью вавилонских специалистов) быстро овладевали древнемесопотамской культурой. Эту датировку поддерживают как упомянутые древнехеттские лексические архаизмы словарей, так и встречающиеся в них грамматические архаизмы, например формы с притяжательными местоимениями типа GU.UN-aš-ši-iš (=arkammaššiš) 'его дань' (КВо I 42; III 28). Возможно, что древнехеттским характером первоначальных словарных списков объясняются и формы типа хет. *dammeta* 'изобилие' (вместо ожидаемого \**dammetar*), переводящее акк. *duššu* в словаре КВо I 45, I, 15: как показывают исследования последнего времени,<sup>39</sup> отсутствие конечного -г в формах с суффиксом \*t(e)r, разительно напоминающее древнеиндийские формы (на основании которых Фортунатов предполагал сходное явление и в общеиндоевропейском), характерно именно для древнехеттского.

Следовательно, можно думать, что уже около XVII в. до н. э. хеттские писцы (а может быть, и их вавилонские помощники) начали составлять шумеро-аккадо-хеттские (или аккадо-хеттские) словарные списки, которые представляли собой расширение вавилонских шумеро-аккадских путем добавления еще одного — хеттского — столбца, как в хурритской угаритской традиции добавлялся столбец хурритский (а иногда два — хурритский и угаритский). Эта лексикографическая деятельность представляла собой часть процесса усвоения месопотамской системы знаний, по своему характеру энциклопедической (что отразилось и в самом характере словарных списков, предполагавших всеобъемлющий

<sup>38</sup> Тексты дошли в копиях позднейшего времени: Kühne C., Otten H. *Der Saušgamuwa-Vertrag...*, S. 34; ср.: Sommer F., Falkenstein A. *Die hethitisch-akkadische Bilingue...*, S. 201.

<sup>39</sup> Hoffner H. H. A Hittite text in epic style about merchants. — JCS, 1968, vol. XXII, № 2; Schuster H. S. *Die hattisch-hettitische Bilinguen...*; Watkins C. *Indo-European Studies*. Cambridge, Mass., 1972.

охват словаря).<sup>40</sup> Для этой энциклопедической традиции, восходящей к III тыс. до н. э., характерно рассмотрение каждой единицы как отдельной и автономной.<sup>41</sup> Понимание словаря как собрания атомарных явлений, дожившее в XX в. вплоть до Сосюра и им усвоенное, сказывалось уже и в этих первых месопотамских опытах, повлиявших и на хеттов.

Если отвлечься от немногих случаев, где можно предполагать перестройку словаря под влиянием хеттского языка (как появление наряду с переводом акк. bu-šu-mu 'приятный, удобный' — хет. aššu 'удобный' (КВо I 44+IV 12) в дубликате акк. bušû 'имущество' как эквивалента хет. aššu 'имущество'), основным столбцом словаря являлся левый — шумерский в шумеро-аккадо-хеттских словарях, аккадский в аккадско-хеттских.<sup>42</sup> Несколько строк словаря представляет собой чаще всего развитие одной шумерской темы: группа хеттских (и аккадских) синонимов или семантически близких слов в соседних строках разъясняет значение одного шумерского слова. Иначе говоря, благодаря установке на раскрытие с помощью хеттских и аккадских эквивалентов смысла шумерского слова, часто записанного чисто логографически, словарь приобретал характер перечисления многих синонимических (а иногда и словообразовательно между собой связанных) групп слов. В качестве примера можно привести фрагмент словаря КВо XIII 2 Vs 5—7, где подряд идут хеттские существительные na-aḫ-ša-ra-az 'страх', kat-kat-ti-ma-aš-me-iš 'мое волнение', 'моя дрожь'<sup>43</sup> (с древнехеттским притяжательным местоимением, переводящим акк. -lA в аккадском столбце), ú-e-ri-te-im-ma-a 'страх'. Из более конкретных групп синонимов достаточно сослаться на названия 'крыла' в шумеро-аккадско-хеттском словаре КВо I 42.34—36, где следуют друг за другом шум. [Á].ISUD — акк. KAP.PU — хет. pattar 'крыло' и акк. AB.RU — хет. par-ta-a-u-ṣa-ar 'маховое перо, крыло'.

То, в какой мере эта семантическая группировка, иногда напоминающая классификацию по семантическим полям, задавалась исходным шумерским словом (точнее, логограммой) — «шумерограммой», можно пояснить двумя примерами. В шумерско-аккадо-хеттском словаре КВо I 42.41—43 шум. DA.RÍ переводится акк.

<sup>40</sup> Güterbock H. G. A view of Hittite literature. — JAOS, 1964, vol. 84, N 2.

<sup>41</sup> Finkelstein J. J. The West, the Bible and the Ancient Near East: apperceptions and categorisations. — Man, 1974, vol. 9, N 4, p. 601, 602.

<sup>42</sup> Полный набор всех словарных списков из богазкейского архива дает Гютербок в написанном им разделе книги: L a r o c h e E. Catalogue des textes hittites. Paris, 1971, p. 47—53.

<sup>43</sup> К переводу в этом месте см.: Otten H. [Рец. на: Kammenhuber A. Hippologia hethitica]. — ZA, 1963, Bd 21(55), S. 283, Anm. 4. См. к этой группе слов: Иванов В. В. Гомер. греч. Δαίμων τε Φόβος τε: хатт. тауцаа tup/ṣii, хетт. naḫsaratt-deritema-. — В кн.: Античная балканистика. 3. Языковые данные и этнокультурный контекст Средиземноморья. Предварительные материалы. М., 1978, с. 23—25.

*DA.RI.TU* — хет. *id-da-an-za* 'вечность', акк. *LA-BI-RU* — хет. *ú-iz-za-ra-an* 'старое', акк. *ŠI-E-BU* — хет. *LUŠU-GI-an-za* 'старец'. В словаре KUB III 94.13—15 шум. *NIM/NUM* переводится акк. *ŠA.QU.Ū* — хет. *paḡ-ku-uš* 'высокий', акк. *[E.LU.U]* — хет. *ša-ra-zi* 'верхний', хет. *URU-I-lam-ta* KUR-е 'страна Элам'. Шумерские логограммы во многих подобных случаях обозначали общий семантический признак или целый пучок значений, общий для всех аккадских и хеттских слов, переводивших данную логограмму.

Для сопоставления с тем анализом преобразований, сохраняющих смысл, который столь развит в современной лингвистической семантике, значительный интерес представляют такие следующие друг за другом переводы шум. *IGI.LIBA*, как акк. *DÁ.LA.PU* — хет. *ar-ri-ia-a-u-ṣa-ar* 'бодрствовать',<sup>44</sup> акк. *LA.A ŠA.LA.LU* — хет. *ú-ul še-eš-ki-ia-u-ṣa-ar* 'не спать', KBo I 44 (+ XIII 1. I, 44) 39—40.

Особенно интересный случай семантического перевода представляющий следующие друг за другом эквиваленты акк. *A.LA.AK.TU* 'путь' (ед. ч.) — хет. *KASKAL-aš* 'поход', акк. *AL.KA.KA.TU* 'пути' (мн. ч.) — хет. *pankuš KASKAL-aš* 'всеобщий поход', где тема «множественности» передана не грамматической формой хеттского существительного, а лексическим значением прилагательного.<sup>45</sup>

Некоторые из хеттских переводов аккадских и шумерских слов приблизительны, чаще всего это обусловлено выбором лишь одного из многих возможных значений слова при подборе переводного эквивалента, который другими значениями может и расходиться с переводимым, ср. акк. *gamāru* 'справляться, быть готовым' — хет. *zīnumaḡ* 'окончить, уничтожить, кончаться' (KBo I 31. III, 10), акк. *šaḫātu* 'прыгнуть' — хет. *ṣatku* 'прыгнуть, подпрыгнуть, подскочить, возникнуть, убежать' (KUB III 103. I, 10), акк. *īēmi* 'приказание' — хет. *ṣattarnaḫḫ-* 'приказать, скомандовать, просить, сообщить' (KUB III 103. I, 7) при переводе (активного?) причастия *ṣattarnaḫḫant-* — посредством акк. *mu'iru* 'надсмотрщик' (KBo I 42. I, 3 и 17). Последний случай при кажущейся нерегулярности перевода скорее говорит в пользу обдуманного выбора хеттских эквивалентов аккадских (и шумерских) слов (при наличии многих ошибок, иногда связанных и с явными опечатками, вызванными тем, что тексты диктовались вслух). Хотя для писцов хеттские слова служили чаще всего

<sup>44</sup> Ср. об этом хеттском глаголе: Otten H., Soden W. von. Op. cit., p. 13.

<sup>45</sup> Ср.: Иванов В. В. Происхождение и история хеттского термина «собрание». — ВДИ, 1957, № 4, с. 28. По определению Э. Бенвениста, обсуждавшего значение хеттского слова в беседе с автором во время VIII Международного лингвистического конгресса в Осло в августе 1957 г., хеттское *rapka* означает 'целостность как таковую' (в смысле известной работы Сэпира о totality). Акк. *alkakātu* 'пути, обычаи, поведение'.

материалом (подсобным средством) для объяснения аккадских, современного ученого больше интересует отражение особенностей хеттского языка в этих лексикографических списках.

Для истории лингвистики особый интерес представляет грамматическая информация, содержащаяся в хеттских словарных списках. Судя по старовавилонским грамматическим фрагментам, сохранившимся в богазкейском архиве (KUB XXX 5), хеттам были известны те ранние грамматические исследования, которые Р. Якобсон недавно охарактеризовал как «примечательные вавилонские опыты разрешения запутанных проблем парадигматики». <sup>46</sup> Хотя собственно грамматические штудии хеттов в области хеттского языка нам неизвестны, в подборе словарных форм наблюдаются определенные существенные закономерности, позволяющие утверждать, что писцы, составившие хеттские столбцы словарей, занимались достаточно тщательным анализом грамматических соотношений.

Об этом свидетельствует то, что существительные в словарях почти всегда приводятся в форме именительного падежа одушевленного — несреднего рода (ср. в указанных выше местах словарей *aršanatallaš* 'завистник', *kartimijaza* = *kartimijat-s* 'гнев', *naḫ-šaraz* = *naḫšarat-s* 'страх', *iddanza* = *idant-s* 'вечность' и т. п.), соответственно именительно-винительного падежа неодушевленного — среднего рода (ср. выше *pattar* 'крыло', *partaḫar* 'маховое перо' и т. п.). Это говорит о выделении именительного падежа как немаркированной падежной формы, что соответствует и интерпретации хеттской падежной системы в современных грамматических описаниях. <sup>47</sup> Точно так же объясняется и употребление хеттских инфинитивов (древних форм именительного-винительного падежа отглагольных существительных среднего рода) на *-uḫar* / *-umag* и *-atar* в качестве словарных форм глаголов: <sup>48</sup> *ḫašṣuḫar* 'одеваться', 'одевание' (перевод шум. *TÚG* в KBo I 45. I, 7, ср. чтение *TÚG* 'одежда' как хет. *ḫašpa*), *zinnumar* 'окончить, унич-

<sup>46</sup> Jakobson R. Glosses on the medieval insight into the science of language. — *Mélanges linguistiques offerts à E. Benveniste* (Collection linguistique publiée par la Société de linguistique de Paris. LXX). Paris, 1975, p. 290; ср.: Jakobson Th. Very ancient linguistics. — *Studies in the History of linguistics*. Ind. Univ. Press, 1974.

<sup>47</sup> Иванов В. В. Хеттский язык, с. 115. Ср. также: Тронский И. М. Общеиндоевропейское языковое состояние. Л., 1967. Возможно, что с этой общей тенденцией можно связать и форму именительного падежа на *-aš* хет. 1-е-ла-*aš* 'единичный' (акк. *E.TE.NÚ*) в слове KBo XIII 1 + KBo I 44. I, 53 при более обычных несклоняемых формах числительных на -l типа 2-е-el 'оба': Friedrich J. Eine Art hethitischer Zahlwörter. — *Studia classica et orientalia* A. Pagliaro oblata. Roma, 1969, p. 139—140.

<sup>48</sup> См. детальный обзор данных об инфинитивах в хеттских словарях: Kammenhuber A. Studien zum hethitischen Infinitivsystem. — MIO, 1954, Bd II. Ср.: Иванов В. В. К типологии инфинитива в балканских языках. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. М., 1976, с. 224.

тожить, кончаться' (ср. выше о семантике этого слова), [GAM t] iiatar 'положение [вниз]' (KUB III 105. I, 4). В значительно более редких случаях используются другие отглагольные имена, еще не ставшие инфинитивами ни в аккадском, ни в хеттском, в частности существительные с суффиксом -eššar: urpeššar 'посылание, посылка' — акк. *šubultu* (KBo I 35.16), а также с суффиксом -ašha: хет. tar(r)iašha- 'усталость' — акк. *mānahtu* (KBo I 42. I, 19). Значительный интерес для исследования того, как контекстные лексические ограничения накладываются на выбор хеттского соответствия аккадскому инфинитиву, представляет словарь KBo VIII 10. 1—8, где в последовательности хеттских инфинитивов на -uṣar / -umar ḥa-ar-pi-na-ḥu-ṣa-ar 'приобретать богатство', SAL-aš da-a-u-ṣa-ar 'взять в жены',<sup>49</sup> arḥa dalumar 'оставлять', NINDA-aš ḥa-a-pu-uš-šu-ṣa-ar 'наверстать (упущенное, принося) жертвенные хлебцы', [a]r-šu-ṣa-ar 'течь' встречаются два существительных других грамматических типов ṣaštul 'грех' (вместо ожидаемого по грамматической аналогии инфинитива ṣašdumar) и ḥaratar 'оскорбление', часто сочетающиеся вместе в текстах<sup>50</sup> (ср. KUB XII 51 Rev 15 и т. п.). Следование привычным контекстам оказывается основным принципом составления словарного списка, более весомым, чем единообразие форм слов в соседних строках; следовательно, словарь в известной мере отражает реальное хеттское словоупотребление.

К интересным случаям, где последовательность слов в словаре в известной мере отражает словообразовательные отношения между хеттскими лексемами, принадлежит объединение логограммы LÚSIPAD (= хет. *ṣeštaraš*) как перевода акк. *rē'û* 'пастух' и хет. *u-e-ši-iš* 'пастбище' (от той же основы *ṣeš-ija* 'пасти') как перевода акк. *reṭu*, ошибочно записанного в KBo I 44 (+ KBo XIII 1), I, 40 как *RI. DU. Ū*. В других случаях именно при анализе словообразовательных соотношений обнаруживается неточность писца — составителя хеттского столбца: так можно объяснить употребление имени деятеля (на -talla-) *ṣiṣiškatala-* 'рожающая, роженица' как эквивалента аккадского инфинитива *ḥālu* 'находиться в состоянии родов'.<sup>51</sup>

Существенной особенностью хеттских столбцов словарных списков было то, что в них могли в одной строке выступать не отдельные слова, а целые группы слов (хотя понятие отдельного

<sup>49</sup> В данном значении основа на \*-цег может быть весьма древней, так как она соответствует \*-цег в лит. *dovanā* 'дар', латыш. *dāvana* 'дар': И в а н о в В. В. Отражение двух серий индоевропейских глагольных форм в праславянском, с. 258. Относительно этого индоевропейского корня по отношению к дарению и браку см.: И в а н о в В. В. Происхождение семантического поля славянских слов, обозначающих дар и обмен. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975, с. 59.

<sup>50</sup> Ср.: G ö t z e A. [Рец. на кн.:] Otten. H. KBo VIII, — JCS, 1957, vol. XI, N 4, p. 110.

<sup>51</sup> O t t e n H., S q d e n W. *op. cit.*, p. 12.

слова было для хеттских писцов весьма существенным ввиду наличия словораздела в хеттской клинописи). В качестве единых словарных статей нередко выступали такие фразеологические единства, как например, устойчивые сочетания объекта с глаголом: *kurig appatar* 'войну начать'<sup>52</sup> (КВо I 45 Ro), именные обороты с родительным определительным: *ku-ut-ta-aš pâr-še-ēs-šar* 'трещина в стене' рядом с *KI-aš pâr-še-eš-šar* 'трещина в земле' (КВо I 44+I 10—11), *IM-aš pí-e-da-an* 'глиняная яма (букв.: глины место)'<sup>53</sup> акк. *ka-la-ak-ku* (KUB III 93.7—8). В некоторых случаях складывается впечатление, что перевод аккадского слова хеттским словосочетанием объясняется обращением писца к конкретному контексту: хет. *iššuanit uatar* 'вода с грязью' — акк. *liḫmu* 'грязь' (КВо I 45. II, 3).

Исключительно интересную общелингвистическую проблему, связанную с включением в хеттские словари целых синтагм или предложений, представляет регулярный выбор в качестве словарных (т. е. в определенном смысле немаркированных) форм тех относительных конструкций, которые могут быть описаны как определенные. В хеттском языке противопоставлялись друг другу два типа относительных конструкций: неопределенные, в которых относительное местоимение *kui-* выносится на первое место в предложении, и определенные, в которых относительное местоимение не может стоять на первом месте и либо непосредственно предшествует глаголу, если в предложении есть и другие начальные слова, либо следует за глаголом, если предложение состоит из двух слов — относительного местоимения и глагола.<sup>54</sup> Замечательно то, что в хеттских словарях регулярно представлены именно определенные относительные конструкции: *dammeškizzi kuiš* 'тот самый, который обнаруживает свою мощь или вредит' (перевод

<sup>52</sup> L a r o c h e E. Etudes de linguistique anatolienne. II. 6 (Observations sur les dictionnaires polyglottes). — RHA, 1966, t. XXIV, fasc. 79, p. 160—164.

<sup>53</sup> G o e t z e A. The Hittite Ritual of Tunlawi. New Haven, 1938, p. 55, 82 (эта монография Гетце остается собранием ценнейших анализов отдельных фрагментов хеттских словарей).

<sup>54</sup> H e l d H. The Hittite relative sentence. — Language dissertation, N 55. Supplement to «Language», 1957, vol. 33, N 4, pt. 2; Б е н в е н и с т Э. Общая лингвистика. М., 1974; R o s e n k r a n z B. Zur Entstehungsgeschichte des bestimmter Adjektivs des Baltischen und Slavischen. — Die Welt der Slaven, 1958, Jg. III, H. 2; И в а н о в В. В. Общиневропейская, праславянская и анатолийская языковые системы, с. 239—240; L e h m a n n W. P. Proto-Indo-European Syntax. Austin—London, 1974, p. 62—65, 169 (с дальнейшей литературой). Можно думать, что ситуация в хеттском отражает весьма архаичное состояние, потому что следы аналогичного противопоставления разных конструкций с \**k<sup>w</sup>i* можно найти в итальянском, ср.: W a c k e r n a g e l J. Vorlesungen über Syntax. 2. Aufl. Bd. I. Basel, 1926, S. 66—67 (лат. *pecuniam quis nanciscutur, habeto* 'тот, который находит деньги, пусть их держит', но оск.-умр. *pis ceus Bantins fust* — 'кто гражданином Бактия был') и готском (*hrvas þiudans* 'кто в качестве царя', ср.: S t u r t e v a n t A. M. Gothic syntactical notes, — JEGPh, 1947, vol. XLVI, p. 407—412).

аккадского причастия *ḥābilu* 'мощный, угнетающий', КВо I 42. II, 31), A.A-an-za ku-iš 'тот, у кого есть телесная сила (телесные соки)' (КВо I 30. I, 2), вероятное хеттское чтение активной формы *muḥanza* = *muḥant-s*). В двух приведенных примерах двусловный характер конструкции делает постпозицию относительного местоимения особенно наглядной. Но не менее ясна она и в тех фразах из словарей, где в предложении есть другие начальные слова и при нормальном конечном положении глагола относительное местоимение ему непосредственно предшествует: 2-an-ki-kán ku-i-e-eš me-mi-iš-kán-zi 'те самые, которые говорят (по-разному) каждый из двух раз'<sup>55</sup> (КВо I 44 + IV 20); *Ū-UL ḥa-an-da-a-an ku-iš me-mi-iš-[ki-iz-zi]* 'тот именно, кто не говорит подобающим образом' (там же, IV 38); *ut-tar-za ku-iš ru-n[u-u]š-k[i-iz-zi]* 'тот самый, который всякий раз спрашивает об (этом) деле' (там же, IV 27; сочетание итеративного глагола *ru-nušk-* с существительным *uttar* 'дело, слово, вещь' в предшествующем предложении встречается в древнем тексте завещания Хаттусилиса I<sup>56</sup> и может поэтому считаться бесспорным фразеологическим архаизмом словаря); GAM-an ša-ga-a ku-iš ar-pi-eš-ki-zi 'тот самый, который то и дело унижает и захваливает (букв. вниз-вверх хватает)' (там же, IV 19, перевод акк. A. *KIL KAR.ŠI* 'клеветник'). Аналогичны и конструкции в именных относительных оборотах с дательно-местным падежом относительного местоимения: *ŠĀ-ir-kán ku-<e>da-ni ma-a-ni-it an-da* 'тот самый человек, у которого кровь в сердце смешана с желчью' (перевод акк. *LŪ ŠĀ.BI ŠE.MUD.KUD*, КВо I 39. II, 4, ср. близкую по смыслу конструкцию с именительным падежом относительного местоимения: *ŠĀ-kán ku-iš an-da ḤUL-eš-ki-iz-zi* 'тот, который дурно поступает в своем сердце', КВо I 30. 14, соответствует ст.-вав. [LŪ NÍ]G. *ḤUL.DIM.MA*); *NU.GAL-kán ku-e-da-ni ku-it* 'тот самый, для которого ничего нет' (= акк. *MI.MA. LA.A MI.MA* = шум. *UL<sub>4</sub> GAL.RI.A*, КВо I 44 Ro 9—10, строки перепутаны писцом).

Для исследования подобных конструкций особое значение имеет определенная относительная конструкция *SALUMMEDA-za-kán ku-iš a-aš-ki an-da DUMU-an kar-pa-an [ḥar-zi]* 'та самая кормилица, которая подняла ребенка к воротам', которая встречается и в словаре КВо I 42. I, 39 (с разрушенным аккадским соответствием) и в хетто-хурритской билингве VBoT 120 III 16 = КВо XIX 139. II, 3—7 с сохранившимся началом хурритского текста

<sup>55</sup> К переводу этого места см.: Josephson F. The functions of the sentence particles in Old and Middle Hittite (*Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Indoeuropaea Upsaliensis*, 2). Uppsala, 1972, p. 413 (о других подобных конструкциях ср. p. 412).

<sup>56</sup> Sommer F., Falkenstein A. Die hethitisch-akkadische Bilingue. . ., S. 183, 186, 211; Иванов В. В. Происхождение и история хеттского термина *rapku-* 'собрание'. — ВДИ, 1958, № 1, с. 3.



ḥa-ni-ik-[ka]-an.<sup>57</sup> Этот случай удостоверяет, что хотя бы часть определенных относительных конструкций в словарях отражает реальное словоупотребление. Но это еще не дает автоматического решения вопроса о том, почему именно определенные относительные конструкции встречаются в хеттских словарных списках (где в аккадских и шумерских эквивалентах нет ничего, что могло бы обусловить такой именно порядок слов). Напрашивается вывод, что в хеттском определенные относительные конструкции были немаркированными (это типологически можно сравнить с состоянием балто-славянского, из которого объясняется распределение членных прилагательных, вытесняющих в славянском нечленные во всех позициях, кроме предикативной). С общелингвистической точки зрения, это можно сопоставить с намеченной еще в старой арабской грамматике теорией, согласно которой определенность имени (логического термина) противопоставляется неопределенности предиката.<sup>58</sup> При сопоставлении с логическими языками существенно, что оператор дескрипции (йота-оператор, часто соответствующий относительным предложениям) в естественном языке<sup>59</sup> характеризуется единственностью данного денотата, что согласуется с существенными признаками определенного артикля.<sup>60</sup> Предполагаемый этими новейшими лингвистическими и логическими теориями анализ определенных именных конструкций приводит к выводам, объясняющим лексикографическую практику хеттских писцов, у которых определенность именных относительных конструкций противопоставлялась неопределенности таких глагольных, как хет. kuṣaritta para eššumar 'продвигаться повсюду' — шум. EN.TI.TI — акк. KUSĀRU (KBo I 35.16) (kuṣaritta от той же древней основы \*k<sup>w</sup>- в обобщенно-неопределенном значении). Сходными причинами объясняется и частое использование определенных форм существительных с постпозитивным суффиксом -ne/-ni в хурритских столбцах словарей

<sup>57</sup> L a r o c h e E. Études de linguistique anatolienne. VI. Les bilingues hurro-hittites. — RHA, 1970, p. 65. В автографии Гетце в VBoT 120. III, 16 не видно следов знака -ka-, отмеченных под вопросом Ларошем. Мотив «поднятия» ребенка после его рождения встречается и в хеттском переводе хурритского эпоса о боге Кумарби. Ср. хурр. ḥanikki 'роженница'.

<sup>58</sup> Г а б у ч а н Г. М. Теория артикля и проблемы артикля и проблемы арабского синтаксиса. М., 1972; Р е в з и н И. И. 1) Анкета по категории определенности — неопределенности. — В кн.: Балканский лингвистический сборник. М., 1977; 2) Структуры языка как моделирующей системы. М., 1978.

<sup>59</sup> П а д у ч е в а Е. В. Семантика синтаксиса. М., 1974. К общей теории относительного подчинения см.: З а л и з н я к А. А., П а д у ч е в а Е. В. К типологии относительного предложения. — В кн.: Информатика и семиотика. 6. М., 1975; К о р ш Ф. Е. Способы относительного подчинения. М., 1877.

<sup>60</sup> S c h r ö t e r K. Theorie des bestimmten Artikels. — Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik, 1956, Bd 2, S. 37—56; Ф р е н к е л ь А. А., Б а р - Х и л л е л И. Основания теории множеств. М., 1966, с. 176, примеч. 2. 332, 333.

из Угарита: хурр. *ti-iš-né* 'сердце' (акк. *lib-bu*, шум. *ŠAG*, ср. RŠ 8 + 11.27 и т. п.).

Характерной чертой хеттских словарей с их ориентированностью на реальные семантические единства в тексте, которые могли существенно превышать пределы одного слова, является объединение в одном столбце инфинитива глагола с предшествующим ему провербом (например, хет. EGIR-ра *ua-aḫ-nu-mar* 'поворачивать обратно' = [T] *Ā.Ā.RU* KUB, III 93.7—8, EGIR-ра *e-šu-u-ṣa-ar* 'оборонять', шум. *Ā.GĀL*, акк. *DU.KŪL.DU*, KBo I 42.I, 7) и с энклитическими частицами, образующими с превербами одно фонетическое слово. Последняя особенность хеттской лексикографической практики долгое время не находила удовлетворительного объяснения, пока недавно не было установлено, что частицы нужны для точной лексической (в частности, видовой) характеристики глагола:<sup>61</sup> *kat-ta-aš-ša-an arnumar* 'закончить'<sup>62</sup> — шум. *EN.TAR.RI.A* — акк. *UZ.ZU.ZU* (KBo I 44 + obv. 13): преверб *katta* + видовая частица *šan* + инфинитив глагола *arnu*; *pa-ra-a-kán pa-a-u-ar* 'выйти' — акк. *ŠÍ.DU* (KBo I 35,4): преверб *paḫ* + видовая частица *kan* + инфинитив глагола *rai*; *an-da-kán im-pa-u-ar* 'опечалиться' (акк. *A.ŠA.ŠUM*, KBo I 42,III, 53): преверб *anda* + видовая частица *kan*; *an-da-aš-ša-an ti-ja-u-ar* 'вхождение' (KBo I 42.II, 2). В нескольких случаях в одном и том же словаре для передачи семантических различий используется и эмфатическая хеттская частица *-pat* 'именно', 'самый', форма, которой противопоставляется форма без этой частицы: EGIR-ра *e-šu-u-ṣa-ar-pat* (акк. *TA.[KĀL].DU*, KBo I 42.I, 8) вслед за EGIR-ра *e-šu-u-ṣa-ar* (акк. *DU.KŪL.DU*) в предшествующей строке, *an-da-kán im-pa-u-ar-pát* (акк. *A.ŠA . . .*) (KBo I 42.III, 54) вслед за *an-da-kán im-pa-u-ar* в предшествующей строке. Из этого явствует, что хеттские писцы отчетливо осмыслили семантическое различие инфинитива без этой частицы и инфинитива, за которым следует эмфатическая частица.

Внесение в словарные списки синтаксических служебных слов в качестве отдельных единиц имело место уже и в аккадских словарях (акк. *lu-[ma-an]*, передаваемое хет. *ma-an ma-an* в KBo I 50.11 + KUB III 99.II, 24),<sup>63</sup> но существенным нововведением хеттских писцов было широкое и систематическое употребление как целостных словарных единств комплексов, образуемых глаголом с превербами и энклитическими частицами. Проявление в этой словарной практике значительных элементов грамматиче-

<sup>61</sup> Josephson F. Op. cit., p. 407 sqq.

<sup>62</sup> Ibid., p. 411, 414, 415; Otten H., Soden W. von. Op cit., p. 9; ср.: Goetze A. [Рец. на: Otten H., Soden W. von]. — JCS, 1970, vol. XXIII, N 1, p. 23.

<sup>63</sup> Ср. об этом соответствии: Güterbock H. G. Die historische Tradition und ihre literarische Gestaltung bei Babyloniern und Hethitern. — ZA, 1938, S. 128.

ской абстракции следует из того, что, во-первых, энклитические частицы, занимающие (в соответствии с законом Вакернагеля) второе место в предложении, могут быть отделены от глагола, стоящего обычно на последнем месте, многими другими словами; во-вторых, в реальных предложениях на первом месте перед энклитиками совсем не обязательно стоит именно преверб. Поэтому словарная статья типа *anda-šan tiiauar*, по существу, представляет собой способ абстрагированного изображения тонкого наблюдения, согласно которому хеттский глагол *tiia-* в сочетании с превербом *anda* и частицей *šan* может выражать фиксируемое в словаре значение. Существенно, что писцы разработали совершенно оригинальный способ записи этих специфически хеттских конструкций.

В других, более редких случаях хеттский писец непосредственно вносил в качестве словарной статьи целое предложение, начинающееся вводящим союзом, за которым следует энклитическая частица: *nu-uš-ša-an* <sup>GI</sup>AR.HI.A *hu-it-ti-a[n-] [z]i* 'они тащат (толкают) бревна' (КВо I 48 Ob. 4), или же причастную форму, за которой следует частица: *a-ra-an-an-za-ša-an* LÜ-aš 'постоянный (или стоящий) человек' (KUB III 103 rev. 13). В этих случаях писцы ориентировались на конкретный текст в такой же мере, в какой составитель первого варианта хеттских законов явно ориентировался на описание конкретных юридических казусов: в обоих случаях номотетическая деятельность (языковеда или правоведа) предварялась регистрацией конкретных текстов, еще не представляемых как результат деятельности системы правил. Но нельзя не отметить, что отсутствие скованности рамками одного слова делало хеттские словари иногда более действенным средством описания структуры текста, чем те традиционные европейские словари, которые чаще всего оперировали с отдельными словами.

С чисто лексической точки зрения характерной особенностью хеттских словарных списков является то, что многие употребляющиеся в них слова встречаются в текстах крайне редко, часто только один раз — в самом словаре.<sup>64</sup> Иногда причины этого заключаются в особенностях письма: в хеттских столбцах словарей хетские слова писались логограммами реже, чем в других новохеттских сочинениях. С этим, вероятно, связано то, что именно из словарей известны хеттские чтения таких достаточно распространенных логограмм, как MUL 'звезда' — хет. *ha-aš-te-ir-za* (акк. *GA.AQ.QA.BU*, КВо I 44+IV),<sup>65</sup> A.GAR<sub>5</sub> 'свинец' — хет.

<sup>64</sup> Gurney O. R. [Рек. на: Otten H., Soden W. von.]. — OLZ (Jg. 65), 1970, N 11/12, S. 552.

<sup>65</sup> Otten H., Soden W. von. Op. cit., p. 40—41; Friedrich J. Zu den hethitischen Wörtern für «Stern» und «Hand». — Athenaeum, 1969, vol. XLVII, fasc. I—IV; Studi in onore di P. Meriggi. Pavia, 1969, S. 116—117; Watkins C. I.-E. 'star'. — Die Sprache, 1974, 20, 1, S. 10—14 (без учета предшествующей статьи Фридриха). Хеттская фонетиче-

šu-la-a-iš (KUB III 103 rev. 11).<sup>66</sup> Другие специальные технические термины, например связанные с искусственным орошением (хет. allalamta 'ответвление канала', KBo I 35,3; ardaḫḫi 'трубка', KUB III 94, II, 9), могут пониматься как фрагменты отраслевых словарей. Часть специфических словоупотреблений в новохеттских словарных списках может быть соотнесена со специфически лувийской лексикой, например annari-(š), как хеттское слово, соответствующее акк. *KAL. ZU* (при вероятном чтении *LAMA. ZU* 'твое божество-защитник') (KUB I 44+XIII 1.IV, 36) при глоссовом лув. *an-na-ri-iš* (KUB X 81.8) и лув. *annarumaḫi* (хет. *innaraḫatar* 'сила').<sup>67</sup> Обилие словарного материала в хеттских лексикографических списках делает их до сих пор неоценимым источником при изучении словаря анатолийских языков. Но особый интерес они сохраняют как свидетельство проведенного их составителями глубокого анализа грамматической структуры хеттского языка, сказавшегося на систематически проведенных принципах подачи словарного материала.

## ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗНАНИЙ О ЯЗЫКЕ У ФИНИКИЙЦ

У народов, населявших Переднеазиатское Средиземноморье, потребность в осмыслении языковых явлений появилась, очевидно, не позже III тыс. до н. э., когда логика развития классового общества и государственности привела к необходимости фиксировать человеческую речь, а экономические и политические

---

ская форма слова хорошо согласуется с давнишней гипотезой о заимствовании индоевропейского слова из семитского; ср.: И л и ч - С в и т ы ч В. М. Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты. — В кн.: Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964. С этой точки зрения архаическим может быть и хеттское окончание именительного падежа одушевленного рода. Имя богини Иштар (Астарты) и обожествляемой планеты Венеры (см.: H e n n i n g e r J. Zum Problem der Venussterngottheit bei den Semiten. — *Anthropos*, 1976, 71, 1/2, S. 129—168), с которым по этой гипотезе связано индоевропейское (и хеттское) название «звезды», в шумеро-аккадско-хеттском слове представлено в ряде *ḫESTAR*... — *ḫISTAR* — *DISTAR*-iš, KUB III 110. 20—21, где вероятно хурритско-лувийское чтение последнего слова (ср. хвр. *Šauška* — 'Илтар').

<sup>66</sup> Хеттское слово (по Нейману, из и.-н. \*sli-) представляет особый интерес ввиду возможности ареальной связи с гомер. греч. *σβλος* 'расплавленная масса металла'; ср.: L a r o c h e E. *Études de linguistique anatolienne*. II, p. 163, n. 8; F u r n é e E. J. *Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen*. The Hague—Paris, 1972, S. 360.

<sup>67</sup> O t t e n H. *Beiträge zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen*. Berlin, 1953, S. 48; G ü t e r b o c k H. G. *Notes on Luvian studies*, p. 127, 129; L a r o c h e E. *Dictionnaire louvite*. Paris, 1959, p. 26; K a m m e n h u b e r A., F r i e d r i c h J. *Hethitisches Wörterbuch*. 2. Aufl. (bearb. von A. Kammenhuber). Liefer. 1. Heidelberg, 1975, S. 78.

контакты со странами и народами Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья в целом познакомили с чужеземными языками и поставили проблему преодоления языкового барьера. Достаточно сказать, что уже во второй половине III тыс. до н. э. аккадский язык был в Переднеазиатском Средиземноморье языком межгосударственного общения и деловой документации (такую же роль играл, по-видимому, и египетский язык, хотя и в значительно меньших масштабах). Если верны предварительные сообщения о документах из Эблы (конец III тыс. до н. э.), они составлены на аккадском и местном ханаанейско-аморейском языках, зафиксированных староаккадской клинописью. Среди найденных здесь памятников имеются и лексикографические пособия, предназначенные для обучения писцов. В Угарите в середине II тыс. до н. э. и, вероятно, раньше писали не только по-угаритски, но и по-аккадски, в том числе и угаритским квазиалфавитным письмом, по-хурритски, по-хеттски, а также на недешифрованном пока языке выходцев из Эгеиды, пользовавшихся линейным письмом А.

До нас не дошли какие-либо финикийские материалы (как и вообще материалы из Переднеазиатского Средиземноморья) раннего времени, которые содержали бы теоретическое осмысление языковых фактов. Тем не менее, основываясь на особенностях финикийской и угаритской письменности, а также на некоторых иных данных, можно попытаться представить себе, каким был уровень эмпирического познания языка уже в этот период.

Оставляя в стороне вопрос о письменности документов из Эблы, судить о которых пока за отсутствием публикаций нет возможности, наиболее древними оригинальными системами письменности Переднеазиатского Средиземноморья (хотя они и известны по сравнительно поздним текстам) следует признать библскую псевдоиероглифику,<sup>1</sup> протосинайское<sup>2</sup> и протопалестинское письмо.<sup>3</sup> Они пока не дешифрованы; судя по количеству знаков в каждой из этих систем, можно прийти к выводу, что все они были слоговыми. Иначе говоря, наименьшей фиксируемой единицей речи на этапе формирования этих письменностей был слог — как правило, сочетание согласного и гласного звуков, реже — согласного, гласного и согласного. Констатировать наличие в них словоразделителей пока не удалось; значит ли это, что в период их становления слово в потоке речи не выделялось, не вполне ясно. Наличие среди памятников, найденных в Эбле, межъязычных

---

<sup>1</sup> Dunand M. *Byblia Grammata*. Beyrouth, 1945. Попытки дешифровки и на этой основе анализа языка псевдоиероглифики см.: D h o r m e Ё. *Déchiffrement des inscriptions pseudohieroglyphiques de Byblos*. — Syria, 1946—1948, t. 25, p. 1—35; J i r k u A. *Wortschatz und Grammatik der gublitischen Inschriften*. — ZDMG, 1952, Bd 102, S. 201—214.

<sup>2</sup> Последняя по времени, но также неудачная попытка дешифровки: Albright W. F. *The Proto-Sinaitic inscriptions and their decipherment*. Cambridge Mass., 1966.

<sup>3</sup> Д и р и н г е р Д. Алфавит. М., 1963, с. 251—254.

словарей свидетельствует скорее против такого предположения. Очевидно уже во второй половине III тыс. до н. э. при обучении грамоте исходили из эмпирического представления о слове как о мельчайшей значимой единице речи, которая может быть сопоставлена с аналогичной единицей другого языка.

Следующий этап формирования письменностей Переднеазиатского Средиземноморья представлен угаритской и собственно финикийской линейной квазиалфавитными системами.

Угаритская квазиалфавитная письменность сложилась в зоне интенсивного аккадского влияния (отсюда использование для письма глиняных табличек и изобретение клинообразных знаков), однако она сложилась самостоятельно и непосредственно от аккадской клинописи в каком-либо ее варианте не происходит.

Угаритская письменность известна в двух вариантах. Пространственный вариант (табл. 1) соответствует консонантному составу хананейско-аморейских языков, к которым принадлежал и угаритский, времени ее возникновения, вероятно, не позже первой половины II тыс. до н. э. Пространственный вариант угаритской клинописи развился из слогового письма; реликтами последнего являются специальные знаки для 'a, 'i, 'u, <sup>4</sup> а также вариативные знаки в некоторых других случаях. <sup>5</sup> Однако в целом здесь имело место упрощение слогового письма: если раньше каждый знак соответствовал сочетанию определенного согласного со столь же определенным гласным, то теперь каждый знак соответствовал сочетанию определенного согласного с любым, в том числе «нулевым» гласным. <sup>6</sup> Очевидно, как основной звук в слогe воспринимался согласный, тогда как гласный представлялся лишь сопровождающим согласный звучанием голоса.

Приведенные в табл. 1 аккадские обозначения угаритских графем позволяют судить об исходном значении последних в системе угаритского слогового письма. Вопрос, почему именно эти знаки

<sup>4</sup> В литературе (Blau J., Loewenstamm S. E. Zur Frage der scriptio plena im Ugaritischen und Verwandtes. — Ugarit-Forschungen, 1970, Bd 2, S. 19) высказывалось предположение, согласно которому знаки 'i и 'u, расположенные в конце квазиалфавита, представляют сравнительно позднее дополнение к нему, изобретенное для передачи звуков i и u в неугаритских, преимущественно хурритских, словах и текстах. Такое предположение недоказуемо, тем более что знаки 'i и 'u используются также и в записи угаритских текстов в собственном смысле слова.

<sup>5</sup> Невозможно согласиться с С. Сегертом (Сегерт С. Угаритский язык. М., 1965, с. 19), когда он утверждает, будто «чисто графические варианты отдельных букв... не имеют языкового (?) значения». Эти варианты не могли бы иметь место, если бы они не воспринимались как возможное и оправданное традицией обозначение соответствующего звука, что предполагает их употребление на более ранней стадии формирования письма (вероятнее всего, в качестве слоговых знаков).



<sup>6</sup> Гельб И. Дж. Западносемитские силлабарии. — В кн.: Тайны древних письмен. М., 1976, с. 263—300; Дьяконов И. М. Древние письменности и древние языки. — В кн.: История и филология древнего Востока. М., 1976, с. 4—5; ср. также: Шифман И. Ш. Финикийский язык. М., 1963, с. 13—14.

Т а б л и ц а 1



Угаритская клинопись (пространный вариант)

Знак	Варианты	Транслитерация	Аkkадское обозначение
1		'a	A
2		b	BE
3		g	GA
4		h	HA
5		d	DI
6		h	U
7		w	WA
8		z	ZI
9		h	KL
10		t	TI
11		y	
12		k	
13		v	
14		l	
15		m	
16		d	
17		n	
18		z	
19		s	
20		c	
21		p	[P] L
22		s	SA
23		q	QU
24		r	RA
25		t	SA
26		g	HA
27		t	TU
28		'i	I
29		'u	U
30		's	ZU

вошли в клинописный «квазиалфавит», остается не вполне ясным (может быть, это объясняется частотностью их употребления?). Они же позволяют уточнить и произношение отдельных звуков: едва уловимое на слух звучание угаритского *h*; соответствие угаритского *ḥ* аккадскому *k*, возможное только, если последний представлял собой щелинный *k*; близость угаритского *t* к аккадскому *š*, угаритского *ḡ* к аккадскому *ḥ* и угаритского *š* к аккадскому *z*.<sup>7</sup>

На сравнительно позднем этапе развития угаритского письма в нем начали происходить существенные изменения. Совпадение произношения звуков *š* и *t* позволило устранить соответствующие графемы и ввести для них общий знак *O*; то же произошло и в результате совпадения *ḥ* и *h*, для которых сохранен общий знак  (первоначально *ḥ*). Наконец, *ṣ* обозначается теперь, по-видимому, знаком . Насколько краткий вариант угаритской клинописи соответствует финикийскому линейному письму, пока не ясно.

Аналогичная квазиалфавитная клинопись имела и в Палестине.<sup>8</sup> Является ли палестинская клинопись местным вариантом угаритской, или же она возникла самостоятельно, вследствие ограниченности эпиграфического материала, трудно сказать. Показательно во всяком случае принятое здесь направление справа налево в отличие от угаритской, где писали слева направо. Угаритская квазиалфавитная клинопись использовалась для записи не только собственно угаритских, но и аккадских и хурритских текстов.

Другая система переднеазиатской квазиалфавитной письменности сложилась на юге Финикии, в зоне преимущественно египетского влияния. Это так называемое финикийское линейное письмо (табл. 2), выросшее, по всей вероятности, из библской псевдоиероглифики. Здесь также имело место упрощение слогового письма, и, как и в угаритской клинописи, каждый знак первоначально соответствовал сочетанию определенного согласного с произвольным, в том числе «нулевым», гласным. Однако здесь на том этапе, на котором мы ее застаем, знаков гораздо меньше, чем в пространной угаритской клинописи, хотя порядок расположения в целом тот же и один знак может соответствовать нескольким близким на слух звукам (например: *O* соотв. *c* и *ḡ*,  соотв. *ḥ* и *ḥ*,  соотв. *š* и *š* и т. д.). В ряде случаев, по-видимому, имело место слияние артикуляционно близких звуков (например, *t* → *š*), чем также может объясняться отсутствие соответствующего знака.

К тому моменту, когда мы с ними сталкиваемся, отдельные знаки угаритского и финикийского квазиалфавитов уже воспринимались

<sup>7</sup> Ср.: Гельб И. Дж. Западносемитские силлабарии, с. 298, 303 (примеч. И. М. Дьяконова).

<sup>8</sup> Herdner A. A-t-il existé une variété palestinienne de l'écriture cuneiforme alphabétique? — Syria, 1946—1948, t. 25, p. 165—168.



Т а б л и ц а 2.

Финикийское линейное письмо (около X в. до н.э.)

Знак	Варианты	Транслитерация	Название
1	𐤀	ʾ	'алеф
2	𐤁	b	бет
3	𐤂	g	гимел
4	𐤃	d	далет
5	𐤄	h	хе
6	𐤅	w	вав
7	𐤆	z	зайин
8	𐤇	ḥ	хет
9	𐤈	ṭ	тет
10	𐤉	y	йод
11	𐤊 с IX в. 𐤋	k	каф
12	𐤌	l	лемед
13	𐤍 с IX в. 𐤎, с VIII в. 𐤏, 𐤐, 𐤑	m	мем
14	𐤒	n	нун
15	𐤓 с VII в. 𐤔, с IV в. 𐤕, 𐤖	s	самек
16	𐤗	c	с айин
17	𐤘	p	пе
18	𐤙 с VIII в. 𐤚	ṣ	цаде
19	𐤛 с IV в. 𐤜	q	коф
20	𐤝	r	реш
21	𐤞 с VI в. 𐤟, 𐤠	ṣ	шин
22	+ x с VII в. 𐤡, 𐤢, 𐤣	t	тав

как референты только согласных звуков. В пользу такого допущения говорят введение специальных наименований, в том числе в финикийском — акрофонических, а также возникновение весьма рано системы так называемых *matres lectionis*.

Появление такой системы письма является следствием выделения в слове отдельных звуков — согласных и осознания того факта, что наряду с последними существуют и другие звуки (гласные), на письме не обозначаемые, но играющие тем не менее важную

роль в формировании слова. Оказалось, что слова, написанные одними консонантными знаками, сложны для понимания, и возникла потребность в дополнительных сигнализаторах, которые указывали бы, какие именно гласные должны произноситься при каждом данном скоплении согласных. Такими сигнализаторами стали так называемые *matres lectionis*. В угаритской письменности они существовали уже в середине II тыс. до н. э.;<sup>9</sup> в финикийской линейной письменности и восходящих к ней палеоеврейской, моавитской, арамейской они засвидетельствованы в первой половине I тыс. до н. э.<sup>10</sup>

Принцип употребления *matres lectionis*, в сущности, весьма прост. Каждому гласному соответствует знак, употребляемый для обозначения близкого по звучанию согласного (знак, соответствующий *w*, для *o* и *u*; знак, соответствующий *y*, для *i* и *e*; знаки, соответствующие ' и *h*, — для *a* и т. д.). Важно также, что они употреблялись не для обозначения всех гласных в каждом слове, но какого-то одного, по мнению писцов, характерного для данного слова, и не во всех случаях, а только тогда, когда, как считали, возможны недоразумения. Из сказанного следует, что создатели этого способа фиксации огласовок видели в совокупности гласных, имевшихся в слове, систему, благодаря чему оказывалось возможным обозначить один какой-то гласный звук, чтобы была ясна огласовка всего слова. Но это значит, что они подружились, если не подошли уже, к пониманию закономерностей огласовки слов различных классов и к выделению частей речи.

Возвращаясь к проблеме выделения звуков в потоке речи, отметим еще следующее обстоятельство. На письме фиксировались, разумеется, лишь с известной степенью приближения, не любые звуки (в том числе артикуляционные и позиционные варианты и т. д.), но только те, которые имели смысловозначительное значение. Для этого необходимо было, хотя бы на эмпирическом уровне, выделить существенные признаки звуков от несущественных, представляя фиксируемый звук как своего рода абстракцию, которая в живой речи реализуется по-разному, в зависимости от конкретной ситуации.

Уже в середине II тыс. до н. э. в угаритской и на рубеже II и I тыс. в финикийской письменностях может быть отмечено наличие

---

<sup>9</sup> Gordon C. H. *Ugaritic Textbook*. Roma, 1965, с. 18; Сегерт С. Угаритский язык, с. 19; Blau J., Loewenstamm S. E. *Zur Frage*, S. 19—33.

<sup>10</sup> Cross F. M., Freedman D. N. *Early Hebrew orthography*. New Haven, 1952; Friedrich J., Röllig W. *Phönizisch-punische Grammatik*, Roma, 1970, р. 40—41. В классическом финикийском письме такие написания редки, возможно вследствие приверженности писцов к древнейшей орфографической традиции; они, однако, интенсивно вводятся в употребление в производных от финикийской переднеазиатских системах письма. В новопунийском под явным греко-римским влиянием были сделаны попытки, хотя и не вполне последовательные, выработать способы обозначения всех гласных звуков.

словоразделителей (в угаритской — вертикальный клинообразный знак, в финикийской — черта или точка сверху строки).<sup>11</sup> Очевидно, уже к этому времени было выработано эмпирическое представление о слове как о мельчайшей значащей единице речи. В ходе обучения писцов чужому языку составлялись словари, в том числе и многоязычные, и отдельные слова сопоставлялись между собой, устанавливалось их общее значение. В эль-амарнской переписке отдельные аккадские слова поясняются их ханаанейским эквивалентом.

Существенно, что целый ряд предлогов и союзов, а также энклитические местоимения, по-видимому, не всегда воспринимались как отдельные слова, чем и объясняется то, что в подавляющем большинстве случаев они на письме не выделялись словоразделителями, а иногда (если это было гласный звук, например *ī* — энклитическое местоимение 1-го л. ед. ч.) не отмечались и соответствующими *matres lectionis*.

В I тыс. до н. э. словоразделители почти выходят из употребления, возможно под воздействием скорописи, и появляются снова уже сравнительно поздно, под греко-римским влиянием (точка или пробел).

Итак, в середине II тыс. до н. э. финикийцы, угаритяне и, вероятно, другие народности Переднеазиатского Средиземноморья, чье культурное развитие происходило под финикийским влиянием, уже выделяли в потоке речи гласные и согласные звуки (смыслоразличительные), слова как наименьшие значимые компоненты речи и имели представление об огласовке слова как о системе, подходя, по всей видимости, к выделению классов слов в соответствии с различиями в их огласовках.

Существовали ли в Финикии доэллинистического времени специальные языковедческие труды, неизвестно. До нас дошли только происходящие из Угарита словари и силлабарии, датируемые серединой II тыс. до н. э. Однако потребность обучения писцов как родному языку, так и чужеземным языкам и письменностям не могла не иметь своим последствием возникновение определенной устойчивой традиции преподавания и интерпретации языковых фактов. В эпоху эллинизма и римского господства эта проблематика безусловно разрабатывалась. Среди сочинений Филона Библиского (I—II вв. н. э.) упоминаются *Περὶ Ῥωμαίων διαλέκτου*, а также *Περὶ στοιχείων Φοινικικῶν*. Впрочем, имеющаяся в нашем распоряжении цитата из последнего сочинения не затрагивает собственно языковедческих проблем.

Свидетельство о существовании финикийской грамматической теории до нас дошло у Клемента Шотландского (VIII в. н. э.) со ссылкой на Исидора из Севильи (конец V—начало VI в.). Специфической ее особенностью было признание безличного наклонения (*impersonalem modum*), т. е. пассивного глагола, инфинитива и

<sup>11</sup> Gordon C. H. *Ugaritic Textbook*, p. 15; Friedrich J. Röllig W. *Phönizisch-punische Grammatik*, p. 6.

наклонения действия (*gerendi modum*), т. е. абсолютного инфинитива, частями речи. Всего финикийские грамматики насчитывали двенадцать частей речи.<sup>12</sup> Эта идея должна восходить, по всей вероятности, к собственно финикийским разработкам грамматических проблем, однако более детально судить об этом можно будет только после обнаружения новых источников.

## ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

### Предпосылки зарождения языковедческой науки

В древнеиндийском родовом обществе, как и на заре западных цивилизаций, специальный интерес к языку зарождается в жреческой среде в связи с магической интерпретацией речи. Магический взгляд на имя как на эквивалент именуемого находит свое выражение в мифах о творцах — установителях имен (Ригведа X, 71, 82).<sup>1</sup> Ему соответствовала культовая практика называния богов по именам — вызывания их для «обмена» благами и/или ритуального воспроизведения связываемых с ними сезонных и других важных для общества природных явлений. Закономерным завершением этого этапа явилось обожествление речи: ср. гимн богине Речи (Ригведа X, 125), где она возводится в ранг «космического принципа», «всеобщей жизненной силы».<sup>2</sup>

Первоначальный анализ слов — звуковой — имел место уже при сложении и дальнейшем использовании тех же ведийских гимнов.

Исследования Ф. де Соссюра по индоевропейской поэтике обрисовали анаграмматический принцип построения древнейших поэтических произведений, заключающийся в том, что сочетания фонем ключевого слова закономерно повторяются на протяжении всего текста. В «Ригведе» ярким примером этого принципа служит упомянутый гимн Речи с повторением слогов *va*, *vā* (а также сочетаний *ak*, *ac* в начале гимна). Это составные части не названного прямо имени богини — *Vāc*<sup>3</sup> (именительный падеж *vāk*, «конец основной ступени *vac* 'говорить'»).

<sup>12</sup> S o l a - S o l e J.-M. Sur les parties du discours en Phénicien. — BiOr, 1957, vol. 14, № 2; Ш и ф м а н И. Ш. Финикийский язык, с. 19—20.

<sup>1</sup> Богатый и во многом оригинальный материал по «Ригведе» см. в кн.: Ригведа. Избранные гимны. Пер., коммент. и вступительная статья Т. Я. Елизаренковой. М., 1972.

<sup>2</sup> Там же, с. 396.

<sup>3</sup> Там же, с. 397. Анаграмматичность этого гимна не была замечена Соссюром. Раскрытие ее принадлежит В. Н. Топорову. Подробности см.: С о с с ю р Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 646—648 (коммент. В. В. Иванова).

Этот принцип, а также *figura etymologica* и другие сближения однокорневых и близких по звучанию слов — излюбленный прием древнеиндийской поэзии — создавали привычку также к морфологическому анализу (первоначально весьма случайному и приближительному).<sup>4</sup>

Вышеизложенное относится к реконструируемому по характеру древнейших индоарийских текстов и свидетельствам других древних идеологических памятников «творческому» периоду ведийской культуры, соответствующему доклассовому обществу и частично протекавшему еще вне Индии (охватывает приблизительно II тыс. до н. э.).

Следующая ступень осознания различных языковых явлений связана с составлением обширных ритуальных и мифологических трактатов — брахман (*brāhmaṇa* ‘жреческая книга’), содержащих общие программы действий жрецов при важных обрядах с толкованием сопровождающих их ведийских стихов и объяснением целей и смысла ритуала.

Эти учебники-комментарии составлены на языке, существенно отличающемся от языка ведийских гимнов (за исключением гимнов, наиболее поздно обработанных и включенных в канон). Как можно заключить из заметного упрощения грамматического строя, и особенно из резкого изменения словаря, связанного со сменой культуры, язык ведийских гимнов был в этот период уже мало понятен жреческому сословию и требовал специального изучения. Следует предположить для этого времени протопраkritско-поздневедийское двуязычие: традиция устной передачи культовых текстов и общения на «священном» языке внутри жреческих групп сохраняла прежде всего основы фонетического строя, затем значительную часть морфологического аппарата, служивших как бы «одеждой» для нового языка среднеиндоарийского типа, на котором приходилось разговаривать вне общества коллег.

Первые термины, относящиеся к изучаемому языку культа, были выработаны в области стихосложения: *pada* ‘поступь’, ‘шаг’ — часть стиха между паузами (треть или четверть стиха-строфы для главных ведийских размеров), *akṣara* ‘слог’. Позднее они перешли в языковедческую терминологию — первое с изменением значения: ‘слово’, ‘грамматически оформленное слово’. Затем в брахманах и примыкающих к ним упанишадах (*upaniṣad* ‘подседание ученика к наставнику’, т. е. эзотерическое учение)

---

<sup>4</sup> В статье Палсуле (Palsule G. V. A survey of the pre-Pāṇinian grammatical thought in the matter of the verbal root. — *Indian Linguistics*, 1957, vol. 18, pt. 1—2, p. 116—139) приведены многочисленные примеры объяснения имен через глаголы в ведах и брахманах, показывающие, что сознательное этимологизирование издавна основывалось на абстрагированном глагольном корне (хотя представление глагола в виде корня слабой степени появляется позже, возможно, у «профессиональных» грамматистов). Этому безусловно способствовала морфологическая прозрачность древнего индоарийского языка.

появляется понятие моры (*mātrā*), звука-фонемы или слогофонемы (*akṣara*), ударения-тона (*svara*) и др.

Сложившееся в жреческой среде убеждение в магической силе культового слова перерастало в привычный взгляд на него как на некую самоценную сущность, что влекло за собой ослабление внимания к семантической стороне текстов, которая при устной передаче и так страдает больше, чем формальная сторона. В противовес этому существовала другая тенденция — стремление осмыслить каждое слово (как и остальные элементы ритуала), везде отыскать символ и т. п. Она отчетливо проявляется в настойчивом повторении формулы, сопровождающей объяснения в брахманах: «тот, кто это знает (*ya evaṁ veda*), получит плод» соответствующих действий (в том числе и речевых).<sup>5</sup> Отметим, что в дальнейшем развитии гуманитарных дисциплин в древней и средневековой Индии явственно прослеживается борьба между «прагматиками-автоматистами» и «осмыслителями».

Одним из первых образцов собственно языковедческих опытов явились глоссы к вышедшим из употребления словам «Ригведы» в «Айтарейя-брахмане». При этом нередко в «переводе» даются слова того же корня со знакомыми, не омертвившими суффиксами (например, *caratha* — *caraṇa* имена действия от глагола *carati* 'пасется', 'ходит'). В отдельных случаях имена этимологизировались с объяснением причины наименования. Так, слово *iṣṭi* 'жертвоприношение' (имя действия, объекта и т. п., корень *yaj* 'приносить жертву') толкуется с помощью истории побега жертвы и поисков ее богами<sup>6</sup> (т. е. имя выводится из другого корня: *iṣ*; *iṣṭi* 'ищет', 'желает').

Здесь, а также в более поздних брахманах и дальнейшей экзегетической литературе язык вед противопоставлялся «обиходному» языку жречества как «речь богов» (*devānām gīr-*, *d. vāc-* и т. д.) «языку людей» или просто «разговорному языку» (*bhāṣā*, глагол *bhāṣate* 'говорит, разговаривает'), подобно тому как в средние века и в новое время санскрит — эпический, классический — новоиндоарийским языкам (обозначаемым тем же термином — *bhāṣā*, *bhākhā*).

Следующей ступенью изучения и толкования вед явилось создание специальной дисциплины нирукты (*nirukta*, условный перевод 'этимология', первоначально: 'называние имени [бога]', субстантивированное причастие к глаголу *nir-ucyate* 'высказывается', т. е. поиски языковых признаков отнесения того или иного текста к определенному божеству для правильного ритуального использования).

Параллельно семантико-этимологическому анализу, а возможно, и до него в качестве подготовительной работы составлялись

<sup>5</sup> Yaska's *Nirukta* samt den *Nighantavas*. Hrsg. und erläutert v. R. Roth. Göttingen, 1852, S. XXXV.

<sup>6</sup> Palsule G. V. A survey of the pre-Pāṇinian grammatical thought, p. 118.

списки важных для толкования гимнов «Ригведы» слов, группируемых в ассоциативные ряды (*nighaṇṭu* 'низка', 'связка').<sup>7</sup> Эти списки можно считать началом лексикографической работы в Индии, расцвет которой относится к средним векам.

Самые ранние дошедшие до нас нигханту приписываются Яске (*Yāska*), автору сохранившейся нирукты. Этот труд состоит из пяти разделов. В первом приводятся синонимические ряды имен стихий (они же боги), списки важнейших связанных с богами предметов: орудий и других атрибутов, пространственных понятий, определяющих функции божеств, и т. п., предметов жертвоприношения. Здесь вырисовывается первоначальная классификация предметов по отношению к трем частям тогдашней модели мира: земля, пространство между небом и землей, небо. Так, первый ряд составляет 21 синоним слова «земля», второй — 15 обозначений золота (одно из «богатств» земли). Далее следуют в одном ряду из 16 слов наименования как самого надземного пространства («эфир» и т. п.), так и надземных вод, «путей» (богов). Наконец, даются синонимы для «неба» (в том числе «твердь»). Интересен список из 75 имен, принадлежащих якобы богине Речи: в дошедшей до нас редакции «Ригведы» большинство из них к ней не относится. Примечательно отнесение к категории «воды» (100 слов) не только важнейших жидкостей (мед, молоко, вино и т. п.), но и, по-видимому, всего «текучего», изменчивого. Так, сюда включены «успех», «слава» (*yaśas*), а также «прошедшее» (*bhūtam*), «существование», «бывание» (*bhuvanam*) и «будущее» (*bhaviṣyat*). Ср. рассуждение о времени у астрономов-астрологов и у грамматистов в связи с изучением глагола и т. п.: признак, мера времени — изменение; а также прочно утвердившийся к эпохе Яски термин «глагол» — *ākhyāta* 'увиденный' или 'рассказанный', т. е. «исторический», «событийный» (возможно, правда, и другое толкование).

Второй раздел состоит главным образом из глаголов и глагольных имен: физической и умственной деятельности, еды, эмоций, «движения» и т. д. (среди других, например, *aniti* 'дышит', *mināti* 'умалает', 'вредит'). Глаголы приводятся в большинстве случаев в форме третьего (индийского «первого») лица единственного числа. Эта традиция сохраняется до настоящего времени наряду с более поздней — обозначения глагола через его корень (*dhātu* 'вещество', 'субстанция').

Третий раздел содержит менее систематизированные списки имен существительных и прилагательных, часто встречающихся в описаниях богов и их функций: размеры, цвет, красота, добрые дела, мудрость; сокрытие и воровство, обнаружение и т. п. Перечисляются названия действий, связанных с призыванием и восхва-

<sup>7</sup> Примечательно, что *nighaṇṭu* — слово типично среднеиндоарийского фонетического облика: *nir-grath/granth* → *ni-ghanṭ-*. Как термин, обозначающий словарь, оно отмечено значительно позднее предполагаемого времени создания нирукты. Возможно, ряды трудных слов для заучивания первоначально не имели специального названия.

лением божеств, просьбами к ним. Здесь есть также список первичных односложных наречий. Особое внимание к таким, казалось бы, простым строевым словам лишний раз подчеркивает, как велико было расстояние между воссоздаваемым по древним образцам литературным языком жречества и народно-разговорными языками масс.

Списки четвертого раздела пока не позволяют обнаружить какой-либо руководящий принцип. В пятом разделе содержатся имена и отдельные атрибуты богов, названия некоторых принадлежностей культа.

В то время как нигханту продолжали составляться и в средние века, «Нирукта» Яски — единственный значительный труд, специально посвященный, условно говоря, этимологии. Невозможно с уверенностью сказать, имел ли Яска прямых предшественников в этом жанре, поскольку его ссылка на каких-то найруктов (*nai-rukta* 'относящийся к нирукте', 'специалист по нирукте', ср. *vaiyākaraṇa* 'грамматист') может относиться и к авторам отдельных семантических разысканий, содержащихся в брахманах, араньяках или упанишадах — «божественном откровении», при цитировании которого не было принято называть (пусть даже известных традиции) имен составителей, ср. обычную формулу ссылки *iti brāhmaṇam* 'так [гласят] брахманы'.

Общее введение Яски содержит краткое объяснение (главным образом путем иллюстраций) основных грамматических понятий. Так, он приводит грамматическую классификацию слов (четыре класса: 1) имя; 2) глагол; 3) префикс-предлог; 4) союзы и частицы). Словообразование понимается здесь еще весьма расплывчато. Слово *dhātu* означает еще не 'корень', а нечто неопределенное исходное, из чего получаются нигамы (*nigama* 'вхождение', 'ввод') — своего рода «мотивирующие слова». При этом ни основы, ни суффикса Яска не ищет, хотя теоретически мог их и знать: в поздней ведийской литературе, относящейся приблизительно к его эпохе (середине I тыс. до н. э.), соответствующие термины встречаются. Для иллюстрации он приводит анализ этнонима *kāmbojāḥ* 'камбоджи' как *kambala-bhojāḥ* 'богатые одеялами', 'потребители одеял' (шерстяные одеяла-плащи характерны для горцев). Одна из «этимологий» слова *puruṣa* 'мужчина', 'человек' — *puri-sayaḥ* 'обитающий во граде' (известное толкование упанишад, называвших Пурушу — высшее «Я» — «пребывающим в теле»), другая связана с глаголом «наполнять» (корень *pṛ-*) — приводится цитата: «Космический Пуруша наполняет все это» (т. е. вселенную).

Нередко Яска дает множество «этимонов» для одного и того же слова. Создается впечатление, что богатство реалистических и символических ассоциаций продолжает считаться достоинством такого рода исследований, несмотря на все призывы автора к строгому методу. В отличие от древнегреческих ученых он не признает необъяснимого появления, выпадения и замены звуков, но фактически анализирует слова на том же уровне.



Яске известно понятие падежа: он употребляет сохранившийся до нашего времени термин *vibhakti* (букв.: 'разбиение') и приводит семичленную парадигму имени «Индра» в виде соответствующих цитат из «Ригведы» в том же порядке, в каком падежи нумеруются во всей собственно грамматической традиции (в Каушитаки-брахмане дается парадигма имени «Агни» из шести форм: без примеров на аблатив и датив, но с вокативом, отсутствующим у Яски и у грамматистов, которые рассматривают *sambodhana* 'обращение' несколько обособленно). Как отмечают многие исследователи, осознание системы склонения ранее других частей грамматики произошло благодаря обычаю повторения имени бога в его различных формах для более успешного действия обряда. Множественное число в парадигму не вошло, однако Яска упоминает не только его, но и двойственное число, о котором до него не говорилось. Глагольная система не нашла у Яски сколько-нибудь подробного освещения, хотя в содержательном аспекте (понятие «действия» и «состояния» или «становления» — *bhāva*, а также грамматического времени, лица) здесь представлен результат богатой лингвофилософской традиции.

Ко времени Яски уже существовала специальная дисциплина *vyākaraṇa* 'грамматика' (букв. 'расчленение', 'анализ'). Об этом свидетельствует его предостережение: «...не обучать нирукте не усвоившего व्याкарану» (I, 15). Однако его собственная практика анализа говорит либо о слабой разработанности морфологии в грамматике его времени, либо, что более правдоподобно, об игнорировании ее достижений представителями другого «цеха». Недаром рядом Яска утверждает, что овладение наукой важно само по себе, в силу святости знания. Похоже на то, что, упоминая грамматику, он просто отдает должное сложившейся к его времени программе обучения брахмана. Фонетика у него не упоминается.

Установившаяся в окончательном виде брахманская традиция изучения вед включает в программу помимо самих собраний гимнов, жертвенных формул, заговоров и т. д. и примыкающих к ним богословских, «исторических» толкований шесть вспомогательных дисциплин — веданг (*vedāṅga* 'член вед' — имеются в виду, несомненно, конечности и другие активные органы, без которых корпус, тело беспомощно). Это 1) фонетика (*śikṣā* 'обучение'); 2) ритуал; 3) грамматика; 4) «этимология»; 5) метрика, стихосложение; 6) астрология-астрономия. Относительно времени сложения данного состава веданг невозможно судить с уверенностью, так как труды, считавшиеся лучшими, в древности и раннем средневековье вытесняли созданные предшественниками (хотя иногда приписывались им же — «прежним учителям»). Так, канонический краткий трактат по фонетике традиционно считается произведением Панини, по-видимому, благодаря престижу автора непревзойденного шедевра — грамматики. По способу изложения этот учебник не имеет ничего общего с методом Панини. Единственная общепризнанная «этимология» — «Нирукта» Яски, близкая по времени

к грамматике, но основывающаяся, как мы видели, на ранних методах анализа и придерживающаяся «нарративной» подачи материала. Трактат же по метрике — явно весьма позднего происхождения, составлен по средневековым образцам.

Состояние лингвистических знаний до середины I тыс. до н. э. частично отражается в специфических пособиях для чтения вед, созданных соответствующими каждой веде брахманскими школами — «ветвями». Эти пособия — пратишакхьи (*prātisākhya* абстрактное существительное к наречию *prātisākham* 'для каждой ветви'). Хотя в современном своем виде они зафиксированы также около середины I тыс. и позже, специфика трактуемого предмета (соотношение сплошного, слитного чтения ведийских текстов с произношением составляющих его отдельных слов) и традиционная относительная обособленность жреческих школ позволяют предположить весьма ограниченное использование авторами и переработчиками пособий достижений «чужой» дисциплины — собственно грамматики. Они опирались, скорее всего, на фрагменты грамматики, разработанные в их собственной традиции.

Пратишакхьи отражают высокий уровень развития фонетики, обусловленный насущнейшими нуждами практики возгласения сакральных текстов на архаичном языке. В этих школах была блестяще разработана классификация звуков речи по месту (*sthāna*) и способу образования (*prayatna* 'усилие'), на которую опирается все последующее языкознание.<sup>8</sup> Однако основная задача этих трактатов — комбинаторная фонетика — не получила столь строгого научного разрешения из-за ограниченности материала и, по-видимому, принципиальной антиисторичности в подходе к языку («язык богов» и древних пророков, по понятиям жрецов, не должен был подчиняться закономерностям, подобным тем, какие можно обнаружить в «мирской» речи). Так, составители пособий не пытались отделить исторические различия в строении слов от комбинаторных изменений их фонетического облика и допускали любые «вольности», объясняемые метрикой стиха. Знакомство с грамматическими категориями, например, рода и падежа, также почти не приводило к обобщениям морфологического и морфонологического характера.

Если у Яски имеется общее представление о существовании закономерностей словопроизводства и словоизменения (см., например, критику методов Шакатаяны в I,13, который «делил слова на случайные половинки», а также Каутсы — I,15, не видевшего никакого смысла в священных текстах: «Не вина столба, что слепой его не видит», — язвил Яска), то пратишакхьи, оперируя материалом «своей» веды, обычно сочиняли «правила» ad hoc типа

---

<sup>8</sup> Следует вспомнить, что индийский алфавит — единственный в мире, где порядок знаков не случаен, а основан на почти безупречной научной классификации фонем.

«такой-то гласный удлинится в таком-то окружении» (следует перечень конкретных кусков текста).<sup>9</sup>

Учение о четырех частях речи излагается Рик-пратишакхьей в случайном месте и не влечет за собой почти никаких выводов для основной задачи трактата, в то время как у Яски на нем основано рассуждение о производности большинства имен от «действий», необходимое для этимологического анализа.

### Грамматика Панини<sup>10</sup>

Создание приблизительно в V в. до н. э., Восьмикнижия (*Aṣṭādhyāyī*) Панини (*Pāṇini*), одного из самых полных и строгих описаний языка (включая и современные), во многом, по-видимому, до сих пор непревзойденного, представляется чудом даже на фоне интенсивной практической языковедческой и языкотворческой работы, а также философских размышлений над языком, отличавших брахманскую культуру.

Панини упоминает в своем труде десяток имен предшественников, большинство из которых встречается и у других авторов — у Яски, у составителей или редакторов пратишакхьев и т. п. Однако до нас не дошло свидетельств того, насколько полны и системны были труды Шакатаяны, Шаунаки и других ученых и — чаще всего — какие уровни или фрагменты языка в них разрабатывались. Большинство имен называется в связи с трактовкой отдельных фонетических явлений или общими взглядами на язык (например, вышеупомянутое рассуждение о первичности имени или глагола сопровождается ссылками на несколько авторитетов). Поэтому можно лишь гадать о том, в чем величайший грамматист древнего мира был оригинален и в чем он продолжает и завершает усилия своих учителей.

Труд Панини представляет собой детальное описание словоизменения и актуального, более или менее «грамматического» словообразования древнеиндоарийского языка на средней ступени его развития — послеведийской, т. е. уже санскрита (*saṃskṛta* 'обработанный', 'выделанный'), однако еще не классического санскрита поздней античности и средневековья. Грамматически он ближе всего к языку ранних памятников смрити (*smṛti* 'память', 'предание' в противоположность ведийскому 'откровению'). Морфологических и лексических различий здесь не больше, чем между разными функциональными стилями одного и того же развитого литературного языка.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> См., например: Rig-Veda Prātiśākhya. Hrsg. v. M. Müller. Leipzig, 1869, S. CXXXIV—CXXXVII.

<sup>10</sup> Состояние изучения трудов Панини и его школы, проблематика паниниведения наиболее полно и кратко отражены в обзорной работе: Renou L. Pāṇini. — In: Current trends in linguistics. Vol. 5. The Hague—Paris, 1969, p. 481—498.

<sup>11</sup> Liebig B. Panini. Leipzig, 1891, S. 36.

В то же время Панини указывает и особенности ведийского языка, называя его «чхандас» (*chandas* 'стихи'), иногда упоминая мантры (*mantra* 'молитва', 'заклинание').

С одной стороны, обращает на себя внимание тот факт, что Панини отмечает в основном наиболее заметные отличия ведийского языка от санскрита. С другой стороны, исследователи склонны считать неполноту грамматики в ведийской части следствием узости круга канонизированных текстов в эпоху Панини по сравнению с дошедшей до нас окончательной редакцией. Специальное внимание к ведийской стороне грамматики Панини проявляется лишь в последние годы. Делаются попытки на основе его указаний пересмотреть и уточнить переводы конкретных сомнительных мест «Ригведы». <sup>12</sup>

Строго синхронический характер описания языка не был результатом сознательного выбора Панини. В его время (и, возможно, значительно раньше) был распространен взгляд на слово как на существующее вечно, что и обусловило соответствующую трактовку языка и языковых процессов. <sup>13</sup>

С этим же обстоятельством связано принципиальное неразличение словоизменения и словообразования: словоизменение рассматривается школой Панини как замена (*ādeśa* 'предписание') одного слова другим. Смена окончания, как и любого аффикса, означает выбор нового слова — столь же неизменной отдельной сущности, как и первоначальная.

По сравнению с авторами пратишахьев и Яской Панини выступает как представитель совершенно другой традиции, отвечающей другим общественным запросам. Если первые учили правильной рецитации и интерпретации сакральных текстов, то Панини описывает и, по-видимому, во многом сам устанавливает нормы литературного языка для внедрения их в обиход «земных богов» — брахманов.

Синтаксис — наиболее незаметно ассимилируемая вторым языком сторона родного языка билингва. Естественно, что основной заботой было усвоение поверхностного слоя грамматики — морфологии. Синтаксис, начиная с «Ригведы», постепенно перестраи-

<sup>12</sup> B h a v e S. S. Pāṇini's rules and vedic interpretation. — Indian Linguistics, 1955, vol. 16, p. 237—248.

<sup>13</sup> S t a a l J. F. Sanskrit philosophy of language. — In: History of linguistic thought and contemporary linguistics. Ed. by H. Parret. New York, 1976, p. 106. На разных этапах развития древней и средневековой индийской культуры в разной среде «интеллигентных» слоев высших классов вырабатывались различные формы литературного языка — санскрита, отражавшего соответствующие ступени развития средне- и затем новоиндийских языков и изменяющиеся нормативные представления. Поскольку Панини ориентировался на литературную практику (и вместе с тем близкий к книжному язык обучения, культурного общения) послеведических ученых брахманов, современников или почти современников создателей поздних ведийских памятников, различия между двумя древнеиндоарийскими языками — ведийским и санскритом — вполне могли восприниматься знатоками всего лишь как жанрово-стилевые.

вается под влиянием субстрата (дравидского и др.), расширения функций языка культуры, затем и литературной моды.

Труд Панини построен таким образом, чтобы, отправляясь от смысла, выбрав соответствующие лексические морфемы (корень глагола или первичную основу имени) и диктуемую характером глагола или коммуникативной задачей конструкцию, проделав все предписываемые операции, получить на «выходе» фонетически правильное предложение.

Фонетику Панини не рассматривает: это предмет специальной дисциплины, которая предполагается усвоенной заранее. Отдельные фонетические замечания даются в корпусе грамматики — в I и VIII главах (их немногим больше десятка). Детальнейшим образом разработанная морфонология излагается в связи с соответствующими морфологическими правилами и с опорой на специальную морфологически значимую классификацию звуков, предпосланную основному корпусу труда и представленную в виде особым образом организованного списка длиной всего в 43 слога, называемого «Шива-сутры» (*sūtra* 'нить' — элементарное предложение стихотворного или прозаического трактата по традиционным предметам брахманской учености; часто так называется и весь текст).

Эти 14 «сутр бога Шивы» представляют группы фонем, помеченные сопровождающим каждую группу звуком, не входящим в нее при оперировании ею в морфологии. При этом каждая предыдущая группа может быть включена в следующую с удалением отделяющей ее «метки». Так, например, простые гласные *a, i, u, ṛ, ṝ* можно объединить с дифтонгами и образовать более общий класс гласных, который выступает далее, в грамматике, под кратчайшим обозначением *aC* (*a* — начальный член класса; *C* — «пустая» метка, стоящая после последнего члена — дифтонга *au*), заменяющим перечисление или словесное определение. Одни такие объединения представляют широкие классы фонем, обладающих одинаковыми функциями или свойствами при построении морфем и их цепочек, другие участвуют в специфических, редких чередованиях основ или в сандхи на стыках морфем.<sup>14</sup>

Описание морфологической системы уникального по богатству форм флективного языка составляет около четырех тысяч сутр, причем сами сутры редко превышают по длине два-три средних слова, многие же состоят из двух-трех слогов.

Такая сжатость изложения достигнута, с одной стороны, в русле общего стремления к краткости предназначенного для заучивания текста в условиях преимущественно устной передачи культурных традиций, с другой — это результат разработки специальных технических приемов, каких не знал ни один научный труд древности.

---

<sup>14</sup> Способ представления морфонологических классов и другие приемы описания довольно подробно показаны в кн.: Misra V. N. The descriptive technique of Pāṇini. The Hague—Paris, 1966.

К общим чертам научного стиля можно отнести обилие именных и других безглагольных предложений, трансформацию словосочетаний в «сложные слова» (словосложение как синтаксический прием находит свое высшее проявление в средневековом классическом санскрите), тенденцию к специальному употреблению падежей.

Существенная экономия достигается путем распространения предложений однородными членами (при этом Панини несколько изменяет употребление присоединительной частицы *sa* и придает новую функцию частице *vā* 'или'). Учитывая относительную самостоятельность сутр, все это правильнее рассматривать как присоединение неполных предложений. Нередко такое подразумеваемое повторение сутр или их частей в последующих сутрах (*anuvṛtti* 'следование') охватывает значительные участки текста грамматики.

У Панини мы видим уникальную систему метаязыкового употребления падежных форм существительных: сегмент языка-объекта (или его абстрактная репрезентация того или иного уровня) с окончанием генитива означает, что в данной операции он исходный, «заменяемый»; номинатив означает «заменяющее»; локативом оформляется последующий объект в цепочке и аблативом — предшествующий. Этим из текста исключается не только глагол, но и наречия, предлоги. Отдельные случаи подобного рода встречаются в близкой к эпохе Панини литературе, например в «Рик-праतिшахье», номинатив+аккузатив выражает переход предмета в другое состояние, в другое качество,<sup>15</sup> однако о цельной системе нигде нет речи.

Наиболее выдающейся особенностью труда Панини является система звуковых (буквенных) маркеров и связанный с ней порядок предписываемых операций. Если даже грамматика Панини — коллективный труд (что вполне вероятно, хотя она и выглядит весьма однородной и методически выдержанной), то и тогда читателя не может не поразить колоссальная работа, которую предполагает создание сложнейшей системы обозначений для различного рода языковых объектов, конструкторов и операторов.

«Приставные» звуки-буквы — анубандхи (*anubandha* 'привязка', термин перенесен, как полагают, из ритуала: *anubandhya paśu* означало 'жертвенное животное'<sup>16</sup>) эпизодически встречаются в лингвистических пассажах других произведений той же эпохи, однако там они применяются только для выделения «цитируемого» звука или комплекса звуков, которые иначе исказились или потерялись бы в результате сандхи. Например, выражение «предлог *ā*» переводится: *opasargaḥ*, что звучит близко к *aupa-sargaḥ* 'относящийся к предлогу'. Если же сказать *ādupasargaḥ*, то ясно, что речь идет об *ā*, так как предлога *\*āt* не существует,

<sup>15</sup> Rig-Veda Pratiśākhya, p. 21.

<sup>16</sup> Staal J. F. Sanskrit philosophy of language, p. 107.

Интересно, что такого рода вспомогательным звуком выступает обычно именно *t*, и у Панини им же образовано общее обозначение анубандхи — *IT*.<sup>17</sup> По-видимому, образцом здесь послужил сам язык-объект: *t* — элемент множества местоимений, частиц, аффиксов, а главное — это чисто конструктивный «морфоид», служащий для сохранения идентичности корневых морфем, оканчивающихся на *i*, *u*, *ṛ*, например, *pāra-kṛ-t* 'злодей', *vi-smi-t-ya* 'удивившись'.

Анубандхи присоединяются к индивидуальным морфемам, цепочкам морфем, к анубандхам, заменяющим маркируемые ими объекты. Например, *Kta* — суффикс причастия совершенного *-ta/-na-*; *KtavatU* — сложный суффикс специального активного причастия, созданного на базе предыдущего; *tiN̄* — личное окончание глагола (*-ti* — первый член парадигмы спряжения — окончание 3-го л. ед. ч. актива презенса индикатива; *N̄* — анубандха последнего члена, 1-е л. мн. ч. медио-пассива кондиционалиса); *ṬIT* — все частные модальные и временные парадигмы, условное название которых оканчивается на *Ṭ*.

Примером системы условных символических обозначений лучше всего может служить как раз вышеупомянутый набор.

<i>LAṬ</i> — настоящее время	<i>LAN̄</i> — имперфект
<i>LIT</i> — перфект	<i>LIN̄</i> — опатив и прекатив
<i>LUT</i> — описательное будущее	<i>LUN̄</i> — аорист
<i>LṚṬ</i> — будущее время	<i>LṚN̄</i> — кондиционалис
<i>LEṬ</i> — конъюнктив	
<i>LOT</i> — императив	

Начальной буквой можно назвать при необходимости всю совокупность личных форм, например: (III 4.69). *LAḥ karmāṇi sa bhāve cākarmakebhyaḥ* 'Личная форма [переходного] глагола выступает также в объектной, непереходного и в нейтральной конструкции (букв.: глагольное окончание после переходных корней указывает также на объект, непереходных — и на состояние)' — имеется в виду согласование «переходного» глагола в пассиве с названием «объекта» в первом случае и нейтральная, абсолютная форма 3-го л. ед. ч. — во втором, например: *gamyate grāmo Devadattena*; *āsyaṭe Devadattena* букв. 'Девадаттой идется деревня'; 'Девадаттой садится'. Употребление конечной буквы названий шести первых частных парадигм: (III 4.79) *ṬITa ātmanepadānām* *Ṭer e* 'На месте *Ṭi* медиальных глаголов, замещающих *ṬIT*, *e*', т. е. если глагол должен быть в медиальной форме, то в «формулу» на место символа *ṬIT* подставляются соответствующие глагольные основы, а определенные окончания актива, часть кото-

<sup>17</sup> Как принято в паниниведении, анубандхи обозначаем макскулами.

рых имеет гласный *i*, заменяются окончаниями с *-e*, например: *karoti* — 'делает' — *kurute* 'делает для себя', 'делает свое'.

То же стремление к предельной экономии вызвало еще один поразительный для того времени прием описания: постулирование нулевых морфем. «Фиктивные» морфемы сначала включаются в состав абстрактного грамматического представления словоформы, затем, при переходе к фонемной репрезентации, предписывается их «изъятие» (*lopa* 'исчезновение'). Этот прием применяется, в частности, в порождении «корневых» отглагольных имен. Общее правило образования именной основы (*prātipadika*) от глагольного корня — присоединение к нему основообразующего суффикса. Количество бессуффиксальных основ относительно невелико, поэтому целесообразно принять единую структуру для всех имен: корень + суффикс(ы) + окончание. Например: (III 2.62) *bhajo Nvīh* 'за корнем *bhaj* следует суффикс *-vi-* (пересказ сутры упрощен),<sup>18</sup> и многие другие сутры этого раздела содержат «морфему» *-vi-*, которая далее (VI 1.66, 67) изымается из операций; результат в данном случае — реальная форма *-bhāk*.

Синтаксическое содержание «Восьмикнижия» значительно богаче, чем может показаться на поверхностный взгляд. В связи со словоизменением и словообразованием Панини постоянно говорит о глагольном управлении, об эквивалентности глагольных и именных словосочетаний; композиты, занимающие большое место в грамматике, рассматриваются как трансформы словосочетаний и предложений. В связи со значением и употреблением глагольных времен и наклонений сообщаются отдельные сведения о сложных предложениях.

Наиболее законченным и системным является учение Панини о синтаксических функциях существительных. Панини — единственный до середины XX в. лингвист, более или менее последовательно сопоставивший падежные формы (*vibhakti*), традиционно обозначаемые порядковыми номерами, и функциональные классы — караки (*kāraka* 'фактор', 'актант'), для которых разработаны содержательные термины: *kartā* 'деятель', *karma* 'дело', 'цель', 'объект', *karana* 'орудие', 'средство', *sampradāna* 'давание', *apādāna* 'отнимание', *adhikarana* 'местонахождение'. Панини показывает, что в различных трансформациях существительное, обозначающее один и тот же «фактор», в зависимости от глагольной формы, наличия и форм других имен может выступать в разных падежах и что в конечном счете каждое из них в соответствующей конструкции способно принять форму именительного падежа, как если бы оно называло производителя действия.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> См.: Allen W. Zero and Pāṇini. — Indian Linguistics, 1955, vol. 16, p. 106—113. Здесь же высказывается предположение, что сделанное в Индии около тысячи лет спустя величайшее открытие математиков — нуль (т. е. позиционная система обозначения чисел) подсказано изобретением Панини.

<sup>19</sup> Cardona G. Pāṇini's, *kārakas*. Agency, animation and identity. — J. Ind. Philos., 1974, vol. 2, N 3/4, p. 231—306. Anantha n a r a y.



Интересно сопоставить учение о караках с концепцией множественности причин в индийской логике: причина-производитель, причина-назначение, причина-материал, из которого изготовлен предмет, и т. п.

Исследователи отмечают существенную особенность синтаксического учения Панини: здесь не выделяется именительный падеж как универсальный падеж подлежащего, падеж именного сказуемого. В связи с этим не выделяется специально в качестве основной, исходной для других трансформаций и конструкций предложения с подлежащим в именительном падеже. Правда, здесь следует учесть, что именительный падеж все же не случайно стоит на первом месте в парадигме (*prathamā vibhakti* 'первый падеж'). В разных местах грамматики устанавливается в первую очередь как первичная связь между «дейтелем», представленным существительным в именительном падеже, и личными окончаниями глагола, который с ним согласуется. При перечислении конструкций предложения субъектная — с номинативным подлежащим — занимает первое место.

Отсутствие понятия «грамматического», т. е. по существу морфологического, подлежащего объясняется, по-видимому, объективными особенностями развития индоарийских языков в иноязычной среде: санскрит, как и современные ему среднеиндийские языки, калькировал (и контаминировал) эргативные и другие неноминативные конструкции, что вело к относительному «равноправью» прямого и косвенных падежей. Панини соответственно и подчеркивает инвариант — «глубинные» агенс, объект и т. д.

Именное сказуемое не рассматривалось как таковое ни в древней грамматике, ни в логике, оперирующей высказываниями как раз в форме именных предложений (например, первый член классического силлогизма: *parvato vahnimān* 'на горе есть огонь (букв. 'гора огнеирущая'). Должно быть, как и в логике, для Панини не была существенной разница между свернутой предикацией «белая корова» и развернутой «корова [есть] белая»: оба выражения — «определение и определяемое» (*viśeṣaṇa-viśeṣya*).

Композиция «Восьмикнижия» в целом подчинена задаче фиксации всех правил порождения единиц языка, причем явления, уникальные по форме или по значению, описываются не менее тщательно, чем общие, системные. Такое обилие информации требовало особого искусства ее подачи. Грамматика Панини отличается от других трактатов древности не только высочайшей степенью символизации (как система формул отличается от словесного контекста), но и специального порядка сутр. Во избежание малейшего повторения или многословия (точнее, многосложия) —

именно в школе Панини родился афоризм: «Ученый радуется экономии половины моря не меньше, чем рождению сына», т. е. высочайшему благу для приверженцев ведийской традиции, — правило помещается там, где есть возможность хотя бы минимального обобщения или другой экономии выражения. Вообще любое явление может быть описано в любом контексте. Так, например, излагаемые в начале первой книги общие правила чередования и морфологически значимого сочетания фонем перемежаются сутрами частного характера. После сутры 3: *iko guṇavṛddhi* 'звуки [класса] *iK* [замещаются] гуной и вриддхи' (т. е. *i* : *e* : *ai*, *u* : *o* : *au* и т. д.), в четвертой сутре говорится о слабой ступени гласных в одном из типов редупликации, в пятой — о ней же в образованиях, помеченных определенными анубандхами, причем анубандхи вводятся без определения. Далее, через одну сутру, снова идет общее правило.

Деление на главы или книги также не связано с границами тем. Глава (*adhyaḥ* букв.: 'изучение', 'освоение'), — очевидно, порция материала, рассчитанная на какой-то срок или ступень обучения (ср. членение «Ригведы» на восемь «восьмикнижий»). Правда, в грамматике есть более или менее выдержанные по теме разделы: например, третья глава в основном посвящена отглагольному словообразованию, четвертая и пятая — отыменному.

Кроме основного текста, грамматика Панини в дошедшем до нас виде содержит приложения — списки объединенных общими грамматическими свойствами групп слов. Главные из них — список глаголов, сгруппированных по десяти классам спряжения (*dhātupāṭha* 'указатель глагольных корней'), где анубандхи указывают ударение и другие особенности словообразования, и список тончайшим образом классифицированных имен (*gaṇapāṭha*; *gaṇa* 'множество', 'группа'). Эти списки по существу являются учебным словарем, снабженным важнейшей грамматической информацией, которая вводится в основной текст в нужных местах цитированием первого члена каждой группы, обозначающего всю ее целиком. Например, корень *bhū* представляет все глаголы с тематическим гласным *a*, постоянным ударением на корневом слоге, имеющие в определенной части парадигмы основную ступень способного к чередованию гласного. В настоящем виде эти списки являют высокую степень согласованности с грамматикой Панини и вполне могут считаться оформленными им самим. В совокупности с богатым лексическим материалом, содержащимся в самой грамматике, они создают достаточный словарный запас для общения брахманов (замечено, в частности, что в грамматике особенно хорошо представлен круг лексики, связанной с ритуалом).

Упомянутая разбросанность правил, требующая для большинства операций привлечения команд из нескольких, часто весьма отдаленных друг от друга мест текста, невозможность по чисто формальным признакам разграничить метаязыковое и обычное употребление падежей (не говоря уже об омонимии в самой падежной системе санскрита), отсутствие указаний на оконча-

ные цепочки анувритти (см. выше), на окончание действия «заключительных» сутр (*adhikāra* 'установочное правило', букв.: 'область управления', 'компетенция') — все это лишний раз свидетельствует о том, что передача текста сопровождалась подробнейшим толкованием и примерами.

Неоднократно высказывалось мнение, что порядок сутр Панини можно существенно приблизить к «естественному» логическому следованию материала. На вопрос, почему этого не сделал сам автор, можно высказать предположение, что, не являясь серьезной помехой для адепта с идеально тренированной памятью,<sup>20</sup> имплицитные перекрестные отсылки создавали некоторую дополнительную «мистификацию», дабы полностью гарантировать недоступность текста для «непосвященных» (древнеиндийская литература полна напоминаний о том, что ведам и наукам нельзя обучать «недостойных»).

За Панини единодушно признается одно из высочайших мест среди языковедов всех времен. Растет число исследований, находящихся в его труде соответствия новейшим достижениям структурной лингвистики и логики.<sup>21</sup> Встречаются утверждения, будто Панини не интересовало конкретное применение его труда и основное его внимание занимала теория. Начало этим взглядам положил еще Патанджали (см. ниже), однако их опровергают на каждом шагу сами сутры со списками конкретных лексем, с объяснениями идиоматических выражений и тончайших нюансов смысла и словоупотребления.

Гениальность Панини заключалась в создании и последовательном проведении остроумнейшей методики полного, непротиворечивого и экономного описания грамматического строя литературного языка (за исключением отдельных аспектов синтаксиса) для практического использования людьми конкретной социально-культурной принадлежности. То, что строго выдержанная практическая методика оказывается для нас кое в чем непревзойденной теорией, связано, по-видимому, с меньшей до последнего времени практичностью западной цивилизации в подходе к человековедческим дисциплинам.

## Грамматика после Панини

Большинство грамматистов последующих веков вплоть до нового времени были либо истолкователями труда Панини, либо его последователями, составлявшими учебники санскрита и близкородственных санскриту индоарийских языков.

<sup>20</sup> Методика преподавания в древней и средневековой Индии предусматривала четыре ступени овладения изучаемым предметом: 1) *śravaṇa* 'слушание'; 2) *dharana* 'удержание', т. е. запоминание наизусть; 3) *cintana* 'рассуждение'; 4) *bhāvana* 'постижение' или *nīdīdhyāsana* 'медитация'.

<sup>21</sup> Обширную библиографию по этим вопросам см.: Staal J. F. *Sanskrit philosophy of language*. — In: *Current trends in linguistics*. Vol. 5. The Hague—Paris, 1969, p. 499—527.

Многие авторы грамматических трудов известны лишь по именам: очевидно, интенсивно заучивались и переписывались наиболее популярные или канонизированные трактаты, остальные быстро погибали из-за недолговечности материала — пальмовых листьев на юге и бересты на севере. Играли свою роль климатические условия и общественные потрясения.

Среди первых трех упоминаемых в послепаниниевских трудах грамматистов был некий Вьяди (*Vyādi*), о котором говорят, что он составил обширное толкование «Восьмикнижия» под названием «Свод» (*saṅgraha* 'собрание').

Первые дошедшие до нас труды по грамматике — «Варттика» (*vārttika* 'дополнение к сутрам') Катьяяны (*Kātyāyana*) приблизительно III в. и «Махабхашья» (*mahābhāṣya* 'большое толкование') Патанджали (*Patañjali*) II—I вв. до н. э.<sup>22</sup> Непреходящее значение этих трудов состоит в разъяснении формул Панини и в иллюстрации их соответствующими примерами. Вместе с тем оба ученых, особенно Патанджали, сообщают много добавочных лексических и грамматических сведений, характеризующих изменившиеся нормы литературного языка.

Если Панини утверждал нормы языка переходного типа от ведийского к санскриту, опираясь, скорее всего, на литературную практику авторов ранних сутр, а также собирателей, редакторов и последних творцов ведийского канона и стремясь закрепить передаваемые из поколения в поколение в наиболее авторитетных жреческих родах навыки разговора на архаичном языке, то язык Патанджали уже вполне может быть назван собственно санскритом (о языковой ориентации Катьяяны определенно судить трудно из-за лаконичности варттик).

Труд Катьяяны сохранился в «Махабхашье» — подробном обсуждении разъяснений и критических замечаний Катьяяны к «Восьмикнижию» и одновременно комментарии к последнему. Катьяяна рассматривает менее трети сутр Панини, Патанджали — около половины.

Последующие грамматисты относят Катьяяну к школе Индры (Панини принадлежал к школе Шивы: этот бог якобы сообщал ему упомянутые морфонологические классы с анубандхами и тем самым сущность и принципы построения всей будущей грамма-

---

<sup>22</sup> Датировка древнеиндийских памятников, как правило, весьма условна. Чаще всего в них отсутствуют не только прямые, но и недвусмысленные косвенные хронологические данные. Так, наиболее осторожные ученые относят Панини к периоду с VII по II в. до н. э. Упоминание у Патанджали царей Чандрагупты Маурьи и Пушьямитры дает лишь нижнюю границу его творчества — II в. до н. э. Ср., однако, соображение Х. Шарфе (Scharfe H. Die Logik im Mahābhāṣya. Berlin, 1961, S. 14, Anm. 1) о возможности знакомства Патанджали с царем Капишкой и его покровительством буддизму — конец I—начало II в. н. э. Крайне малочисленны и биографические данные. Комментаторы сообщают место рождения Панини и имя его матери. О Патанджали существует легенда, что он был наполовину змеем.

тики). Имя Катъяяны связывается с несколькими крупными языковедческими трудами: Ваджасанейи пратишакхъей (к Ваджасанейи самхите=Белой Яджурведе), учебником пракритов (см. ниже) и др. Первый вполне мог быть создан через 2—3 столетия после Панини без заметных отступлений от жанра, поскольку даже хорошее знание «Восьмикнижия» не должно было проявиться слишком явно в столь специфическом пособии, если составитель не хотел нарушать священные традиции.

Катъяяна и Патанджали рассматривают главным образом паниниевские методы описания. Сомнения в полноте алгоритма Панини, точности и непротиворечивости команд, которые высказываются в «Вартике» и которые временами не в силах разрешить Катъяяна, Патанджали разрешает всеми доступными способами, вплоть до ссылок на непогрешимость учителя.

Среди сутр Панини интерпретационные, или метаправила, — парибхаша (*paribhāṣā* ‘общее правило,’ ‘термин’) занимают относительно небольшое место и не разрешают всех сомнений, которые могут возникнуть после разрыва цепочки устной передачи объяснений или вследствие забвения какой-то их части. Особенно много вопросов вызывало разграничение обозначений и цитаций, а также порядок применения операционных правил.

К одному объекту могут относиться взаимоисключающие правила, и нужно знать, на какой ступени какое из них применимо. В таких случаях в первую очередь привлекается сутра Панини I 4.2: *vipratishedhe paraṁ kāryam* ‘В [случае] противоречия выполнять [указанное] позднее’. Однако эта сутра имеет ограниченное применение, возможно, рассчитанное на раздел, определенный предшествующей сутрой (до середины II главы).<sup>23</sup> Каких-либо специальных указаний на этот счет в тексте нет. Поэтому Катъяяна и Патанджали ищут закономерности разрешения «конфликтных ситуаций». Патанджали сделал, в частности, очень тонкие наблюдения над языком описания, на основе известных в его время (а отчасти, возможно, впервые сформулированных им) логических законов выработал новые парибхашы. Например, он определил, что частное правило — «исключение» (*apavāda* ‘возражение’), ограничивающее применение общего правила (*utsarga* ‘высказывание’, ‘положение’), «не работает» в отношении последующего правила, дополняющего первое — общее.<sup>24</sup>

Разъяснения Катъяяны и Патанджали позволили последующим поколениям точнее понимать Панини и, может быть, впервые приобщили к «высокой» грамматике новые слои привилегированного класса, далекого от жреческой элиты. Позднее, в средние

<sup>23</sup> Scharfe H. Die Logik im Mahābhāṣya, S. 50, Anm. 3.

<sup>24</sup> Ibid., p. 49. В целом эта работа наглядно показывает степень развития логики в эпоху Патанджали. Логические закономерности взаимных отношений правил Панини исследуются в статье: Cardona G. Some principles of Pāṇini's grammar, — J. of Indian Philos., 1970, vol. 1, N 1, p. 40—63.

века, на них основывали свои комментарии все интерпретаторы Панини. Выдающаяся роль этих двух ученых подчеркивалась тем, что они были поставлены в один ряд с Панини: Панини, Катьяяна и Патанджали стали называться «Троичей мудрых» (*munitraya* 'три святых мудреца': *muni* первоначально означало 'святой молчальник').

Последние века до н. э. и первые н. э. характеризуются крупными общественными сдвигами, связанными с иноземными вторжениями, образованием множества новых государственных объединений и «санскритизацией» племен, народностей и религиозных общин, прежде стоявших в стороне от брахманской культуры или в оппозиции к ней (как, например, буддизм). Новый, более демократический контингент обучаемых требовал новых методов изложения материала. Вместе с тем многие тонкости грамматики Панини теряли былое значение, так как нормы санскрита постепенно становились более гибкими, отчасти сближаясь с разговорными и литературными нормами среднеиндоарийских языков.

Возникают новые грамматические школы. От буддийской санскритской традиции сохранилась грамматика «Катантра» (*Kātantra*) I в. н. э. У школы Панини она заимствовала принцип обозначения грамматических явлений искусственными терминами (сами термины не совпадают с паниниевскими), однако системы формул с анубандхами не разработала. Материал здесь излагается в тематическом порядке, напоминающем западную традицию.

Буддийский ученый Чандрагомин (*Candragomin*), или Чандра, в V в. н. э. составил «Граматику Чандры» (*Cāndra-vyākaraṇa*), снабженную авторским комментарием-вритти (*Cāndra-vṛtti*). В ней он попытался изложить содержание «Восьмикнижия», используя толкования Катьяяны—Патанджали, формулами Панини или близкими к ним, но более последовательно. Относительной краткости он достигает главным образом за счет сокращения объема грамматического и лексического материала и переноса части правил Панини в комментарий. Труд Чандры после значительного перерыва вновь привлек интерес ученых к грамматике Панини, не заменив ее по причине, с одной стороны, недостаточной полноты, с другой — недостаточной простоты и доступности.

Развитие литературы на среднеиндоарийских языках и появление классической санскритской драмы, где персонажи различных социальных слоев, кроме брахманов и кшатриев, должны были говорить на соответствующих пракритах (*prākṛta* 'природный', 'естественный' в отличие от санскрита — 'обработанного', 'выработанного' языка), подобно тому как в греческой драме употреблялись несколько диалектов, обусловили появление соответствующих пособий.

Основным описанием литературных пракритов явился труд Вараручи (*Vararuci*) «Освещение пракритов» (*Prākṛta-prakāśa*), который обычно относят к III—II вв. до н. э. Автора его принято отождествлять с Катьяяной — составителем пратишакхьи и ком-

ментатором Панини.<sup>25</sup> Эта грамматика состоит из правил порождения пракритских форм из соответствующих санскритских, которые заранее известны писателям. Первые девять глав посвящены описанию махараштри — стадияльно наиболее позднего и литературно развитого пракрита, остальные три главы отмечают основные особенности магадхи, пайшачи и шаурасени, причем формы пайшачи и магадхи предлагается выводить из форм шаурасени (действительно, по-видимому, имевшим общую с санскритом диалектную основу). Сутры Вараручи весьма лаконичны. Он употребляет терминологию Панини и правила старается строить по его образам. Однако отсутствие раздела типа «Сутр Шивы» вызывает необходимость перечислений фонем, а отсутствие маркеров для обозначения грамматических элементов — их воспроизведения или словесного описания. Из падежей металингвистически употребляется лишь генитив, да и то его можно понимать в общеязыковом смысле: «такой-то форме санскрита [соответствует] такая-то пракритская», например: (II 2) *kagacajatadapayavām prāyo lopah* '[для] k, g, c, j, t, d, p, y, v [интервокальных] обычна элизия', т. е. *gaja* 'слон' → *gaa*, *vāyu* 'ветер' → *vāu* и т. п.; (II 15) *po vah* 'р заменяется на v' — *cāra* 'лук' → *cāva* и т. д.; (XI 9) *asmadaḥ sau hake hage ahake* '[местоимение с основой] *asmad-* в именительном падеже заменяется [формами] *hake, hage, ahake*' (санскр. *aham* 'я').

Грамматика Вараручи осталась важным источником сведений о тех пракритах, литература на которых утрачена или почти не сохранилась (например, пайшачи сколько-нибудь известен лишь из грамматик). Его способ изложения (исключая терминологию) продолжает применяться в части работ по истории индоарийских языков. С точки зрения методов описания, грамматика интересна как образец учебника, приспособленного к конкретной, узкой цели — перекодированию сообщений с общеиндийского литературного языка на условный «диалект».<sup>26</sup>

В средневековой Индии грамматика развивалась в рамках традиций «Троицы» и Вараручи с добавлением нового материала — среднеиндоарийских языков средней и поздней ступеней развития.

<sup>25</sup> Сомнения в допустимости этого отождествления и в датировке грамматики вызывают два обстоятельства. Во-первых, пракритская литературная традиция знакома нам по памятникам не ранее II—III вв. н. э., классическая санскритская литература появляется в первые века н. э., а расцвет классической драмы с ее стилизованными точно по Вараручи пракритами падает на середину I тыс. н. э., так что неясно, на какие образцы могла опираться и какие цели преследовать грамматика, составленная до н. э. Во-вторых, Катьяяна, составитель пратишакхьи и автор «Варттики», вряд ли мог совместить столь разнородные традиции, как составление пособия к ведам и к «веде вед» — грамматике Панини — и описание языков, литература на которых носит светский, развлекательный или панегирический характер.

<sup>26</sup> Мысль об отражении в грамматике Вараручи исторического взгляда на язык (см.: Баранников А. П. Элементы сравнительно-исторического метода в индологической лингвистической традиции. — ВЯ, 1952, № 2, с. 51) представляется спорной.

Наиболее значительная после труда Вараручи пракритская грамматика принадлежит Хемачандре (*Hemacandra*) XI—XIII вв. Она входит как составная часть в его санскритскую грамматику «Сиддхакхемачандра» (*Siddhahemacandra*) и включает кроме пракритов образцы апабхрانشа (*apabhraṃśa* 'отпавший', 'испорченный') — наиболее позднего среднеиндоарийского языка. Хемачандра — один из крупнейших лексикографов, автор тематического синонимического санскритского словаря «Абхидханасинтамани» (*Abhidhānacintāmaṇi* 'Сокровище лексиконов') и первого крупного списка имен, не возводимых к древнеиндийским, — деши (*deśi* 'относящийся к стране', 'местный'); о насыщенности санскритского словаря дравидской и другой иноязычной лексикой в ту эпоху не помышляли.

Традиция Катьяяны—Патанджали продолжается вплоть до нового времени.

Первый подробный комментарий к «Восьмикнижию» в порядке его сутр: «Кашика» (*Kāśikā* от *Kāśī* 'Бенарес', ср. также *prakāśa* 'свет', 'освещение') Джаядити (*Jayāditya*) и Ваманы (*Vāmana*) VII в. н. э. В нем отмечают влияние Чандры.<sup>27</sup> «Махабхашью» Патанджали комментировал лингвист-философ Бхартрихари (*Bhartṛhari*), живший в V или VI в. Среди множества комментаторов труда Патанджали и его продолжателей выделяется Нагоджи Бхатта (*Nāgojī Bhaṭṭa*). Его «Парибхашендусеekhара» (*Paribhāṣenduśekhara* 'Лунная диадема интерпретации') — наиболее авторитетное обобщение предшествующей традиции изучения паниниевского метаязыка и продолжение ее на более высоком логическом уровне.

Последняя ступень развития индийской грамматики — создание учебников, препарирующих и адаптирующих труд Панини для широкого круга учащихся. Сутры Панини располагаются по темам и популярно объясняются с помощью примеров. Лучшим из таких пособий считается «Сиддханта-каууди» (*Siddhānta-kāumudī* 'Лунный свет учения') Бхаттоджи Дикшита (*Bhaṭṭojī Dīkṣit*) XVII в. В отличие от предыдущих учебников он охватывает весь материал Панини.<sup>28</sup> После распространения этой книги путем выборок из нее составлялись многочисленные облегченные учебники, которые до сих пор используются для преподавания санскрита в некоторых школах и колледжах.

Особняком стоит грамматика «Мугдхабодха» (*Mugdhabodha* 'Просвещение профанов') Вопадевы (*Vopadeva*) XIII в. Материал здесь расположен почти в той последовательности и распределен по тем же категориям, что в западных грамматиках нового времени. Последние главы специально посвящены синтаксису. Технические термины в значительной части строятся по принципу сокра-

<sup>27</sup> M i s r a V. N. The descriptive technique of Pāṇini, p. 27 (со ссылкой на Б. Либиха и др.).

<sup>28</sup> A n a n t h a n a r a y a n a H. S. Four lectures on Pāṇini's Aṣṭa-dhyāyī, Annamalainagar, 1976, p. 17.



щения общепринятых словесных наименований, например: *ḍva* (из *dvivacana* 'двойственное число'), *pa* (из *parasmaipada* 'активный залог').<sup>29</sup> Некоторые анубандхи совпадают с паниниевскими, однако количество анубандх в целом значительно меньше и функции их упрощены. Наконец, существенно сокращен и сам грамматический материал: Вopaдева не рассматривает многих частных правил и несистемных форм. Эти особенности «Мугдхабодхи» сделали ее популярной среди европейских лингвистов первой половины XIX в.<sup>30</sup>

### Лингвофилософские взгляды древнеиндийских грамматистов

Концепция языка как высшего божества неоднократно отражается уже в «Ригведе»; один из примеров представляет гимн, где говорится: *mahādevo martyām ā viveśa* (IV 58.3) 'великий бог спустился в мир смертных'. Дальнейшая эволюция религиозно-философских воззрений приводит к отождествлению в поздневедийской литературе Речи с Брахманом (*brahman* ср. рода) — абсолют, мировой духовной субстанцией.

Практически все системы индийской философии, как ортодоксальные (признающие абсолютный авторитет вед как откровения), так и неортодоксальные (джайнизм, буддизм), на том или ином этапе своего развития обращались к анализу языка и его способности «схватить» (*grah-*) и выразить реальность, однако только в мимамсе и «грамматической школе» (*vaiyākaraṇa*) язык становится главным объектом исследования.

Здесь мы рассмотрим лишь некоторые основные положения грамматической школы, как они излагаются крупнейшим ее теоретиком Бхартрихари (V—VI вв. н. э.) в его знаменитом сочинении «Вакьяпадая» (*vākya-padīya* '[учение о] слове и предложении'), главным образом в первой части. Несмотря на некоторое буддийское влияние, его философия языка носит в общем вполне брахманистский характер. В отличие от своих предшественников он кладет язык в основу цельной, последовательной системы идеалистического монизма типа веданты.

Согласно Бхартрихари, Брахман, т. е. высшая реальность, не имеющая начала и конца, есть Речь или Слово (*śabdātattva* букв.: 'сущность слова' или, скорее, 'слово-сущность'), из которого разветвляется вся вселенная с ее бесконечным разнообразием предметов и явлений. Брахман есть Единое, которое реализует себя

<sup>29</sup> B ö h t l i n g k O. Vorwort. — In: Vopadeva's Mugdhabodha. Hrsg. und erklärt v. Otto Böhtlingk. St.-Petersburg, 1847, S. VII—VIII.

<sup>30</sup> Ibid., p. IV. Здесь подчеркивается, что Ф. Бопп в своих санскритских штудиях использовал английские грамматики санскрита, основанные на «Мугдхабодхе».

в различных эмпирических формах. Так, в начале «Вакьяпади» говорится, что Брахман проявляет себя как субъект (*bhoktṛ* 'вкушающий', 'воспринимающий'), объект (*bhogyā*, или *bhoktavyā*, 'вкушаемое', 'подлежащее восприятию') и сам опыт (*bhoga*), иными словами, все многообразие, которое возникает из единого, может быть подведено под эти категории (I 4). В другой связи вселенная как эманация Брахмана описывается посредством двух категорий: *mūrti-vivarta* — развертывание статического аспекта вселенной, представленного всем многообразием объектов, существующих в пространстве, и *kriyā-vivarta* — развертывание динамического аспекта, представляющего всю совокупность действий и процессов, происходящих во времени,<sup>31</sup> что имплицитно соответствует двум главным частям речи — имени и глаголу. И наконец, вселенная описывается как *vācya* 'долженствующее быть высказанным', т. е. все, что может быть выражено словами, и *vācaka* 'высказывающее' — слова, неразрывно связанные со значением всего «выразимого».<sup>32</sup>

Естественно, что Бхартрихари как грамматиста более всего интересовали категории «выражающего» и «выражаемого». Он подчеркивает, что Брахман порождает все предметы и явления в ф о р м е с л о в а и что мысль и все знание с самого начала тесно переплетены со словом (I 120—126). Вселенная состоит из бесконечного множества явлений, развертывающихся в пространстве и времени, и из слов, выражающих эти явления. Универсалии (*jāti* 'род') всех предметов и явлений и выражающие их слова уже существуют в вечном Слове-сущности как потенции (*śakti-rūpa*). Но до тех пор, пока универсалии существуют в этом состоянии, они не могут стать объектом индивидуального сознания и найти свое обыденное применение (*loka-vyavahāra*). Поэтому единичное (*vyakti*), которое их обнаруживает и которое также присутствует в Слове-сущности, должно как бы выйти из него. И когда это происходит, универсалии бесконечного множества единичных вещей и имманентные им слова как бы разделяются и образуют отношение выражаемого и выражающего. Итак, Слово-сущность — конечный источник вселенной, состоящей из выражаемого и выражающего.<sup>33</sup>

В комментарии к «Вакьяпади» (I 110) то же излагается в несколько ином повороте. Тончайшее «внутреннее слово» (*sūkṣmā vāk*) проявляет себя как сознание (разум) и познает объект, который является его манифестацией и выражается посредством «внешнего слова» (*pada*), также его манифестации. Это — то же самое

<sup>31</sup> *Vākya-padīya of Bhartṛhari with the Commentary of Helārāja. Kāṇḍa III*, pt. 1. Ed. by K. A. Subramaniya Iyer (Deccan College Monograph Series 21). Poona, 1963, p. 117.

<sup>32</sup> *Vākya-padīya, Kāṇḍa I*. Ed. by Charudeva Shastri. Lahore, 1934, p. 180—181. Эти термины можно интерпретировать и как «обозначающее» и «обозначаемое».

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 181.

Слово-сущность; оно как бы выводит вовне (*vyaktarūpeṇa*) объект, который находился внутри него в потенциальной форме. Так разворачивается вселенная, состоящая из бесконечного множества субъектов опыта (включая говорящих), объектов опыта и самого опыта.

Особо настаивая на теснейшем переплетении сознания со словом, Бхартрихари резко расходится с приверженцами школы ньяя, полагавшими, что существует познание «чистого» объекта, совершенно лишенное «примеси» слов, как, например, это бывает у людей, которым неизвестно условное соглашение (*saṃketa*) относительно слова и его значения. Но даже и в тех случаях, когда это соглашение известно, в процессе восприятия, с их точки зрения, сначала имеет место познание «чистого» объекта, и именно оно служит причиной пробуждения остаточных следов слова (*śabdabhāvanā*) и его последующего «вспоминания».

Под «словом» (*śabda*) Бхартрихари не имеет в виду реальное, «проявленное» слово естественного языка, которое произносится говорящим и воспринимается слушающим. Он считает, что нераздельная связь сознания со словом наблюдается даже у новорожденных, якобы способных к пониманию и сознательному усилию. По Бхартрихари, младенец рождается, обладая «семенами» (*bīja*) знания и умения. Они присутствуют в ребенке как остаточные следы его понимания языка (*śabdabhāvanā*) в предыдущем существовании (I 113—114). Когда благодаря действию *adr̥ṣṭa* 'невидимого' — энергии, порожденной его поступками в прежнем существовании, в данной жизни пробуждаются указанные «семена», он понимает ситуацию и знает, что делать, как и взрослые люди. Комментарий говорит, что ребенок действует благодаря *pratibhā* — интуитивной «вспышке», озаряющей значение ситуации, и что при отсутствии остаточного понимания языка такое постижение не было бы возможно. При этом подчеркивается, что никакое обучение не может передать ребенку способности — *pratibhā*, оно может лишь пробудить ее (I 114).

Согласно Бхартрихари, на неразрывной связи знания со словом основывается вся человеческая деятельность. Все общение, коммуникация идей зависят от этого переплетения знания и слова, а без правильной и успешной передачи мыслей невозможно развитие науки, искусств и ремесел.<sup>34</sup>

В этой связи естественно возникает вопрос, различаются ли между собой сознание и слово, или же они тождественны. На основании «Вакьяпади» и комментаторской литературы к ней представляется, что среди последователей грамматической школы были распространены обе точки зрения. Сторонники первой считали, что не существует никакого сознания, которое не имело бы вербального выражения. Для них сознание и слово не тождественны, хотя и не существуют друг без друга. Они аргументируют, в ча-

<sup>34</sup> Ibid., p. 192.

стности, тем, что недифференцированное «внутреннее» слово логически предшествует индивидуальному сознанию, актуализируясь в каждой новой интуитивной «вспышке» и наделяя его определенной структурой. Согласно другой точке зрения, сознание — это то, что сущностно имманентно слову, и слово, таким образом, не только является структурой сознания, оно есть само сознание (*saṁjñā*). Бхартрихари отчетливо придерживался второй точки зрения, говоря, что, «если бы сознание выходило за пределы своей извечной вербальности (*vāg-rupatā* ‘речеобразность’), то не светил бы свет, ибо она есть причина различения [вещей]» (I 124).

Поскольку сознание и слово у Бхартрихари тождественны,<sup>35</sup> когда он утверждает, что Брахман есть Слово-сущность (*śabda-tattva*), то подразумевается, что эта сущность сверхментальна.

Какова же природа Речи или Слова, которые провозглашаются в «Вакьяпади» сущностью Брахмана, присутствующей во всех его манифестациях? Бхартрихари учит, что Слово до своей реализации в естественном языке проходит три стадии развития, которые традиционно соотносятся с тремя «скрытыми» шагами Речи в знаменитом стихе «Ригведы» (IV 164.45).

Первая стадия — «провидческая» (*paśyanti*) — абсолютно лишена какой-либо дифференциации или временной последовательности. Она лежит вне обычного употребления (*alaukike prayoge*), вне понятия грамматической правильности. На этой стадии речь неделима и вечна, она выступает как внутренний свет и «тонкое слово» (*sūksmā vāk*).

Вторая стадия Слова — «промежуточная» (*madhyamā*) — является чисто ментальной и невоспринимаемой другими. Она связана с дыханием (*prāṇa*) в его тончайшем аспекте и поэтому представляется как бы существующей во временной последовательности, хотя в действительности, как подчеркивает Бхартрихари, будучи единой с сознанием, она находится вне времени.

Третья стадия — *vaikhari* (‘выставленная’? — значение не вполне ясно) — представляет артикулируемую речь. На этой стадии активную роль играет дыхание, поэтому вайкхари имеет определенную последовательность и звуковую форму, реализуя себя через фонемы или слогофонемы (*varṇa*). Эта стадия представляет экстерииоризацию слова с помощью дыхания (*prāṇa*) и органов артикуляции (*kaṇa*). Здесь слова и их значения дифференцированы не только между собой, но и внутри себя (I 134).<sup>36</sup> Речь вайкхари может быть грамматически правильной и неправильной; она бесконечно многообразна (*aparimāṇabhedā*). В повседневной жизни люди имеют дело лишь с вайкхари, которая и выступает главным предметом грамматики как науки о правильном употреблении слов.

<sup>35</sup> Ibid., p. 193.

<sup>36</sup> См. также: S u b r a m a n i a I y e r K. A. Bhartṛhari. Poona, 1969, p. 66—67.

С точки зрения общей теории языка интерес у Бхартрихари представляет вторая, «промежуточная» ступень (и, разумеется, ее отношение с третьей). Тексты грамматической школы постоянно подчеркивают связь этой ступени или уровня с сознанием (*sañ-jñā*). Именно с ней отождествляется центральное понятие всей «грамматической» философии — спхота (*sphoṭa* — имя действия и т. д. к *sphuṭ-* 'лопаться', 'раскрываться', 'распускаться'), то, что обуславливает возможность языкового общения.

«Освобожденная от всех метафизических элементов, доктрина *sphoṭa*, выдвигаемая Бхартрихари, подчеркивает важность рассмотрения предложения (каковым является только полное высказывание) как неделимого языкового символа. Расчленение предложения на слова и их деление на классы глаголов, имен и т. д., а также выделение корней и суффиксов представляют лишь удобное средство для изучения языка и не включает никакой реальности в себе».<sup>37</sup>

Так как, по Бхартрихари, целостным смыслом обладает предложение, слова, вычленившись из него, получают обусловленные им значения (представители других школ учили, что значение предложения складывается из значений слов с приращением или без приращения смысла). Эти «непроявленные» (*avyakta*), нелинейные (*akrama* 'не [связанные с временной] последовательностью') ментальные слова, хоть и опосредованно, через предложение, также представляют какое-то (пусть частичное) спхота. Их проявления на уровне звучащей речи — фонетические и грамматические слова (*pada*).

Таким образом, спхота в общем смысле, по-видимому, синоним «глобального слова» (*śabda*), которое можно определить как состояние сознания, сообщаемое слушателю (или «наведенное» у него) с помощью звуков речи. Выделение «спхота предложения» (*vākya-sphoṭa*) и «спхота слова» (*pada-sphoṭa*) указывает на четкое осознание Бхартрихари важнейших речевых и языковых единиц. Вспомним, что единицы ментального уровня двусторонни, содержат «выражающее» и «выражаемое» или «обозначающее» и «обозначаемое» (*vācaka*, *vācya*). Различие между «словом» (*śabda*) и звуком (*dhvani*) является фундаментальным для древнеиндийской философии языка, и их отождествление, при котором комплекс звуков принимался за слово, всегда рассматривалось как категориальная ошибка. Передача значения является функцией слова, звук же только обнаруживает его.

Если спхота, соответствующее слову, можно представить себе аналогичным некоторым распространенным западным концепциям вроде единства образа слова и более или менее обобщенного образа предмета (в индийском понимании — «слова» и самого предмета), то с низшим ярусом дело обстоит сложнее. Бхартрихари упоми-

<sup>37</sup> K u n j u n n i R a j a K. Indian theories of meaning. Madras, 1963, p. 15.

нает, что фонема (*vaŋa*) также не имеет протяженности (I 101), но что именно подразумевается под спхота фонемы, остается не вполне ясным. Во всяком случае, уже само ее выделение и противопоставление звуку речи (*дхвани*) — одно из великих достижений лингвистической мысли.

## ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В КИТАЕ

(I тыс. до н. э.—I тыс. н. э.).

### Введение

Изучение китайского языка и языка вообще имеет в Китае более чем двухтысячелетнюю историю. При этом до конца XIX в. китайское языкознание развивалось почти совершенно самостоятельно, испытав лишь незначительное влияние индийской науки.

Китайское классическое языкознание представляет собой одну из трех или четырех независимых традиций, известных истории мирового языкознания, наряду с греко-римской, древнеиндийской и арабской (последняя, впрочем, не вполне самостоятельна). Китайское языкознание оказало заметное влияние на языкознание Японии и некоторых других соседних с Китаем стран. Однако мировое значение его невелико; оно почти ничего не дало современной европейской науке (между тем как индийская традиция имела определенное значение для европейского языкознания XIX в.).

Но китайская традиция в языкознании — единственная, которая возникла на почве языка, сильно отличающегося по строю от европейских. Для описания ряда восточных языков китайские традиционные методы во многих случаях по-прежнему оказываются более пригодными (т. е. дают возможность сообщить более существенную информацию в более сжатой форме), чем европейские.

В древнем и средневековом Китае существовали три отрасли филологии, связанные с изучением языка. Первая из них, самая древняя, называется *сюньгу* 訓詁 (схолиастика); эта наука занимается толкованием древних слов, выяснением их значений или просто путем перевода, или путем описания предметов и явлений, существовавших в древности, но потом забытых или изменившихся. Другая — изучение письменности, выяснение структуры и этимологии иероглифов. Третья — фонетика, или, точнее, фонология, поскольку она занималась лишь отысканием существующих в языке фонетических различий, но почти не касалась физической природы звуков или механизма их произнесения. Хотя фонетика возникла значительно позже двух других наук, именно она достигла в Китае наиболее значительных успе-

хов. Что касается такой важной отрасли языкознания, как грамматика, то она лишь в XVIII—XIX вв. начала постепенно выделяться из схоластики. Это значит, что главным объектом изучения в китайском языкознании была не речь, а иероглиф. Иероглиф имеет написание, чтение и значение, и эти три аспекта его изучались тремя разными науками.

Ван Ли делит историю китайского языкознания на три основных периода: в первый из них развивалась почти исключительно схоластика, во второй (с V в. н. э.) — основным направлением становится фонетика, в третий (при династии Цин, т. е. с середины XVII в.) развиваются параллельно все три основных направления.

В истории изучения фонетики можно, в свою очередь, выделить три этапа; первый начинается с появления фонетических словарей, второй — фонетических таблиц; третий совпадает по времени с третьим периодом истории китайского языкознания у Ван Ли и характеризуется исследованиями в области исторической фонетики, т. е. работами, целью которых была реконструкция элементов фонетической системы китайского языка минувших эпох.

Первая общая история китайского языкознания на европейском языке была написана Т. Уоттерсом; она составляет одну из глав его «Очерков о китайском языке».<sup>1</sup> Основные сведения о классическом китайском языкознании содержатся в лингвистическом введении к «Опыту мандаринской грамматики» П. Шмидта.<sup>2</sup> В Китае в 30-х и 40-х годах XX в. вышло довольно много книг, посвященных отдельным разделам китайского языкознания, в особенности фонетике, и содержавших исторический обзор литературы вопроса; важнейшими среди них являются «Китайская фонетика» Ван Ли,<sup>3</sup> вышедшая в 1935 г. и позднее переизданная в КНР, и «История китайской фонетики» Чжан Шилу.<sup>4</sup>

В 1953 г. был опубликован краткий очерк истории китайского языкознания Ло Чанпэя.<sup>5</sup> Статьи по истории изучения китайского языка составляют 5-й раздел японской коллективной «Энциклопедии китайского языкознания» (1957 г.);<sup>6</sup> в 1959 г. в КНР они были переведены и изданы в несколько переработанном виде.<sup>7</sup> История изучения китайского языка в Китае до конца XIX в. излагается в первых трех главах китайского издания. Китайским лингвистическим работам отведено много места в общей истории

---

<sup>1</sup> Watters T. Essays on the Chinese language. Shanghai, 1889.

<sup>2</sup> Шмидт П. Опыт мандаринской грамматики с текстами для упражнений. Владивосток, 1902. Изд. 2-е, пересмотр. и доп. Владивосток, 1915.

<sup>3</sup> Ван Ли. Ханьюй иньюньсюэ. Бэйцзин, 1956.

<sup>4</sup> Чжан Шилу. Чжунго иньюньсюэ ши. Шан, ся цэ. Чанша, 1938.

<sup>5</sup> Ло Чанпэй. Чжунго ды юйняньсюэ. — Кэсюэ тунбао, 1953 нянь 4 хао, 15—20 е.

<sup>6</sup> Тюгоку гогаку дзитэн. Тōкё, 1957.

<sup>7</sup> Ван Ли да (бянь и). Ханьюй яньцзю сяо ши. Бэйцзин, 1959. 2-е, испр. изд., 1963.

языкознания Цэнь Цисяна.<sup>8</sup> Наиболее полной историей китайского языкознания является работа Ван Ли, печатавшаяся в нескольких номерах журнала «Чжунго юйвэнь» в 1963—1964 гг.<sup>9</sup> В 50-х и начале 60-х годов в КНР вышел также ряд книг и статей по отдельным вопросам китайского классического языкознания, например рассчитанная на широкого читателя книга Лю Ецю «Древние китайские словари».<sup>10</sup>

В советской лингвистической литературе следует отметить работу Н. И. Конрада «О национальной традиции в китайском языкознании».<sup>11</sup> Китайской лингвистической традиции уделено большое внимание в «Очерках по истории лингвистики» Ю. А. Амировой, Б. А. Ольховикова и Ю. В. Рождественского<sup>12</sup> (но книгой этой следует пользоваться с осторожностью, так как в том, что касается китайского, она содержит много ошибок в именах, датах и т. п., не говоря уже о сомнительности некоторых общих утверждений).

### Споры о языке в древнекитайской философии

В период расцвета китайской классической философии (V—III вв. до н. э.) каких-либо специальных теоретических работ в области изучения языка не существовало. Теория языка, однако, интересовала философов, споривших об отношении названия, «имени» (*мин* 名) к обозначаемой действительности (*ши* 實). Конфуций и его последователи учили, что название неразрывно связано с обозначаемым и должно ему соответствовать. Когда Конфуция спросили, с чего бы он начал, если бы ему вручили управление государством, он ответил: «Самое необходимое — это исправление имен!». Человек, занимающий некоторое социальное положение, должен вести себя соответствующим этому положению образом. В нарушении этого требования конфуцианцы видели причину всех беспорядков в обществе. Теория «исправления имен» была принята и другой крупной философской школой — легистами. Напротив, философы даосского направления считали, что связь между словом и вещью — произвольная. «Дорога получается оттого, что по ней ходят; вещи становятся тем, что они есть, оттого что их называют». Например, нет поступков на самом деле хороших или на самом деле дурных; есть лишь поступки, которые называют хорошими или дурными.

<sup>8</sup> Цэнь Цисян. Юйяньсюэ ши гайяо. Бэйцзин, 1958.

<sup>9</sup> Ван Ли. Чжунго юйяньсюэ ши. — Чжунго юйвэнь, 1963 нянь ди-3 ци, 232—245 е, 265 е; ди-4 ци, 309—324 е, 347 е; ди-5 ци, 411—427 е, 431 е; ди-6 ци, 496—510 е, 474 е; 1964 нянь ди-1 ци, 62—75 е; ди-2 ци, 103—105 е.

<sup>10</sup> Лю Ецю. Чжунго гудай ды цзядянь. Бэйцзин, 1963.

<sup>11</sup> Конрад Н. И. О национальной традиции в китайском языкознании. — ВЯ, 1959, № 6, с. 18—27.

<sup>12</sup> Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975.



Синтез обоих взглядов дал в III в. до н. э. Сюнь Куан 荀况, который считал, что названия «устанавливаются соглашением и закрепляются обычаем» (юэ дин су чэн 約定俗成). Нет изначальной связи между названием и реальностью, название дается людьми по договоренности; но когда название становится привычным, его привычное употребление считают правильным.

## Первые словари

Древнейшей китайской книгой, имеющей какое-то отношение к языкознанию, является «Ши Чжоу пянь» 史籀篇. Это был просто список иероглифов, предназначавшийся для заучивания наизусть при обучении грамоте. Составление ее приписывается Ши Чжоу, главному историографу императора Сюаньвана (827—782 гг. до н. э.) династии Чжоу. В действительности она появилась намного позже, хотя все же относится к периоду до династии Цинь (т. е. до 221 г. до н. э.). Книга эта до нашего времени не сохранилась, но была еще известна в первых веках н. э.

Первый настоящий словарь, содержащий не только списки слов, но и объяснения их значений, появился, вероятно, тоже еще до Цинь. Он был тесно связан с комментированием конфуцианской классической литературы.

Среди всех философских школ конфуцианцы выделялись тем, что старательно собирали и изучали древнейшие литературные памятники и документы. Недаром слово жу 儒, первоначально означившее просто 'ученый', стало одновременно и названием философов-конфуцианцев. Язык книг, более всего почитавшихся Конфуцием, — таких как «Ши цзин» (Книга песен) и «Шу цзин» (Книга преданий), — был не вполне понятен непосвященным уже в конце эпохи Чжоу: в IV в. до н. э. Мэнцзы, цитируя какое-нибудь место из них, обычно для ясности тут же пересказывает его своими словами. Многие выражения в этих книгах требовали истолкования или просто перевода.

Систематизированное собрание объяснений отдельных слов из древних книг легло в основу первого в Китае толкового словаря — «Эр я» 爾雅.<sup>13</sup> Словарь этот не имеет одного определенного автора; вероятно, в собирании его принимали участие многие ученые нескольких поколений. Предполагается, что основная часть его была составлена в III в. до н. э., но ряд добавлений был сделан в начале эпохи Хань, т. е. во II в. до н. э. Слова в «Эр я» расположены по смысловым группам — небо, земля, горы, воды, деревья, рыбы, птицы и т. п. В первые три главы вошли слова вообще, такие, которые нельзя было отнести к определенной группе (гу 詁 'древние слова', янь 言 просто 'слова' и сюнь 訓 'описания', куда вошли главным образом прилагательные и наречия). Из сое-

<sup>13</sup> Название его комментаторы толкуют по-разному. Обычно считается, что оно означает «приближение к правильному».

динения названий двух глав «Эр я» было позднее составлено название науки «сюньгу».

Объяснения слов в словаре «Эр я» настолько кратки, что сам он считается одной из труднейших книг конфуцианского канона и понятен только с комментариями.

После объединения Китая под властью династии Цинь (221—207 гг. до н. э.) была (в соответствии с законом 213 г. до н. э.) уничтожена большая часть философской и исторической литературы древнего Китая. При следующей династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.) многие ее памятники были полностью или частично восстановлены по случайно сохранившимся экземплярам. С восстановлением и изучением этих текстов связана деятельность многочисленных комментаторов; самым известным из них был Чжэн Сюань 鄭玄 (127—200 гг.). Работа комментаторов в свою очередь поддерживала интерес к лексикологии, стимулировала создание новых словарей.

При династиях Цинь и Хань по-прежнему существовали учебные «словари», состоявшие только из списка иероглифов без объяснения. Иероглифы были расположены таким образом, что составляли осмысленные фразы; строки были зарифмованы для удобства запоминания. Одна такая книга сохранилась до нашего времени: это «Цзи цзю пянь» 急就篇 (Быстрый успех), составленная Ши Ю 史游 в I в. до н. э.

Однако при династии Хань были созданы и подлинные словари, имеющие огромную научную ценность для изучения истории китайского языка.

Первым из них был «Фан янь» 方言 (Местные слова). Традиция приписывает составление его Ян Сюю 揚雄 (53 г. до н. э. — 18 г. н. э.), хотя авторство его не может считаться доказанным. В словаре «Фан янь» собраны слова, употреблявшиеся в разных областях Ханьской империи. Они сгруппированы по смыслу, как в «Эр я», и для каждого из них указывается район распространения. Часто автор называет какую-нибудь вещь и затем перечисляет ее названия, употребляемые в разных местностях.

По книге Ян Сюя мы можем судить о диалектах китайского языка, существовавших в эпоху Хань. Например, нетрудно заметить, что чаще всего в «Фан яне» противопоставляются слова двух больших территорий — «к западу от застав», что соответствует нынешним провинциям Шэньси и Шаньси, и «к востоку от застав», что в основном соответствует провинциям Хэнань, Хубэй, Шаньдун и Хэбэй. Совершенно особые диалекты имели некоторые районы морского побережья, от Кореи до нынешней провинции Чжэцзян, а также район «к югу от Чу» (т. е. южнее р. Янцзы); возможно, что слова, записанные в этих частях страны, принадлежат не китайскому, а каким-то другим, уже исчезнувшим языкам.

Словарь «Шо вэнь цзе цзы» 說文解字 (чаще называемый сокращенно «Шо вэнь»), один из наиболее важных памятников китай-

ской лексикографии, был составлен Сюй Шэнем 許慎 (30—124 гг.), в 100 г. и в 121 г. представлен императору. Это — первый полный китайский словарь, т. е. первый словарь, охватывающий все известные автору иероглифы, а не специальные области лексики — трудные и устаревшие слова, как «Эр я», или же диалектные, как «Фан янь». В нем объясняются не только значения иероглифов, но и их структура или происхождение. Все иероглифы объединены в 540 групп по входящим в их состав основным смысловым элементам, сейчас называемым в русской китайистике «ключами». Сами ключи сгруппированы так, что сходные по форме оказываются рядом. Система ключей в «Шо вэне» сильно отличается от современной; ключом может быть признан не только простой, но и сложный иероглиф.

В послесловии Сюй Шэнь излагает и объясняет существовавшую в его время классификацию иероглифов. Прежде всего он различает простые знаки — *вэнь* 文 и сложные — *цзы* 字 (поэтому название самого словаря означает «Объяснение простых иероглифов и рассечение, т. е. разложение на составные части, сложных»). Затем приводится описание «шести категорий писем» — *лю шу* 六書: указательных (*цжи ши* 指事), изобразительных (*сян син* 象形), фонетических (*син шэн* 形聲), идеографических (*хуй и* 會意), «взаимно поясняющих» (? — *чжуань чжу* 轉注) и заимствованных (*цзя цзе* 假借) иероглифов. Основанием этой классификации являются, по-видимому, отношения между изобразительной стороной иероглифа и обозначаемым словом. Указательные иероглифы — это символы, условные знаки; например, иероглифы 上 *шан* 'верх' и 下 *ся* 'низ' состоят из горизонтальной черты, к которой сверху или снизу присоединяется вертикальная. Изобразительные иероглифы представляют собой упрощенное изображение предмета: 馬 *ма* 'лошадь' есть рисунок лошади, 山 *шань* 'гора' — рисунок горы, и т. п. К числу идеографических относятся сложные знаки, состоящие из нескольких изображений: 休 *сю* 'отдыхать' изображает человека, прислонившегося к дереву; 男 *нань* 'мужчина' состоит из «поля» (наверху) и «силы» (внизу): «мужчина применяет силу на поле» — поясняет Сюй Шэнь. «Взаимно поясняющими», судя по примеру, приводимому Сюй Шэнем, считались два иероглифа, имеющие сходное написание и одинаковое значение. Совершенно особый характер имеют заимствованные иероглифы: заимствованным считается знак, употребленный не в своем исходном значении, а для записи омонимичного или близко звучащего слова; так, иероглиф 來 *лай* 'приходить' есть рисунок пшеничного колоса, так как существовало омонимичное слово со значением 'пшеница'. Сходный принцип лежит в основе фонетической категории: фонетические иероглифы состоят из двух частей, одна из которых, когда употребляется как самостоятельный иероглиф, имеет чтение, близкое к чтению фонетического иероглифа в целом, а другая (ключ) указывает смысловую категорию, к ко-

торой относится значение иероглифа; например, 情 *цин* 'чувство' состоит из знака 青 *цин* 'синий' (указывающего чтение) и ключа со значением 'сердце' (указывающего смысловую категорию). Огромное большинство — более девяти десятых — иероглифов, вошедших в «Шо вэнь», являются фонетическими.

Принадлежность иероглифа к категории изобразительных обычно прямо помечается в словаре, часто с объяснением, какой именно предмет изображается. Указательные иероглифы почти никогда не помечаются. Для иероглифов фонетической категории указывается, какая часть их обозначает «звук» (*шэн* 聲), т. е. примерное произношение; в идеограммах чаще всего просто выделяются их составные части без комментариев. Деление сложных иероглифов на фонетические и идеографические не везде проведено последовательно, между ними возможны промежуточные случаи: иногда обе части иероглифа связаны с его значением, как в идеограммах, и в то же время один из них указывает и на звук. Примером может послужить 娶 *цуй* 'жениться', который состоит из знаков 兄 *цуй* 'брат' и 女 *нью* 'женщина'; первый из них имеет не только смысловое, но и фонетическое назначение. Причина этого в том, что слова *цуй* 'брат' и *цуй* 'жениться' родственны между собой; естественно поэтому, что они близки между собой по звучанию (в современном языке это полные омонимы, но в древности они произносились не совсем одинаково).<sup>14</sup> Такие случаи встречаются в «Шо вэнь» довольно часто.

Последние две категории вообще не регистрируются в словаре, так как они связаны не со структурой самого знака, а с его особым употреблением или отношением к другому знаку.

Шесть категорий иероглифов были установлены не самим Сюй Шэнем, так как они перечисляются (в другом порядке и частично под другими названиями) и в других книгах эпохи Хань, в частности в «Истории Хань» Бань Гу (завершена около 82 г.).<sup>15</sup> Однако только в «Шо вэнь» приводятся определения каждой категории, поясненные примерами. Классификация иероглифов, существовавшая в эпоху Хань, несмотря на некоторую неясность и непоследовательность, сохранилась до настоящего времени. Правда, в понимании отдельных категорий и в распределении по ним конкретных иероглифов существовали (и продолжают существовать) очень серьезные расхождения, скрытые за стандартными, одинаковыми у всех ученых названиями.

Объясняемые иероглифы в «Шо вэнь» приводятся в архаичном написании, которое при жизни Сюй Шэня еще было известно,

---

<sup>14</sup> Здесь и в других примерах приводится современное чтение иероглифов в традиционной русской транскрипции.

<sup>15</sup> Бань Гу называет первые четыре категории *сян ши* 象事, *сян син* 象形, *сян и* 象意, *сян шэн* 象聲, что значит 'изображающее дело (т. е. отвлеченное понятие)', 'изображающие форму', 'изображающие мысль' и 'изображающие звук'.

но не использовалось. Почти до конца XIX в. «Шо вэнь» был главным источником сведений о древнейшем состоянии китайской письменности.

Третий знаменитый словарь эпохи Хань — это «Ши мин» 釋名 (Объяснение имен) Лю Си 劉熙 (около 200 г.). Это — словарь этимологический. Значение слова поясняется в нем другим, близким по звучанию словом и выводится из значения этого последнего. Например, слово *жи* 'солнце' объясняется через *ши* 'полный', а *юэ* 'луна' — через *цюэ* 'ущербный'; *дун* 'зима' объясняется через *чжун* 'конец', *инь* 'печать' — через *синь* 'верить', *цин* 'зеленый' — через *шэн* 'живой', и т. п. Большая часть этих объяснений явно притянута за уши. Главная ценность «Ши мина» для нас сейчас не в его этимологиях, а в том, что из него можно узнать, какие слова в конце эпохи Хань звучали примерно одинаково.

Объяснение значения слова через другое, фонетически близкое, не было изобретением Лю Си. Такие объяснения, называвшиеся *шэн сюнь* 聲訓 'толкование по звуку', встречаются во многих книгах эпох Чжоу и Хань.

Уже после Хань, около 230 г., появился словарь Чжан И 張揖 «Гуан я» 廣雅 (Расширенный «[Эр] я»), построенный по тому же плану, что и «Эр я», но намного превышающий его по объему.

### Начало изучения фонетики

Вскоре после династии Хань главным направлением в китайском языкознании становится изучение фонетики, а наиболее обычным видом лингвистических сочинений — словари рифм. На состояние языкознания в это время оказывали влияние главным образом два явления в китайской культуре: расцвет поэзии и широкое распространение буддизма. Развитие поэзии, появление теории стихосложения потребовало изучения рифмы и тона. С другой стороны, буддизм принес с собой элементы индийской культуры; знакомство с индийской алфавитной письменностью показало китайским ученым возможность фонетического анализа слова, принципы классификации звуков.

До этого времени китайских лексикографов и комментаторов интересовали только значение и написание иероглифов, но не произношение слов. Если все же необходимо было указать чтение редкого иероглифа, его поясняли чтением другого, более знакомого, например: «Иероглиф 逝 *ши* 'уходить' читай как 誓 *ши* 'клясться'». Во многих случаях второй иероглиф при этом не был полностью омонимичен первому и давал только приблизительное чтение его. Иногда произношение уточнялось описаниями (вроде «говори длинно»), смысл которых сейчас непонятен.

В конце эпохи Хань был изобретен более совершенный способ записи чтения иероглифов — так называемое «разрезание» или *фаньцзе* 反切. С помощью разрезания чтение иероглифа может быть указано через чтение двух других иероглифов.

Напомним, что в китайском языке важнейшей фонетической единицей является слог. Границы между слогами, за очень редкими исключениями, совпадают с морфологическими границами между словами или между корнями в сложном слове (в современном языке также между корнем и суффиксом); корневые (простые производные) слова почти всегда односложны. Внутренняя структура слога подчинена определенным правилам (которые, впрочем, частично изменялись от одного периода развития китайского языка к другому).

Слог делится на две основные части — начальную и конечную, или инициаль и финаль. Начальная часть слога состоит из одного согласного (в китайском языке эпохи Чжоу, т. е. до III в. до н. э., инициаль могла состоять и из двух согласных); остальные звуки — гласные, полугласные, а также конечные согласные (не все они обязательно есть в каждом слогe) — составляют финаль. Например, в слогe *суань* [suan] звук *с* [s] есть инициаль, а *уань* [uan] — финаль. Слог, точнее финаль, характеризуется не только звуками, входящими в его состав, но и определенной мелодикой — тоном.

По системе *фаньце*, чтобы обозначить чтение иероглифа, подбирали два других таким образом, чтобы первый из них читался с тем же начальным согласным, а второй — с той же финалью (и тоном), что и «разрезаемый» иероглиф. Итак, первый иероглиф разрезания дает нам нужный начальный согласный, а второй — остальные звуки и тон. Например,<sup>16</sup> 甘 *gān* 'сладкий' разрезается на 古 *gǔ* 'древний' и 三 *sān* 'три': от первого слога берется *г*, от второго *ань* и ровный тон. Таким же образом 怒 *nù* 'разгневаться' разрезается на 乃故 *n(ǎi + g)ù*, 壞 *huài* 'разрушиться' — на 胡怪 *x(ú + g)uài*, и т. п. Естественно, что гораздо легче подыскать слова, в которых бы часть звуков совпадала с заданным словом, чем слово, полностью омонимичное заданному. Метод разрезания дает возможность точно обозначить чтение любого иероглифа.

Хотя мысль о возможности разложения слова на отдельные звуки, вероятно, возникла у китайцев под влиянием знакомства с индийской системой письма, само разрезание иероглифов никак не связано с алфавитной письменностью и имеет чисто китайское происхождение. В китайском языке интересующего нас периода довольно часто встречаются слова-полуповторы, т. е. слова, состоящие из двух слогов, представляющих собой фонетическое видоизменение одного и того же корня; в обоих слогах имеется либо

---

<sup>16</sup> Здесь также для простоты даны современные чтения иероглифов, хотя разрезания относятся к произношению VI—XI вв. В большинстве случаев (хотя и не всегда) древние разрезания оказываются пригодными и сейчас, несмотря на огромные изменения в произношении. Дело в том, что разрезание указывает чтение иероглифа не непосредственно, а относительно других иероглифов; но вследствие регулярности фонетических изменений иероглифы, чтения которых в древности имели один и тот же начальный согласный (или одну и ту же финаль), в современном языке тоже читаются с одинаковым согласным (финалью).

одна и та же инициаль при разных финалях, либо одна и та же финаль при разных инициалах. Например, в слове (сохранившемся и в современном языке) *чжичжжу* 'паук' оба слога начинаются на *чж*, в слове *танлан* 'богомол' (название насекомого) оба слога кончаются на *ан*. Слова первого типа (с одинаковым началом обоих слогов) называются *шуан шэн* 雙聲, слова второго типа (с одинаковым концом) — *де юнь* 疊韻 (в этих терминах *шэн* значит 'инициаль', а *юнь* — 'финаль' или 'рифма'; но вообще слово *шэн* в классической китайской филологии имеет несколько разных значений).<sup>17</sup> Полуповторы широко использовались в поэзии. Таким образом, умение подобрать к данному слогу другой, имевший одинаковый с первым согласный или одинаковую финаль, было основано на некоторых явлениях самого китайского языка. Это умение и использовалось при разрезании иероглифа.

Считается, что разрезание как способ обозначения чтения иероглифа первым ввел ученый школы Чжэн Сюаня Сунь Янь 孫炎 в комментариях на словарь «Эр я» («Эр я инь и» 爾雅音義), составленных в начале III в.; книга эта не сохранилась. Однако разрезания можно найти и у некоторых комментаторов, живших, по-видимому, раньше Сунь Яня (в конце II в.). В качестве создателя метода *фаньце* называют также Фу Цяня 服虔, умершего в конце 80-х годов II в. Так или иначе, разрезание уже широко применялось в схолиастике и словарях династии Вэй (220—256 гг.) и позже.

Среди комментаторов III—IV вв. особое место занимает Го Пу 郭璞 (276—324 г.). Его особенно интересовали наиболее трудные тексты. В частности, он снабдил комментарием два наиболее трудных древних словаря — «Эр я» и «Фап янь». В своих объяснениях Го Пу пользуется разговорными словами своего времени, постоянно ссылается на диалектизмы различных областей. Особенно часто он приводит слова из диалекта района «к востоку от Цзяна», т. е. между южным берегом Янцзы в ее нижнем течении и морем — района, в котором находилась столица Южных (китайских) династий после разделения Китая на два государства, китайское и варварское, в 317 г.

К более позднему времени относится один из наиболее известных комментариев книг, входящих в состав конфуцианского и даосского канонов — «Цзин дянъ ши вэнь» 經典釋文 (Объяснение текста канонических книг) Лу Дэмина 陸德明 (556—627 гг.?), работать над которым автор начал в 583 г. Лу Дэмин собрал мнения более двухсот ученых, касающиеся произношения и значения трудных слов в этих книгах.

В китайской литературе различаются два типа комментариев.

---

<sup>17</sup> Слова-полуповторы встречаются не только в китайском языке; например, русские *шалый-валый*, *шахер-махер* — это «де юнь», а *трын-трава* — это «шуан шэн».

Первый из них носит название *инь и* 音義 'звук и смысл', или 'произношение и значение'; он сообщает чтение и значение встречающихся в тексте трудных пероглифов и их сочетаний, иногда — отдельных предложений. Только этот комментарий относится к сфере схоластики. Именно такой характер носят комментарии Го Пу и Лу Дэмина. Комментарии первого типа вообще характерны для династии Хань и более позднего времени, до VI в. н. э. Позже, в особенности при династии Сун (960—1279 гг.), преобладает другой тип комментария — общее философское осмысление текста. Такой комментарий не имеет отношения к языкознанию и здесь не рассматривается. Лингвистические комментирование вновь широко распространяется только при династии Цин (1644—1911 гг.), в связи с появлением исторической фонетики и грамматики (третий период в истории китайского языкознания, по Ван Ли).

### Словари рифм

В области лексикографии интерес к фонетике после Хань проявился в том, что наиболее известные словари этой эпохи построены по фонетическому принципу; это — словари рифм.

Первым таким словарем был «Шэн лэй» 聲類 (Категории звуков) Ли Дэна 李登, составленный при династии Вэй. Об особенностях его мы ничего не знаем. Система рифм второго словаря — «Юнь цзи» 韻集 (Собрание рифм) Люй Цзина 呂靜 (около 300 г.) уже частично известна. В течение следующих трехсот лет словари рифм появляются один за другим, и каждый имеет собственную систему рифм, несколько отличающуюся от других. К сожалению, ни один из них до нас не дошел.

В конце V в. начинается изучение тонов в китайском языке. Была установлена классическая система четырех тонов (*сы шэн* 四聲) — ровного, восходящего, «уходящего» (падающего) и «входящего» (*пин* 平, *шан* 上 *цуй* 去, *жу* 入). Настоящими тонами были только первые три; к входящему тону были отнесены слоги, кончавшиеся неносовыми согласными (р, т, к). Теорию тонов, которые наряду с рифмой играют очень важную роль в китайском стихосложении, разработал Шэнь Юэ 沈約 (441—513 гг.) или немного раньше его Чжоу Юн 周顒 (умер в 485 г.), но, по-видимому, тоны были известны и до них. Начиная с этого времени, словари рифм делятся на четыре части по четырем тонам (до этого располагали рифмы по пяти нотам китайской гаммы или «пяти звукам», но как это реально выглядело, неизвестно).<sup>18</sup>

В словарях рифм все слова (вернее, значимые слоги) китайского языка делятся на группы таким образом, чтобы слова каж-

<sup>18</sup> Словарь «Це юнь», о котором говорится ниже, состоит из пяти частей — поскольку слогов ровного тона было значительно больше, чем любого другого, им отведено две части. Но это разделение ровного тона — чисто механическое, ему не соответствует никакая фонетическая реальность.



дой группы рифмовались между собой и в то же время не рифмовались со словами других рифм (этот второй принцип нередко нарушается, т. е. слова, практически рифмовавшиеся в поэзии, оказываются разделенными на две и даже больше групп под влиянием традиции или в соответствии с произношением какого-нибудь одного диалекта). Сами эти группы тоже называются рифмами (юнь 韻). Названиями рифм служат типичные слова, входящие в соответствующую группу. Например, когда говорят «рифма 東 дун 'восток'», то это значит: «группа слов (слогов), рифмующихся между собой, типичным представителем которых является слово 東 дун 'восток'».

Слоги, состоящие из одних и тех же звуков, но имеющие разный тон, считались относящимися к разным рифмам. Сейчас обычно объединяют рифмы, различающиеся только тоном, в классы или категории; в каждом классе оказывается максимум четыре рифмы (по числу тонов). В словарях рифм того периода, который мы сейчас рассматриваем, специальное обозначение имели только отдельные рифмы, но не классы рифм, т. е. в каждом тоне был свой список рифм. Однако порядок расположения финалей во всех тонах был один и тот же.

Внутри каждой рифмы слогги объединялись в группы омонимов; иногда их называли «малыми рифмами» (сяо юнь 小韻). Эти группы были расположены в произвольном порядке. Все иероглифы каждой такой группы имели одинаковое чтение.

В 601 г. был составлен самый известный из всех словарей рифм, который в дальнейшем вытеснил все остальные и в измененной форме сохранился до нашего времени — «Це юнь» 切韻 (Разрезания и рифмы) Лу Фаяня 陸法言. В составлении его, кроме самого Лу Фаяня, принимали участие еще восемь человек. Первоначальный вариант словаря до нас не дошел; известна только рукопись более позднего варианта — «Кань мю бу цюэ це юнь» 刊謬補缺切韻 (т. е. «Це юнь, в котором устранено ошибочное и восполнено недостающее»), составленного Ван Жэньсюем 王仁煦 в 706 г. Были найдены также отрывки нескольких более ранних рукописей «Це юня». Между прочим, в примечаниях к перечню рифм в начале книги Ван Жэньсюя отмечены отличия рифм «Це юня» от рифм нескольких более ранних словарей. Это единственный источник сведений о структуре последних.

Вопрос о природе фонетической системы, отраженной в словаре «Це юнь», остается спорным. По одной из существующих теорий, «Це юнь» отражает действительное произношение литературного языка или господствующего диалекта своей эпохи, т. е. VI—VII вв. Другое мнение состоит в том, что при составлении «Це юня» учитывались более ранние словари, а также диалектное произношение. Третье предположение, — что авторы словаря иногда создавали несуществующие категории, произвольно распределяя по ним иероглифы, — сейчас уже не может рассматриваться серьезно.

В пользу второй теории говорит то, что реальные рифмы поэтов эпохи Суй (589—618 гг.) не вполне соответствуют распределению слов по рифмам, предлагаемому «Це юнем»; некоторые его рифмы на самом деле в поэзии не различаются (или во всяком случае уже не различались в VI в.).

Составители «Це юня» происходили из разных местностей и, вероятно, говорили на разных диалектах; в предисловии к словарю отмечены фонетические особенности некоторых диалектов. По-видимому, Лу Фаянь стремился обнаружить как можно большее число фонетических различий: если какие-нибудь две группы слов хотя бы в одном диалекте не рифмовались, или хотя бы в одном словаре были отнесены к разным рифмам, в «Це юне» они тоже различаются. Например, если среди слов, которые в современном языке имеют финали *-ун*, *-юн*, один словарь различал в ровном тоне рифмы *冬 дүн* 'зима' и *鍾 чжүн* 'кубок', другой — *東 дүн* 'восток' и *鍾 чжүн* 'кубок', а третий — все три рифмы, то и в «Це юне» мы находим разделенными три рифмы — *дүн* 'восток', *дүн* 'зима' и *чжүн* 'кубок'.

В словаре «Це юнь» различаются 193 рифмы (в то время как в более старых словарях их было примерно 165—170); они образуют 58 классов.

В дальнейшем «Це юнь» неоднократно переделывался и дополнялся. В 751 г., при династии Тан (618—907 гг.), он был переработан Сунь Мянem 孫愐; этот словарь получил название «Тан юнь» 唐韻 (Танский [Це] юнь, или Танские рифмы). Число рифм в нем несколько увеличилось. Еще позже, в 1008 г., при династии Сун, этот словарь был по указу императора вновь переработан Чэнь Пэннйнем 陳彭年, Цю Юном 邱雍 и другими учеными. Это издание, получившее название «Гуан юнь» 廣韻 (Расширенный [Це] юнь), широко известно и в наше время; таким образом, «Гуан юнь» — самый старый из существующих сейчас словарей рифм.

В «Гуан юне» — 206 рифм, образующих 61 класс. Они почти полностью совпадают с рифмами «Тан юня». По сравнению с «Це юнем» три класса рифм разделены на две части каждый по признаку наличия или отсутствия промежуточного лабиализованного гласного *и*. Деление это имело основание в произношении, но не было связано с поэтической рифмой: слоги с финалями, различающимися только промежуточным гласным, свободно рифмуются между собой (это значит, кстати, что количество рифм в китайском языке всегда значительно меньше действительного числа финалей). Порядок расположения рифм, принятый в «Гуан юне», был установлен Ли Чжоу 李舟 в конце VIII в.; особенность его состоит в том, что рифмы, характеризующиеся одним и тем же конечным элементом слога, почти всегда собраны в одно место (до этого порядок рифм был в общем произвольным). Разрезания иероглифов в «Гуан юне» тоже частично изменены. Однако распределение иероглифов по рифмам и «малым рифмам» (группам

омонимов) совпадает с «Це юнем», только добавлены новые знаки, которых не было в первоначальных вариантах словаря.

Через некоторое время «Гуан юнь» тоже подвергся переработке; объем его при этом был увеличен более чем вдвое. Составление нового словаря, получившего название «Цзи юнь» 集韻 (Собранный, т. е. полный «[Це] юнь»), было начато в 1037 г.; в 1067 г. он был представлен императору. В нем 53 525 иероглифов — больше, чем в любом другом словаре китайского языка. Число и название рифм в нем оставлено то же, что в «Гуан юне»; не изменилось в основном и распределение иероглифов по группам омонимов. Однако многие из этих групп перенесены из одной рифмы в другую. Во многих случаях изменились и разрезания там, где они не соответствовали уже произношению XI в.

Как уже упоминалось, Лу Фаянь в своем словаре разъединил все группы слов, которые не рифмовались хотя бы в части его источников. Его система содержала гораздо больше рифм, чем различалось на самом деле в языке его времени. Поэтому уже в начале династии Тан, т. е. через несколько десятков лет после появления «Це юня», многие рифмы были объявлены «употребляемыми вместе» (*тун юн* 同用). Если объединить такие рифмы, окажется, что общее число рифм (и классов рифм) в китайском языке VII в. чуть ли не вдвое меньше, чем их имеется в «Гуан юне». Между тем произношение, реконструируемое на основании «Гуан юня», обычно рассматривают именно как произношение VI—VII вв.

На реальном произношении эпохи Тан был основан словарь Юань Тинцзяня 元廷堅 «Юнь ин» 韻英 (Цвет рифм), составленный в годы правления Тяньбао (742—755 гг.). Книга эта не сохранилась, но о системе рифм Юань Тинцзяня можно получить представление по разрезаниям в сводном комментарии на буддийские тексты монаха Хуэйлиня 慧琳. Хуэйлинь постоянно цитирует «Юнь ин»; он считает, что этот словарь соответствует произношению диалекта Цинь (современная провинция Шэньси, в которой находилась столица Танской империи, Чанъань), в то время как «Це юнь» отражает диалект У (область к югу от Янцзы в ее нижнем течении, где находился Цзянькан — столица Южных династий до 589 г.). Рифмы Юань Тинцзяня отличаются не только от обычных рифм «Це юня», но и от «употребляемых вместе».

## Другие направления

в китайском языкознании VI—XI вв.

Составители словарей рифм интересовались только рифмующейся частью слога и тоном. Начальный согласный, а также промежуточный гласный (который помещается в слоге после начального согласного и составляет часть финали, но не учитывается в рифме) их не касались; анализировать звуковой состав рифмы, т. е. выделять основной гласный и конечный элемент, они тоже

не умели. Количество начальных согласных, различавшихся в языке эпохи «Це юня», можно, правда, выяснить путем анализа разрезов, но никакой прямой классификации слов по начальным согласным в словарях рифм нет.

Первый известный нам список начальных согласных китайского языка был составлен буддийским монахом Шоувэнем 守溫, который жил в конце эпохи Тан (может быть, даже уже при Пяти династиях). Первоначальный вариант этого списка, известный по рукописи, найденной в Дунхуане, содержал 30 согласных. Согласные, как и рифмы, обозначаются словами, содержащими соответствующий звук. Шоувэнь делит согласные на пять групп: губные (*чунь инь* 唇音), язычные (*шэ инь* 舌音), «заднезубные» (*я инь* 牙音), «переднезубные» (*чи инь* 齒音) и гортанные (*хоу инь* 喉音). Язычные и «переднезубные» — это переднеязычные: к первой группе отнесены взрывные (т. е. звуки типа *t*, *n*), ко второй — аффрикаты (типа *ts*) и частично щелевые. «Заднезубные» — это заднеязычные согласные, но почему-то в эту группу включен также *l*. Наконец, гортанными, кроме гортанной смычки и нулевой инициали (т. е. условной инициали слогов, в которых начальный согласный отсутствует и которые начинаются сразу с промежуточного гласного), считаются у Шоувэня почти все щелевые. Язычные делятся еще на «звуки кончика языка» (*шэ тоу инь* 舌頭音) и надъязычные (*шэ шан инь* 舌上音): первые — твердые, вторые — мягкие (палатализованные). «Переднезубные» тоже разделены на «звуки кончика передних зубов» (*чи тоу инь* 齒頭音) — свистящие и «настоящие переднезубные» (*чжэн чи инь* 正齒音) — шипящие. Гортанные могли быть чистые (*цин* 清) и мутные (*чжо* 濁), но, что значат эти термины у Шоувэня, неясно.

Классификация и расположение согласных звуков в списке Шоувэня во многом напоминают порядок букв в индийском алфавите деванагари. Несомненно, что эта классификация возникла под индийским влиянием. Характерно, что создана она была буддийским монахом и что иероглифы, обозначавшие в ней согласные звуки, назывались «буквами» (*цзыму* 字母). Классификация рифм в китайском языкознании никогда не была такой подробной и систематичной, как классификация начальных согласных.

Позже, в эпоху Сун, был распространен список из 36 «букв», который — видимо, по ошибке — тоже приписывается Шоувэню. Ошибки и нелогичности первого списка в нем исправлены: щелевые переднеязычные отнесены к «переднезубным» (и только заднеязычные щелевые продолжают считаться гортанными), звук *l* отделен от заднеязычных. Увеличение числа согласных объясняется главным образом тем, что в списке 36 «букв» вместо одной группы губных появились две — «тяжелые» (*чжун* 重) и «легкие» (*цин* 輕) губные. Легкие губные — палатализованные, которые в эпоху Сун уже перешли в губно-зубные и поэтому должны были получить отдельное обозначение.

Сравнение «букв» Шоувэня с разрезаниями «Це юня» и с фонетическими таблицами эпохи Сун дает основание думать, что действительное число инициалей в китайском языке эпохи Тан было даже больше, чем 30 или 36. Полный список инициалей произношения «Це юня» был в XIX в. реконструирован Чэнь Ли 陳澧 (1810—1882 гг.) на основании разрезаний этого словаря. Чэнь Ли показал, что «Це юнь» строго различает два ряда шипящих — твердые и мягкие — и что предполагаемому нулевому согласному соответствуют две разные инициали; но губно-зубных согласных в эпоху «Це юня», вероятно, еще не было.

Одновременно со словарями рифм в Китае продолжали составляться и обычные иероглифические, ключевые (расположенные по ключам) словари, в которых материал систематизировался так же, как в «Шо вэне». Так, в 548 г. Гу Еван 顧野王 составил словарь «Юй пянь» 玉篇 (Нефритовая книга). Иероглифы в нем были расположены по 542 ключам, которые частично не совпадали с ключами «Шо вэня». «Юй пянь» имел несколько иное назначение, чем «Шо вэнь». В последнем упор делался на объяснение структуры иероглифа, значение же его пояснялось предельно кратко, часто всего одним-двумя словами. В «Юй пяне» основное внимание уделялось именно объяснению значений. Они иллюстрировались многочисленными примерами употребления слов в классической китайской литературе. К сожалению, «Юй пянь», как и «Це юнь», не дошел до нас в первоначальном виде. Подобно «Це юню», он был переработан при династии Сун (в 1013 г.) теми же учеными, которые составляли «Гуан юнь». При этом, хотя число иероглифов в нем увеличилось, но текст объяснений был сильно сокращен. Несколько позже его заменил огромный «Лэй пянь» 類篇 (Книга категорий), составленный одновременно с «Цзи юнем» и содержащий почти столько же иероглифов (53 165; следует иметь в виду, что в «Цзи юне» многие иероглифы по являются дважды в разных местах, если они имеют по два разных чтения). Автором его считается Сыма Гуан 司馬光 (1019—1086 гг.). В действительности его составляли последовательно несколько ученых начиная с 1039 г., и, когда работа была передана Сыма Гуану, словарь был уже в основном закончен. Сыма Гуан представил его императору в 1066 г., более или менее тогда же, когда был представлен «Цзи юнь».

Таким образом, в Китае все время существуют параллельно два наиболее распространенных словаря — один словарь рифм и один ключевой: «Це юнь» и «Юй пянь», затем «Гуан юнь» и поздний вариант «Юй пяня» и, наконец, «Цзи юнь» и «Лэй пянь».

Появление новых словарей не уменьшает интереса и уважения к старому «Шо вэню». В некоторые словари его объяснения включаются целиком. Но за несколько столетий его существования в нем возникли многочисленные искажения. В X в. текст словаря был выверен Сюй Сюанем 徐鉉 (917—992 гг.); работа была за-

кончена в 986 г. Сюй Сюань дополнил «Шо вэнь», добавив около 400 иероглифов; они расположены по ключам, после знаков, сохранившихся в первоначальном тексте Сюй Шэня, но отделены от них. Младший брат Сюй Сюаня, Сюй Кай 徐鍇 (920—974 гг.), снабдил «Шо вэнь» комментарием. Все позднейшие издания «Шо вэня» основаны на тексте Сюй Сюаня.

При династии Тан были составлены два больших сводных комментария к переводной буддийской литературе; оба они известны под названием «Ице цзин инь и» — 切經音義 (Произношение и значение [слов] всех сутр). Первая из этих книг принадлежит монаху Сюаньшину 玄應 и составлена, вероятно, в 630—640 гг. Вторая, значительно больше по объему, составлена монахом Хуэйлинем 慧琳, уроженцем Шуля (Кашгара), и закончена в 807 или 810 г.; автор работал над ней около двадцати лет. Эти комментарии принадлежат к типу «инь и»; они занимают в буддийской литературе такое же место, как книга Лу Дэмина — в конфуцианской.

Изучение истории языкознания при династии Тан и ранее затрудняется тем, что многие памятники этого времени до нас не дошли или известны только в переработанном виде. Для исследований в этой области большое значение имеют две книги — «Янь ши цзя сюнь» 顏氏家訓 (Семейные наставления господина Яня) Янь Чжитуя 顏之推 (родился в 531, умер после 590 г.) и «Фэн ши вэнь цзянь цзи» 封氏聞見記 (Заметки господина Фэна о слышанном и виденном) Фэн Яня 封演. Первая из них написана незадолго до смерти автора, вторая закончена около 800 г. Янь Чжитуй был в числе ученых, участвовавших в составлении словаря «Це юнь», но умер до окончания работы. Обе книги вовсе не являются специально лингвистическими по теме; они состоят из ряда небольших заметок, касающихся самых различных областей культуры. И хотя языку и письменности в них отводится буквально лишь по несколько страничек, мы находим там массу ценных сведений — о словарях и их авторах, о количестве иероглифов в каждом слове, о диалектах китайского языка, об изменении графической формы иероглифов, об истории *фаньце*, и т. п.

### Первые фонетические таблицы

Значительным шагом вперед в области изучения китайской фонетики было появление фонетических таблиц, которые позволяют наглядно представить всю фонологическую систему китайского языка полностью, включая и рифму, и инициали, и промежуточные гласные, и тон.

Самые ранние из известных нам фонетических таблиц — это «Юнь цзин» 韻鏡 (Зеркало рифм), книга неизвестного автора (в XII в. ее приписывали «монахам-индусам»). Она была издана в 1161 г., но написана значительно раньше, во всяком случае до начала династии Сун (960 г.). Рифмы «Юнь цзина» не отличаются

от рифм «Гуан юня», однако порядок их в некоторых отношениях ближе к более раннему «Тан юню».

В фонетических таблицах на полях по одной оси располагаются финали, по другой — инициали; на скрещении строк, соответствующих каждой инициали и финали, проставляется слог, состоящий из этих инициали и финали. Например, на скрещении вертикальной строки, соответствующей инициали к-, и горизонтальной строки, соответствующей финали -а, будет иероглиф, читающийся ка. Если такая-то инициаль не сочетается с такой-то финалью, на скрещении соответствующих строк будет оставлен пропуск. Каждый слог, существующий в языке, получает, таким образом, свое определенное место, и система слогов, а также закономерности в области сочетаемости звуков становятся легко обозримыми.

Общее число слогов, различающихся в «Це юне», было очень велико, поэтому, для того чтобы таблицами можно было практически пользоваться, необходимо было разработать подробную, последовательную и логичную классификацию звуков. Таблицы «Юнь цзин» были своеобразным «ключом» к словарю рифм. В таких словарях, как мы уже знаем, слог (группы омонимов) внутри каждой рифмы следуют друг за другом в произвольном порядке; в таблицах же они систематизированы, и видно, чем каждая такая группа отличается от другой (инициалью или промежуточным гласным).

Собственно говоря, только после появления фонетических таблиц можно без оговорок рассматривать китайское языкознание или китайскую фонетику как отдельную науку. Какая-нибудь отрасль знания становится самостоятельной наукой, когда она выходит за пределы простого собирания и описания фактов и вырабатывает специальную, только ей свойственную форму организации материала, а также собственную терминологию. Таким специальным методом в китайской фонетике и являются фонетические таблицы. Они имеют свою теорию — *дэньюнь* 等韻 'науку о классификации рифм' (и звуков вообще), с довольно сложной специальной терминологией.

Несмотря на то что способ изображения фонетической системы китайского языка в виде таблиц имеет более чем тысячелетнюю давность, он до сих пор успешно используется в научных работах и практических пособиях при описании как китайского, так и других языков, близких ему по строю.

Но фонетические таблицы относятся уже к следующему этапу в истории китайского языкознания.

## ГРЕЧЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ V в. до н. э.

Предметом специальной научной дисциплины язык становится в Древней Греции относительно поздно, грамматика — наука о языке — сформировалась лишь в эллинистическую эпоху (III—I вв. до н. э.), но уже задолго до этого у греков начал проявляться интерес к различным явлениям, относящимся к сфере языка.

Об определенном уровне осмысления природы языка, прежде всего природы его звукового строя, свидетельствует письменность. В этой области грекам принадлежит великое достижение — создание алфавита. Алфавитное письмо, как теперь уже достоверно известно, не было ни единственным, ни древнейшим способом письменной фиксации греческого языка, но из всех видов греческого письма именно алфавит имел решающее значение для греческой цивилизации.

В «темные века» греческой истории, следовавшие за крушением микенской культуры, греки заимствовали финикийское письмо и, значительно его усовершенствовав, создали алфавит. Самые ранние из дошедших до нас алфавитных греческих надписей восходят к VIII в. до н. э. Создание греческого алфавита относят обычно к IX или X в. до н. э. В отличие от финикийского письма, в основе своей консонантного, в греческом алфавите с самого начала имелись специальные знаки не только для согласных, но также и для гласных звуков. По существу греческий алфавит ничем не уступает современным системам алфавитного письма. Возникновение греческого алфавита представляет собой «последний важный шаг в истории письма. От древних греков вплоть до настоящего времени ничего нового не произошло во внутреннем развитии письма. Собственно говоря, мы отображаем на письме согласные и гласные звуки точно таким же образом, как это делали древние греки».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gelb I. J. A study of writing. The foundations of grammatology. London, 1952, p. 184.



В древнейших литературных памятниках на греческом языке (в единичных случаях у Гомера, значительно чаще у Гесиода) мы наблюдаем попытки осмыслить значение некоторых слов, преимущественно имен собственных, путем сопоставления их с другими словами, близкими по звучанию. Так, например, имя Одиссея 'Ὀδυσσεύς ставится в связь с причастной формой ὀδυσσάμενος 'ненавистный' (Одиссея XIX, 407),<sup>2</sup> в «Теогонии» Гесиода (ст. 188 и след.) имя Афродиты 'Ἀφροδίτη рассматривается как связанное со словом ἄφρος 'пена' и т. д. Как справедливо отмечает И. М. Тронский, «толкование имени — *этимология* — первое проявление рефлексии над языком в истории греческой мысли».<sup>3</sup>

Осмысление имени путем выявления его связей с другими словами служило средством, с помощью которого пытались раскрыть природу обозначаемого предмета. Современная этимология — это наука о происхождении и истории слов. Этимологизирование древних ставило перед собой совершенно иные задачи — оно стремилось посредством анализа слов прийти к познанию реального мира. В основе такого этимологизирования лежало представление о внутренней, естественной связи между словом и обозначаемым предметом — представление, восходящее в своих истоках к архаическому, мифологическому мышлению, для которого «имя нераздельно связано с вещью, является носителем его свойств, магическим заместителем».<sup>4</sup> Разумеется, сознательное толкование имен стало возможным лишь тогда, когда это мифологическое представление было в известной мере рационализировано, но полностью оно не изжило себя еще на протяжении многих веков.

Несколько раз в «Илиаде» и «Одиссее» сообщается о предметах, имеющих два названия, одно из которых принадлежит языку богов, другое — языку смертных. Так, например, в описании «битвы богов» мы читаем (Илиада XX, 71 и след., пер. Н. И. Гнедича):

Противу Леты стоял благодетельный Гермес крылатый,  
Против Гефеста — поток быстроводный, глубокоучинный,  
Ксанфом от вечных богов нареченный, от смертных — Скамандром.

Иногда Гомер сообщает нам название предмета, особо отмечая, что оно принадлежит языку богов (Одиссея X, 302 и след., пер. В. А. Жуковского):

С сими словами растение мне подал божественный Эрмий,  
Вывав его из земли и природу его объяснив мне:  
Корень был черный, подобен был цвет молоку белизною;  
Моли его называют бессмертные, людям опасно  
С корнем его вырывать, но богам все возможно.

<sup>2</sup> О значении слова ὀδυσσάμενος в данном стихе см.: Ebeling H. Lexicon Homericum. Vol. 2. Lipsiae, 1880, p. 31.

<sup>3</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке. — В кн.: Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 9.

<sup>4</sup> Тронский И. М. Из истории античного языкознания. — В кн.: Советское языкознание. Т. 2. Л., 1936, с. 24.

Разграничение между названиями у богов и названиями у смертных встречается не только в гомеровском эпосе, такое же разграничение можно обнаружить в некоторых архаических памятниках как на индоевропейских, так и на неиндоевропейских языках.<sup>5</sup> О природе этого разграничения ведутся научные дискуссии. По всей вероятности, под названиями, принадлежащими языку богов, понимались особо значительные, сакральные слова, будто бы дающие людям магическую власть над вещами.<sup>6</sup>

Попытки осмысления имен, толкования названий с целью выявления природы предмета, продолжавшиеся на протяжении всей античности, уже сами по себе служили импульсом для наблюдений над языком. На новую, более высокую ступень языковые разыскания поднялись в ту эпоху (V в. до н. э.), когда традиционному представлению о внутренней, естественной связи между предметом и его названием, лежавшему в основе античного этимологизирования, был противопоставлен новый взгляд на связь между предметом и его названием, в соответствии с которым связь эта мыслилась как чисто условная. Рассмотрение философского вопроса о характере взаимоотношения между словом и именуемым предметом послужило источником формирования древнейшей античной языковой теории. По преимуществу на языковых наблюдениях был основан также философский анализ суждения, вычленение компонентов суждения.

Наряду с философией повышению интереса к различным сторонам языка способствовала зарождающаяся в V в. до н. э. наука об ораторском искусстве, о красноречии, игравшем в общественной жизни античных государств огромную роль. Разработка вопросов теории красноречия неизбежно подводила к внимательному изучению многих языковых явлений.

В основе обучения в V в. до н. э. лежало чтение поэтических текстов, ставших к тому времени уже классическими. Написанные устаревшим языком, а порой и на чуждых диалектах, эти памятники нуждались в комментировании. В связи с этим началась работа по собиранию и объяснению глосс, т. е. старинных или инодиалектных слов.

В V в. до н. э. интенсивно шло изучение звукового строя языка. Этот круг вопросов входил в компетенцию специалистов по ритмике и метрике, исследовавших фонетическую сторону языка в тесной связи с теорией музыки. Большие заслуги в этой

---

<sup>5</sup> Об этом см.: Иванов Вяч. Вс. Зачатки исследования языка у хеттов. — Наст. издание, с. 38 сл.

<sup>6</sup> Тронский И. М. 1) Проблемы языка в античной науке, с. 9; 2) Из истории античного языкознания, с. 25; Liebermann W. L. Voraussetzungen antiker Sprachbetrachtung. Zur Erkenntnisfunktion der Sprache im frühen Griechenland. — In: *Donum Indogermanicum. Festgabe für A. Scherrer zum 70. Geburtstag.* Heidelberg, 1971, S. 138 sqq.

области принадлежат пифагорейской школе с ее особым интересом к проблемам акустики.<sup>7</sup>

Таким образом, в V в. до н. э. многие явления языка были предметом изучения, но языковые изыскания носили разрозненный характер, они не были объединены и систематизированы в пределах одной научной дисциплины. При этом все наблюдения производились только на материале греческого языка. Отсутствие интереса к чужеземным языкам едва ли можно объяснить, как это часто делается, презрением к «варварам».<sup>8</sup> Следует принять во внимание, что греческая культура не развивалась, как это часто бывало в других странах, под доминирующим влиянием чужеземной культуры. Потребности перевода на греческий язык письменных памятников с другого языка не возникало, нужды общения с иностранцами в сфере военной, дипломатической или торговой удовлетворялись людьми, не получившими специальной подготовки и знавшими несколько языков лишь в силу обстоятельств своей жизни. До понимания необходимости изучения чужеземных языков с чисто исследовательской целью научная мысль античности еще не доросла. Древним грекам не только в V в. до н. э., но и гораздо позднее представлялось, что языки отличаются один от другого лишь своей внешней звуковой формой, а по своему внутреннему строению они вполне тождественны между собой, поскольку они точно воспроизводят строение мышления и строение реального мира, одинаковое для всех людей.<sup>9</sup>

Сведения о воззрениях древнегреческих мыслителей, деятельность которых относится к V в. до н. э., нам приходится извлекать из скудных фрагментов их сочинений, дошедших до нас в виде цитат в сочинениях более поздних авторов, или из пересказов мнений этих мыслителей, принадлежащих поздним писателям и далеко не всегда достойных доверия. Вполне естественно поэтому, что по поводу воззрений мыслителей V в. ведутся научные споры, высказываются самые различные точки зрения.

Наши источники (по преимуществу позднеантичные комментарии к сочинениям Платона и Аристотеля) сообщают о том, что в области рассмотрения языковых явлений главной проблемой, волновавшей умы греческих мыслителей V в. до н. э., был вопрос о характере связи между словом и обозначаемым им предметом;

---

<sup>7</sup> Т р о н с к и й И. М. Древнегреческое ударение. М.—Л., 1962, с. 9; Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus. Reinbek bei Hamburg, 1970, S. 76.

<sup>8</sup> См., например: Lejeune M. La curiosité linguistique dans l'antiquité classique. — Conf. Inst. de linguist. Un-té de Paris (8, années 1940—1948), 1949, p. 51, 55, 59, 60; Leroy M. Die Sprachwissenschaft — antike und moderne Ansichten. — Das Altertum, 1974, Bd 20, H. 2, S. 87, 88.

<sup>9</sup> Deuschle J. Die platonische Sprachphilosophie. Marburg, 1852, S. 83; Т р о н с к и й И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 23.

спор шел между теми, кто стремился дать рациональное обоснование традиционной точке зрения, в соответствии с которой связь между предметом и его названием была основана на «природе» (φύσις), и теми, кто утверждал, что эта связь основана на принятом соглашении, на «законе» (νόμος). Материалы, которыми мы располагаем, слишком скудны для того, чтобы подтвердить и прояснить эти сведения.

Древнейшие греческие философы, которые уделяли внимание явлениям, относящимся к сфере языка, — это, по-видимому, Гераклит из Эфеса и Парменид из Элеи, творившие в самом конце VI в. до н. э. и в первые десятилетия V в. По широко принятому, хотя и оспариваемому мнению в учениях этих мыслителей содержатся в зачаточной форме определенные точки зрения относительно характера взаимоотношения между предметом и его названием, причем Гераклит и Парменид занимают здесь противоположные позиции. В дошедших до нас высказываниях этих философов действительно имеются элементы, которые могли послужить основой для выработки позиций по вопросу об отношении языка к миру объективной действительности. В какой мере мы вправе говорить о сформировавшихся точках зрения у Гераклита и Парменида, остается спорным.

У Гераклита и Парменида, по-видимому, впервые в истории греческой философии проявляется интерес не только к проблемам устройства внешнего мира, но и к жизни человеческого духа, к проблемам, связанным с природой человеческого познания. «Великое своеобразие Гераклита заключается не в его учении о первостихии — вообще не в философии природы, а в том, что он первый протянул нити от жизни природы к жизни духа, нити, которые с тех пор не порывались, и первый добыл всеобъемлющие обобщения, исполинской дугой соединившие эти две области человеческого познания».<sup>10</sup> Приведем некоторые высказывания самого Гераклита: «Пределы души ты не сможешь обнаружить, даже если ты пройдешь все пути — столь глубокую сущность имеет она» (VS <sup>11</sup> 22 В 45); «Я исследовал самого себя» (VS 22 В 101).

Знаменитое гераклитовское учение о единстве противоположностей тесно связано с учением об относительности всех свойств. То, что хорошо для одного, плохо для другого, именно поэтому добро и зло — едино. Из этого учения следует признание важности субъективного фактора при восприятии явлений внешнего мира; «в гераклитовом учении об относительности всех определений заключалась мысль о том, что один и тот же объект внешнего мира различно воздействует на различные индивидуумы».<sup>12</sup> В связи с этим возникает проблема, по-видимому новая для древнегрече-

<sup>10</sup> Г о м п е р ц Т. Греческие мыслители. Т. I. СПб., 1911, с. 57.

<sup>11</sup> VS здесь и далее: Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker. 5. Aufl. Berlin, 1934—1938.

<sup>12</sup> Г о м п е р ц Т. Греческие мыслители, с. 65.

ской философии, — проблема о путях и методах познания действительной сущности явлений мира.<sup>13</sup>

Эта же проблема занимает важнейшее место в философской системе Парменида.<sup>14</sup> В утверждении глубочайшего различия между миром явлений и миром сущности состоит основной пафос его философии. Воспринимаемый нашими чувствами мир, исполненный противоречий и изменчивости, есть не что иное, как призрак, мираж. Подлинно реальный мир, мир истинно сущего — един, вечен, неизменен и неподвижен. Этот мир недоступен для восприятия, мы можем постигнуть его лишь разумом. Хотя оба мыслителя указывали на различие между явлением и сущностью, их позиции в этом вопросе во многом противоположны друг другу. Для Парменида между явлением и сущностью находится непреодолимая пропасть, никакие пути не ведут от мира явлений к миру истинно сущего. Для Гераклита с его учением о единстве противоположностей основная антитеза Парменида — противопоставление между истиной, постигаемой разумом мудреца, и мнением, возникающем у людей на основе чувственного восприятия, — не может носить абсолютного характера. Если противоположности образуют единство, значит, не может быть непреодолимой грани между истиной и мнением. Ни в одном явлении мира не может заключаться абсолютная ложь, при правильном подходе мы можем обнаружить ядро истины во всем, ничто не должно быть полностью отвергнуто.<sup>15</sup> «Для бога все прекрасно и хорошо, и справедливо; люди же одно приняли в качестве несправедливого, другое — в качестве справедливого» (VS 22 В 102); «Все человеческие установления питаются от одного — божественного» (VS 22 В 114).

С этими различными мировоззренческими позициями связано у обоих мыслителей их различное отношение к человеческой речи. По мнению многих исследователей, человеческая речь рассматривается Парменидом как нечто сопоставимое с чувственными восприятиями, как нечто такое, что относится целиком и полностью к лживому миру явлений. «В философии элеатов имя превращается в источник иллюзорной субстанциональности чувственного мира, в корень всех заблуждений. В актах именования и создается та ошибочная система, которая образует «мнение»».<sup>16</sup> С точки зрения Дильса, «у Парменида проблема возникновения языка решается в полном соответствии с теорией соглашения. Названия вещей не имеют ничего общего с сущностью, с природой вещей. Они основаны лишь на субъективном произволе или, в лучшем случае, на соглашении между людьми. Грехопадение

<sup>13</sup> Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1976, с. 39 и след.

<sup>14</sup> Там же, с. 44.

<sup>15</sup> Diller H. Weltbild und Sprache im Heraklitismus. — In: Das neue Bild der Antike. Bd 1 (Hellas). Leipzig, 1942, S. 313.

<sup>16</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 14.

людей начинается вместе с речью». <sup>17</sup> В своих рассуждениях эти исследователи опираются на некоторые высказывания Парменида, см., например: «Поэтому словом будет все, что смертные установили, полагая, что это есть правда: становление и уничтожение, бытие и небытие, перемена места и смена яркой краски» (VS 28 В 8, 38—44).

Нет сомнений в том, что Парменид считал человеческую речь тесно связанной с ошибочным «мнением» и потому безусловно ложной, но можем ли мы на основании приведенного высказывания и других подобных делать вывод, что Парменид выдвигал идеи об условной, «договорной» связи между вещью и ее названием, как думает Дильс и некоторые другие исследователи? На наш взгляд, такого вывода сделать нельзя. Из того, что нам известно об учении Парменида, можно заключить, что, по Пармениду, наша речь, как и наше восприятие, относится к призрачному миру явлений, но ничто не говорит нам о том, что Парменид специально рассматривал вопрос о соотношении между словом и именуемым этим словом предметом. Более того, есть все основания полагать, что эта проблема не волновала и не могла волновать мыслителя из Элеи. Для Парменида «мир един, в нем нет и не может быть никакого множества отдельных вещей», <sup>18</sup> а это значит, что отдельные вещи (не только их названия, но и сами вещи) представляя собой лишь плод нашего восприятия. По справедливому замечанию И. М. Тронского, у Парменида «имя, которое в мифологическом миросозерцании принадлежало самой вещи, теперь выпадает — вместе с самой вещью (рядка наша, — И. П.) — из сферы бытия». <sup>19</sup>

Итак, для Парменида не только слово, но и обозначаемый словом предмет относятся к иллюзорному, ложному миру явлений. Для мыслителя, придерживающегося таких взглядов, вопрос о взаимоотношении между призраком-предметом и призраком-словом не мог представлять принципиального философского интереса. На наш взгляд, было бы совершенно ошибочно усматривать в Пармениде мыслителя, высказывавшего идеи о чисто условном характере отношения между вещью и обозначающим ее словом. Если и существуют какие-либо связи между парменидовской антитезой «истина (ἀλήθεια)» — «мнение (δόξα)» и позднейшим противопоставлением «по природе (φύσει)» — «по закону (νόμῳ)», то это связи весьма отдаленные и опосредованные. <sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Diels H. Die Anfänge der Philologie bei den Griechen. — Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur und für Pädagogik, 1910, Bd 25, H. 1, S. 8. Сходной точки зрения придерживаются и некоторые другие исследователи. См., в частности: Nestle W. Griechische Geistesgeschichte. Stuttgart, 1944, S. 83.

<sup>18</sup> Асмус В. Ф. Античная философия, с. 45.

<sup>19</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 14

<sup>20</sup> Против воззрения, в соответствии с которым Парменид является создателем теории об условной, договорной связи между предметом и его

Вопрос об отношении Гераклита к явлениям языка также вызывает оживленные научные споры. Довольно широко распространена точка зрения, в соответствии с которой Гераклит считал, что между вещью и ее названием существует внутренняя органическая связь, что вследствие этого изучение слова приводит к познанию сущности предмета, называемого этим словом.<sup>21</sup> Сторонники данной точки зрения опираются, с одной стороны, на суждения, высказываемые по этому вопросу последователем Гераклита Кратилом в диалоге Платона «Кратил», с другой — на материалы, которые можно извлечь из сохранившихся фрагментов Гераклита. Во фрагменте VS 22 В 1 Гераклит говорит о том, что его повествование основано на исследовании слов (ἔπεια) и дел (ἔργα) в соответствии с их природой (κατὰ φύσιν). На первый взгляд может показаться, что этот фрагмент безусловно свидетельствует об особой роли анализа слов в исследованиях Гераклита и о признании им наличия природной связи между вещью и ее наименованием. Дело, однако, осложняется тем, что не вполне ясен смысл слова ἔπεια. Имеются ли здесь в виду отдельные слова, подвергаемые Гераклитом анализу, или же ἔπεια означает речи людей, которые Гераклит определенным образом исследует, чтобы извлечь из них истину? По мнению Пальяро, «ἔπος первоначально означало не отдельное слово, а языковой акт, речь».<sup>22</sup> Именно в этом первоначальном значении ἔπος выступает у Гераклита. Эфесский мудрец полагает, что речи людей способны правильно передавать объективную истину,<sup>23</sup> но из этого вовсе не следует, что между явлением и словом, его обозначающим, наличествует некая природная органическая связь.

Важным аргументом исследователей, считающих, что Гераклит усматривал наличие природной связи между словом и явлением, служит также то обстоятельство, что высший закон, управляющий миром, назван у Гераклита λόγος. Это существительное имеет тот же корень, что и глагол λέγω 'говорить'; первоначальное зна-

---

наименованием, выступали многие исследователи. См., в частности: М а н д е с М. К. К теории познания Гераклита. Харьков, 1913, с. 1; Н е и н и м а н F. Nomos und Physis. — Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, 1945, Bd 9, H. 1, S. 50; P a g l i a r o A. Struttura e pensiero del «Cratilo» di Platone. — In: P a g l i a r o A. Nuovi saggi di critica semantica. Messina—Firenze, 1956, p. 51, 52.

<sup>21</sup> См., в частности: N e s t l e W. 1) Heraklit und die Orphiker. — Philologus, 1905, Bd 64, H. 3, S. 380; 2) Griechische Geistesgeschichte, S. 75; D i e l s H. Die Anfänge der Philologie bei den Griechen, S. 3; L e j e u n e M. La curiosité linguistique dans l'antiquité classique, p. 49.

<sup>22</sup> P a g l i a r o A. Eraclito e il logos (Fr. B 1). — In: P a g l i a r o A. Saggi di critica semantica. Messina—Firenze, 1953, p. 140. К мнению итальянского исследователя присоединяется В. В. Каракулаков. См.: К а р а к у л а к о в В. В. 1) Первые греческие философы о роли языка в познании. — Учен. зап. Духанб. под. ин-та, 1963, т. 40. Сер. филол., вып. 16, с. 80; 2) Проблема языка у Гераклита. — В кн.: Язык и стиль античных писателей, Л., 1966, с. 100.

<sup>23</sup> P a g l i a r o A. Eraclito e il logos, p. 144.

чение существительного λόγος было несомненно 'слово, речь'. «Гераклит возвел все частные законы, подмеченные им в жизни природы и человека, к понятию единой всемирной закономерности. От его взора не ускользнуло господство строгого всеобъемлющего, не знающего исключения, миропорядка. Познав и возвестив вселенскую закономерность и безраздельное господство причинности, он отметил этим поворотный пункт в духовном развитии человечества».<sup>24</sup> Этот вселенский закон получил у Гераклита название λόγος. Но в каком значении выступает это слово у Гераклита? Мнения исследователей на этот счет расходятся. Выдающийся исследователь греческой философии Дильс полагает, что λόγος выступает у Гераклита в своем первоначальном смысле — 'слово'. «Но «слово» имеет у Гераклита не только метафизическую, — пишет Дильс, — оно имеет также филологическую значимость. Ибо осмеянное Платоном этимологическое направление позднейших последователей Гераклита восходит непосредственно к самому Гераклиту, как это можно усмотреть из отдельных намеков в его сохранившихся фрагментах».<sup>25</sup> Точка зрения Дильса, однако, далеко не является общепризнанной. Как полагают многие специалисты по греческой философии, λόγος выступает у Гераклита не в своем первоначальном значении 'слово, речь', а в позднейшем 'мысль, мышление'.<sup>26</sup>

Против мнения, согласно которому Гераклит пытался рационально обосновать учение о естественной связи слов и вещей, высказались многие исследователи.<sup>27</sup>

Между позицией Гераклита и позицией Парменида несомненно существует глубокое различие, и заключается оно в том, что, по Гераклиту, речи людей способны правильно передавать объективную истину, а для Парменида людские речи ложны в самой своей основе, как и все, что относится к сфере воспринимаемого чувствами мира явлений. Но из этого вовсе не следует, что к Гераклиту восходит рациональное обоснование учения о природной связи между предметом и его названием, а Парменид является создателем учения об условной связи между тем и другим. Вообще противопоставление двух концепций о сущности наименования возникло, по-видимому, во времена, значительно более поздние, чем времена Гераклита и Парменида. Учения обоих великих мыслителей начала V в. оказали лишь некоторое влияние на формирование этих концепций; в учениях Гераклита и Парменида можно

<sup>24</sup> Гомперц Т. Греческие мыслители, с. 66.

<sup>25</sup> Diels H. Die Anfänge der Philologie bei den Griechen, S. 3.

<sup>26</sup> См., в частности: Busse A. Der Wortsinn von λόγος bei Heraklit. — Rhein. Mus. N. F., 1926, Bd 75, H. 2, S. 208.

<sup>27</sup> Кроме А. Пальяро и В. В. Каракулакова, о которых речь шла выше, см. также: Hoffmann E. Die Sprache und die archaische Logik. Tübingen, 1925, S. 14; Тронский И. М. Из истории античного языкознания, с. 29; Heinemann F. Nomos und Physis, S. 54.



обнаружить элементы, которые при их дальнейшей разработке могли быть использованы сторонниками как той, так и другой точки зрения.

Из тех сведений, которые дошли до нас об учении Демокрита (деятельность которого относится к последней трети V в. до н. э.), можно извлечь некоторые данные о его взглядах на явления, относящиеся к области языка. Взгляды Демокрита на язык представляются исследователям противоречивыми, во многих работах предпринимаются те или иные попытки согласовать эти взгляды между собой, воссоздать последовательное и стройное учение о языке у Демокрита. Важнейшее место среди сведений о взглядах Демокрита на языковые явления занимает сообщение неоплатоника Прокла (V в. н. э.) в его комментариях к «Кратилу» Платона: «Демокрит. . . говорил, что имена существуют по установлению, и доказывал это, приводя четыре довода: 1) одноименность — гомонимия, а именно то обстоятельство, что различные вещи обозначаются одним и тем же названием; 2) многоименность — полионимия: различные названия применяются к одному и тому же предмету, заменяя друг друга, а это невозможно, если названия вещей существуют по природе; 3) переименования вещей: ведь если бы имена были от природы, то почему бы Аристотеля переименовали в Платона, а Тиртама в Феофраста; 4) отсутствие соответствия в словообразовании: например, от слова «мысль» можно образовать глагол «мыслить», почему же от слова «справедливость» нельзя образовать глагол «справедлivity». Значит, имена действительно возникли случайно, а не присущи вещам по природе. Сам же он называет свой первый довод доводом, возникшим из многозначных слов (*полисемов*), второй — из равносильных слов (*исорропов*), третий — из переименований (*метонимов*) и четвертый — из безымянных понятий (*нонимов*)».<sup>28</sup>

Современные исследователи склонны считать, что, хотя Прокл и не воспроизводит точно какого-то высказывания Демокрита, основные идеи, содержащиеся в его сообщении, все же восходят к самому Демокриту.<sup>29</sup>

Сообщение Прокла ясно говорит нам о том, что Демокрит был сторонником (и, быть может, даже основателем) теории об условной связи между явлением и его именем. Сведения о взглядах Демокрита на язык, которые можно почерпнуть из других источников, как будто противоречат сообщению Прокла. В комментариях к «Филебу» Платона, принадлежащих перу философа-платоника VI в. н. э. Олимпиодора, мы читаем, что Демокрит называл

<sup>28</sup> Цит. по.: Л у р ь е С. Я. Демокрит. Л., 1970, с. 353.

<sup>29</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. T. 1. Berlin, 1890, S. 78, 176, 177; L u c e J. V. An argument of Democritus about language. — The Classical Review (New Ser.), 1969, vol. 19, № 1, p. 3; P f e i f f e r R. Geschichte der klassischen Philologie, S.65

имена богов «звучащими изображениями» (ἁγάλματα φωνήεντα) богов». <sup>30</sup> Плутарх сообщает нам в одном из своих сочинений изречение Демокрита: «Слово тень вещи» (λόγος γάρ ἔργου σκιά). <sup>31</sup> Сообщения Олимпиодора и Плутарха как будто бы могут служить доводом в пользу того взгляда, что Демокрит придерживался теории о естественной, природной связи между явлением и его названием. Предпринимались попытки согласовать эти высказывания между собой, одна из которых принадлежит Р. Филиппсону, <sup>32</sup> считавшему, что точка зрения Демокрита на происхождение языка совпадала с точкой зрения Эпикура. По мысли Демокрита (полагает Филиппсон, опираясь на высказывания Эпикура), следует различать две стадии в становлении языка. Первоначально слова возникали естественным путем как воздействия вещей на нашу душу и тем самым как отображения этих вещей, но затем под влиянием культурно-исторических факторов (элементы договора) слова изменили свою первоначальную форму и перестали быть точными отображениями вещей. Против точки зрения Филиппсона решительно выступил С. Я. Лурье: «Я убежден . . . что при толковании Филиппсона вопрос слишком упрощается: если бы Эпикур просто повторял доводы Демокрита, а не полемизировал с ним по каким-то вопросам, то вряд ли кому-либо пришло в голову цитировать этих философов как представителей диаметрально противоположных направлений . . . Мысль об «общественном договоре» совершенно чужда детерминисту Демокриту. . . Для Демокрита как для детерминиста не существовало двух таких различных качественно эпох (эпохи естественного языка и эпохи условного языка, — И. П.)». <sup>33</sup>

С нашей точки зрения, для того чтобы выявить связь между различными высказываниями Демокрита о языке, нет необходимости прибегать к эпикуровскому представлению о двух стадиях в развитии человеческого языка. Многое проясняется, если мы обратимся к теории познания Демокрита.

Демокрит, как и некоторые другие греческие философы, различал два рода познания: чувственное восприятие и постижение разумом. Подлинное познание сущности явлений доступно только разуму. «Демокрит считал, что логическим путем можно прийти до совершенного знания о природе только потому, что отождествлял законы мышления с законами бытия, вследствие чего для него не было разницы между гносеологией и онтологией». <sup>34</sup> Вместе с тем Демокрит «был крайне далек от того, чтобы утверждать, что разум может постигать вещи непосредственно, минуя чувствен-

<sup>30</sup> Лурье С. Я. Демокрит, с. 353.

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> Philippson R. Platons Kratylos und Demokrit. — Philologische Wochenschrift (49 Jg.), 1929, N 30, S. 923 sqq.

<sup>33</sup> Лурье С. Я. Демокрит, с. 550.

<sup>34</sup> Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. М.—Л., 1947, с. 141.

ный опыт, или чтобы видеть в мире явлений лишь мираж, фантасмагорию».<sup>35</sup> Наши чувства не дают нам вполне адекватного представления о вещах, но они доставляют нашему разуму необходимый материал, на основе которого разум может выработать правильное понимание сущности явлений. «Два мира — мир „незаконнорожденной мысли“ (мир чувственного восприятия, — *И. П.*) и мир „законнорожденной мысли“ (постижение мира разумом, — *И. П.*) — относятся друг к другу, как изображение в кривом и обыкновенном зеркале или как мир, видимый простым глазом, и мир, видимый под микроскопом. Пусть в первом случае мы видим все предметы в крайне извращенном или неясном виде, все же то, что мы видим, есть реально существующий мир, а не мир нашей фантазии».<sup>36</sup> «Единственный источник познания окружающего — наши непосредственные восприятия. Но эти непосредственные восприятия не дают нам правильного представления о вещах».<sup>37</sup> Демокрит, однако, не делает на этом основании вывода, подобного тому, который делали Парменид и его последователи (школа элеатов), для которых реальный мир не имеет ничего общего с миром представлений. Для Демокрита «между незаконнорожденной и законнорожденной мыслью принципиальной разницы нет. Первая представляет собой непосредственную систематизацию и объединение показаний чувств, причем она подвергает их тем самым первичной некритической обработке; вторая производит лишь дальнейшее критическое очищение этих показаний, но не может решительно никаких знаний получить прямым путем, без посредства чувств».<sup>38</sup> Знакомство с теорией познания Демокрита позволяет, на наш взгляд, лучше понять его представления о природе языка. Мы полагаем, что различные высказывания Демокрита о языке лишь на первый взгляд находятся в противоречии друг с другом, в действительности их вполне можно согласовать между собой.

Слово отнюдь не абсолютный двойник обозначаемой им вещи, доказательством этого служит наличие многих различных слов для обозначения одной и той же вещи, обозначение разных вещей одним и тем же словом и т. д. Но это еще не значит, что между словом и вещью, им обозначаемой, вовсе отсутствует всякая связь и всякое соответствие. Слово — изображение вещи, слово — тень вещи. Но изображения одной и той же вещи могут быть разными, они могут различаться между собой по величине, они могут быть сделаны из различного материала, они могут быть в большей или меньшей степени похожими на свой оригинал; тень от одного и того же предмета может быть различной в зависимости от местоположения предмета, в зависимости от того, в какой части неба находится в данный момент солнце и т. д.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> Там же, с. 143.

<sup>37</sup> Там же, с. 157.

<sup>38</sup> Там же, с. 161.

Итак, мы полагаем, что различные высказывания Демокрита о языке при всей их кажущейся противоречивости в действительности образуют довольно стройную картину: слова, подобно показаниям наших чувств, дают нам лишь приблизительное, не вполне точное представление о вещи, тем не менее определенное соответствие между словом и вещью все же имеется.

В споре между сторонниками точки зрения о сходстве слова с природой обозначаемого предмета и сторонниками представления об условной связи между предметом и его названием Демокрит в основном разделяет воззрения представителей «условной» теории, но его аргументация направлена лишь против крайних вариантов «природной» теории.<sup>39</sup> «Демокрит сочетает в своем учении о языке обе эти точки зрения (точку зрения о «природной» связи между предметом и его наименованием и точку зрения об «условной» связи между тем и другим. — И. П.), но таким образом, что верх у него явно берет вторая из них».<sup>40</sup>

Интерес Демокрита к языку не ограничивался вопросом о характере связи между словом и обозначаемым им предметом, великий ученый-энциклопедист исследовал разнообразные явления, относящиеся к сфере языка. До нас дошли названия многих сочинений Демокрита на языковые темы: (Диоген Лаэртский IX, 48) «О ритмах и гармонии», «О красоте слов», «О благозвучных и неблагозвучных буквах», «О речениях», «О наименованиях».<sup>41</sup> Среди прочих «мусических» сочинений Демокрита Диоген Лаэртский называет также «О Гомере, или об орфоэпии и глоссах». Основываясь на этом сообщении Диогена Лаэртского, И. М. Тронский высказывает мнение, что «Демокрит открывает собой длинный ряд греческих исследователей, писавших о глоссах, и тем самым является основоположником греческой диалектологии».<sup>42</sup>

Как ни мало мы знаем о содержании этих сочинений Демокрита, все же сами названия свидетельствуют о том, что «Демокрит был первым мыслителем, который в своих обстоятельных исследованиях уделил внимание как смысловым, так и чисто звуковым аспектам языка».<sup>43</sup> «Первым филологом» в истории греческой науки называет Демокрита французский исследователь В. Гольдшмидт.<sup>44</sup>

Во второй половине V в. до н. э. в Греции приобрел большое влияние новый тип деятеля в сфере культуры: «Появились странствующие учителя, путешествующие из города в город; они собирали вокруг себя юношей и обучали их. В этих уроках молодому человеку преподавались элементы позитивных наук, учения

<sup>39</sup> Lucie J. V. An argument of Democritus about language, p. 4.

<sup>40</sup> Асмус В. Ф. Демокрит, М., 1960, с. 60.

<sup>41</sup> Цит. по: Лурье С. Я. Демокрит, с. 381.

<sup>42</sup> Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973, с. 39.

<sup>43</sup> Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten und in der stoisch-hellenistischen Zeit. Winterthur, 1961, S. 35.

<sup>44</sup> Goldschmidt. V. Essai sur le «Cratyle». Paris, 1940, p. 16.

натурфилософов, излагались и объяснялись поэтические творения, правила только что появившейся грамматики, тонкости метафизики. Но центр этого преподавания составляла подготовка к практической, в особенности к общественной, жизни». <sup>45</sup> В отличие от более ранних греческих мыслителей эти странствующие философы, получившие впоследствии название «софисты», занимались не столько исследовательской, сколько просветительской и преподавательской деятельностью, при этом центр их интереса лежал не в точных, а в общественных науках.

Разумеется, среди софистов были люди самых различных взглядов, и все же для мировоззрения большинства софистов характерны некоторые общие тенденции. В отличие от философов старых школ с их самоуверенным и наивным догматизмом софисты всячески подчеркивали ограниченные возможности человеческого познания: истину познать нельзя, да и вряд ли объективная истина существует. Скептицизм в гносеологической области привел впоследствии к этическому скептицизму: если нет объективной истины, то, значит, не может быть и объективной справедливости.

Задача выдающегося человека заключается, по мнению софистов, не в том, чтобы выявить истину или утвердить справедливость (ибо сделать это невозможно), а в том, чтобы добиться влияния и власти. В условиях прямой демократии, господствовавшей в Афинах, а также во многих других государствах Греции главным способом добиться влияния и власти было умение красиво и убедительно говорить. Обучение ораторскому искусству занимало поэтому центральное место в преподавательской деятельности софистов.

Разработка теории и практики ораторского искусства стимулировала интерес к языковым явлениям. Софисты, и в первую очередь наиболее выдающийся из них — Протагор, во многом способствовали осмыслению фактов языка, остававшихся до того времени незамеченными.

Протагор, старший современник и соотечественник Демокрита (оба они происходят из Абдер — греческой колонии во Фракии), часто бывал в Афинах, удостоился близкой дружбы с Периклом, был дружен с Эврипидом и другими выдающимися афинянами. Пожалуй, самое знаменитое высказывание Протагора гласит: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют» (VS 80 В 1). Едва ли менее знаменито высказывание Протагора о богах: «О богах я не могу знать ни то, что они есть, ни то, что их нет, ни то, какие они по виду, ибо многое мешает знать это — неясность предмета и краткость человеческой жизни» (VS 80 В 4).

У человека нет средств для постижения объективного мира; не только чувства, но и разум (и в этом отличие Протагора от элейтов) не дают нам возможности узнать истину. «Реальный мир» для

---

<sup>45</sup> Гомперц Т. Греческие мыслители, с. 352.

нас — это тот мир, который нам представляется. Вполне понятно, что человека с таким мирозерцанием вопрос о характере связи между предметом и его наименованием (является ли эта связь органической, природной или она основана на установлении) вообще интересоваться не может.<sup>46</sup> Когда Протагор говорит о правильности слов (*ὀρθότης λόγων*), о правильности речи (*ὀρθότης*), то он имеет в виду практические задачи ораторского искусства. У него, по-видимому впервые в истории греческой культуры, возникает проблема языковой нормы, проблема выработки правил речи, достойной образованного человека. Сделать человека искусным в употреблении слов (VS 80 A25) (*περί ἐπὶ δεινόν*) — главная задача воспитания (*ibid.*) (*παιδείας μέγιστον μέρος*). Наш язык должен находиться в соответствии с требованиями разума; там, где Протагор такого соответствия не обнаруживал, он считал необходимым изменить языковой узус. Язык подлежит усовершенствованию, как и прочие человеческие установления. «Человек есть мера всех вещей — этот тезис Протагора не только означал условность существующих норм, но и признавал, в конце концов, за человеком право на пересмотр — по собственному разумению или желанию — этих норм».<sup>47</sup>

В своих реформаторских устремлениях Протагор осмеливается даже критиковать язык Гомера. Аристотель (Arist. Soph. el. 14, 173b 17 = VS 80 A 28) сообщает нам, что Протагор решительно протестовал против того, что слово *μήνις* 'гнев' (именно с этого слова начинается «Илиада») и слово *πῆληξ* 'шлем' выступают как слова женского рода.<sup>48</sup> Аристотель сообщает нам также (Arist. Poet. 19, 1456b 15 = VS 80 A 29), что первый стих «Илиады» *μήνιν ἄειδε θεά* 'богиня, воспой гнев...' вызывал возражение Протагора по той причине, что Гомер здесь, желая обратиться к богине с просьбой, с мольбой, употребляет форму *ἄειδε* (повелительное наклонение), которая может использоваться, как полагает Протагор, только для того, чтобы отдать приказание. Реформаторские притязания Протагора были объектом насмешек современных ему комедиографов. По-гречески и петух и курица называются одним словом *ἄλεκτρον* (название петуха и название курицы различаются

<sup>46</sup> Goldschmidt V. Essai sur le «Cratyle», p. 15; Heinmann F. Nomos und Physis, S. 161; Fehling D. Zwei Untersuchungen zur griechischen Sprachphilosophie. — Rhein. Mus., N. F., 1965, Bd 108, H. 3, S. 217; Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie, S. 60.

<sup>47</sup> Фролов Э. Д. Ксенофонт и его «Киропедия». — В кн.: Ксенофонт. Киропедия. М., 1976, с. 245.

<sup>48</sup> На основании каких критериев, смысловых или формальных, Протагор пришел к выводу о несоответствии указанных слов женскому роду, остается неясным. Об этом см.: Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 15; Pagliaro A. Struttura e pensiero del «Cratilo» di Platone, p. 62; Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten..., S. 24; Fehling D. Zwei Untersuchungen zur griechischen Sprachphilosophie, S. 215; Guthrie W. K. C. A history of Greek philosophy. Vol. 3. Cambridge, 1969, p. 221.

лишь артиклем). В комедии Аристофана «Облака» (658 и след.) Сократ требует от Стрепсиада, чтобы он для обозначения курицы употреблял несуществующее слово *ἤλεκτροπινα*, построенное по аналогии с названиями животных женского пола. Хорошо известно, что Сократ ничему подобному не учил; по общему мнению исследователей, Аристофан здесь высмеивает Протагора.<sup>49</sup>

Как бы мы ни относились к деятельности Протагора как реформатора языка, мы не можем не признать, что заслуги Протагора перед наукой о языке очень велики. По свидетельству Аристотеля (Arist. Rhet. Γ 5, 1407 b 6=VS 80 A 27), Протагор был первый, кто стал различать три рода имени: мужской, женский и вещный. Квинтилиан (Institutio Oratoria III, 4, 10) и Диоген Лаэртций (IX, 53) сообщают, что Протагор различал четыре типа высказываний: вопрос, ответ, поручение, просьбу. Это разграничение послужило позднее основой для различения наклонений греческого глагола. Таким образом, Протагор был первым греческим мыслителем, высказавшим некоторые суждения о грамматическом строе языка.

Скептическое отношение к возможностям человеческого познания, характерное для очень многих софистов, нашло свое крайнее выражение в учении Горгия из сицилийских Леонтин. Будучи во многом последователем элеатов, Горгий приходит к выводам совершенно негилистического характера.<sup>50</sup> Если Парменид, Зенон и Мелисс утверждали, «что нашего мира — мира становления — вообще не существует и существовать не может, а существует только до ужаса однообразный, пустынный и бессодержательный мир бытия, то Горгий. . . показывает, что с равным правом можно пойти еще дальше и утверждать, что и мира бытия не существует, что вообще ничего не существует».<sup>51</sup> Второй тезис Горгия состоит в том, что если бы что-либо и существовало, то это было бы для нас непознаваемо. Ведь природа существующего и природа мыслимого глубоко отличны друг от друга, в противном случае всякое мыслимое должно было бы быть сущим и ошибка была бы невозможна. Если же мыслимое не является существующим, то и существующее не может быть мыслимым. Третий тезис Горгия (для нас наиболее интересный) гласит: если бы даже существующее было познаваемым, то наше знание мы все равно не смогли бы передать с помощью слов другому человеку. Ибо как может человек передать с л о в а м и то, что он у в и д е л? Как это может стать ясным слушателю, который только слышит это, но не видит? Ведь зрение не воспринимает звуков, слух не воспринимает красок. Подобно тому как познание невозможно из-за глубочайшего

<sup>49</sup> См. об этом, в частности: Pagliaro A. Struttura e pensiero del «Cratilo» di Platone, p. 62; Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten. . . , S. 24; Guthrie W. K. C. A history of Greek philosophy, p. 224; Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie, S. 59.

<sup>50</sup> Изложение взглядов Горгия основано здесь на фрагменте VS 82 В 3.

<sup>51</sup> Л у р ь е С. Я. Очерки по истории античной науки, с. 123 и след.

различия между бытием и мышлением, точно так же невозможно сообщение с помощью языка из-за глубочайшего различия между словом и явлением. Для доказательства своего положения Горгий приводит еще один довод. Как может слушающий думать то же самое, что говорящий? Ведь одно и то же не может находиться одновременно в двух разных существах. Но если бы даже во многих одновременно находилось одно и то же, то неизбежно это должно казаться им разным, так как они сами различаются между собой.

Надо признать, что софистика Горгия не лишена остроумия, его рассуждения представляют несомненный интерес для историка философии, но в отличие от своего современника Протагора для познания языковых явлений Горгий не сделал, по-видимому, ничего.

Среди учителей ораторского искусства в Афинах конца V в. до н. э. почетной известностью пользовался Продик с острова Кеоса. Некоторые источники называют его учеником Протагора. Из речей Продика сохранился в передаче Ксенофонта (Воспоминания о Сократе II, 1, 21 и след.) только небольшой отрывок, содержащий аллегорический рассказ о «Герacle на распутье». Здесь изображается раздумье и душевная борьба героя-полубога при выборе между добродетелью и пороком, олицетворенными в виде двух женщин, из которых каждая указывала свой особый путь.

Мы остановимся здесь кратко на этических воззрениях Продика, поскольку с ними, по мнению ряда исследователей, связаны его взгляды на некоторые явления в сфере языка.

«Выше наслаждений Продик ставил труд. Практика согласовалась у него с теорией. Древность прославила его как человека, который вопреки своему болезненному состоянию полностью выполнял свои гражданские обязанности. Часто он путешествовал в качестве посланца своей родины. Героем его был Геракл, образец мужественности и полезной деятельности».<sup>52</sup> «В учение о нравственности он ввел понятие, которое играло впоследствии большую роль у к и н и к о в и их последователей — с т о и к о в: понятие безразличия вещей самих по себе, которые приобретают ценность только при правильном употреблении их, предписываемом разумом; сюда он причислял богатство и все то, что обычно называют внешним благом».<sup>53</sup>

Продик интересовался некоторыми явлениями в области языка, особое внимание он уделял выявлению смысловых различий между словами, близкими по значению. Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что сферой лингвистических штудий Продика была синонимика. Почти все, что мы знаем о наблюдениях Продика над языком, основано на сведениях, которые сообщает нам Платон. Так, в диалоге Платона «Протагор» Продик в своей речи (Protag. 337a—c) устанавливает различия между близкими по

<sup>52</sup> Гомперц Т. Греческие мыслители, с. 365.

<sup>53</sup> Там же, с. 366.



значению словами: κοινός 'общий' и ἴσος 'равный, одинаковый', ἀμφισβητεῖν 'расходиться во мнениях, спорить' и ἐρίζειν 'ссориться', εὐδοκίμεῖν 'пользоваться хорошей репутацией, быть ценным' и ἐπαίνεσθαι 'быть восхваляемым', εὐφραίνεσθαι 'радоваться' и ἡδῆσθαι 'наслаждаться' и т. д.

«Итак, скажи мне: существует нечто такое, что ты называешь концом (τέλευτή)? Я имею в виду что-то предельное (πέρας), крайнее (ἔσχατον), ведь это одно и то же. Продик наверное не согласился бы с нами». (Платон. Менон 75e). О Продике и его особых интересах в области наблюдения над языком можно прочесть и в других диалогах Платона.

Какие задачи ставил перед собой Прodik, занимаясь установлением различий между близкими по значению словами? Возможно, что эти задачи были чисто стилистическими, Прodik стремился лишь к выработке норм правильного словоупотребления. К этому мнению склоняется известный современный филолог-классик Р. Пфайффер. Рассматривая занятия Продика в области синонимии, он пишет: «Это уже не философские спекуляции, а серьезные и новые размышления над языковыми проблемами».<sup>54</sup> Вполне возможно, что установлением различий между близкими по значению словами Прodik пытался решить не только стилистические, но и философские задачи. «Руководило ли Продиком в этом желание создать опору для стилистики, как этим в действительности и воспользовался Фукидид, или он хотел точным разграничением понятий содействовать научному мышлению, или то и другое вместе, — об этом мы знаем так же мало, как и о том, насколько он достиг своей цели».<sup>55</sup>

Многие исследователи полагают, что различение синонимов у Продика было направлено против учения Демокрита об условной связи между предметом и его наименованием. Если полных синонимов не существует, то это значит, что первый аргумент Демокрита в защиту теории «связи по установлению» лишен всякой силы. Создается впечатление, что Прodik был сторонником теории наличия природной связи между предметом и его наименованием.<sup>56</sup>

Вполне вероятно, что исследование синонимов было связано у Продика с его этическими взглядами. Историки греческой философии обратили внимание на тот факт, что Прodik подвергал анализу преимущественно такие слова, которые обозначают понятия, относящиеся к области нравственности.<sup>57</sup>

На философской, этической подоплеке лингвистических занятий Продика особенно настаивает итальянский исследователь

<sup>54</sup> Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie, S. 62. См. также: Heitsch E. Die Entdeckung der Homonymie. Mainz—Wiesbaden, 1972, S. 23.

<sup>55</sup> Гомперц Т. Греческие мыслители, с. 363.

<sup>56</sup> Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten. . . , S. 42.

<sup>57</sup> Ibid., S. 40, 41.

А. Момильяно: «Философское значение различения синонимов не может быть поставлено под сомнение. Деятельность Продика . . . представляла собой реакцию на скептицизм, который его окружал. И поскольку скептицизм в области теории приводит к релятивизму в сфере житейской практики, философия Продика выступает равным образом как реакция против людей типа Фразимаха и Калликла (т. е. против тех людей, которые настаивали на отсутствии общеобязательных норм морали, — *И. П.*)».<sup>58</sup> «Искусство различать синонимы имело очень большое моральное значение. В самом деле, это искусство означало умение различать между ἀγαθός 'хороший' и κρείττων 'более сильный', между δίκαιον 'справедливое' и συμφέρον 'полезное', в целом это искусство имело целью положить конец той легкомысленной словесной акробатике, с помощью которой эти понятия оказываются неожиданным образом отождествленными. Путь добродетели и путь порока отчетливо разграничены. Именно об этом и говорит знаменитая притча (притча о Геракле на распутье, о которой речь шла выше, — *И. П.*)».<sup>59</sup> В пользу такого понимания деятельности Продика говорят, по-видимому, также черты явного сходства между учением Продика и учениями киников и стоиков как в сфере этических представлений, так и в области взглядов на некоторые языковые явления.

Несомненная близость обнаруживается между взглядами на языковые явления у Продика и у философа Антисфена, который был одним из ближайших и наиболее выдающихся учеников Сократа и значение которого в истории философии определяется в первую очередь тем, что он явился основателем кинической школы.

Если Продик утверждал, что полных синонимов не бывает, что каждое слово соотнесено со своим особым объектом в реальной действительности, то из этого, видимо, следует, что каждый объект реальной действительности может быть обозначен только одним словом, ибо всякое другое слово неизбежно должно иметь иное значение. Здесь трудно не увидеть явной близости к утверждению Антисфена, согласно которому каждый объект реальной действительности может иметь только одно определение. «Антисфен . . . полагал, что об одном может быть высказано только одно, а именно единственно лишь его собственное определение (λόγος)» (Аристотель. *Метафизика* V, 29, 1024 b 20 и след.). Аристотель спорит с Антисфеном, называет его простодушным человеком, доказывает ошибочность этого его воззрения, но нам ясен внутренний смысл утверждения Антисфена, боровшегося с крайним релятивизмом софистов и полемизировавшего в данном случае с Протагором, по мнению которого «относительно каждой вещи имеются два противоположных друг другу определения (λόγοι)» (VS 80 B 6a).

<sup>58</sup> M o m i g l i a n o A. Prodicus da Ceo e le dottrine sul linguaggio da Democrito ai Cinici. — Atti della reale Accademia delle scienze di Torino, 1930, vol. 65 (Classe di scienze morali, storiche e filologiche), p. 102.

<sup>59</sup> Ibid.

Но определение (λόγος) можно высказать, полагает Антисфен, только по отношению к сложному объекту, который может быть разложен на составные части, а простому объекту (так сказать элементарному) соответствует не определение, а всего лишь одно слово: самое большее, что можно высказать о простом объекте, — это сравнить его с чем-нибудь.

Аристотель (Метафизика VIII, 3, 1043b 25 и след.): «По мнению сторонников Антисфена и других столь же мало сведущих людей. . . нельзя, например, определить, что такое серебро, но можно сказать, что оно подобно олову; так что для одних сущностей определение и обозначение иметь можно, скажем, для сложной сущности, все равно, воспринимаемая ли она чувствами или постигаемая умом; а для первых элементов, из которых она состоит, уже нет».

Итак, сложному объекту может соответствовать определение (только одно-единственное), а простому объекту — всего лишь одно слово. Значит ли это, что, по Антисфену, природа простого объекта не может быть раскрыта, не может быть постигнута? До нас дошло высказывание Антисфена: «Основа обучения состоит в исследовании слов».<sup>60</sup> Возникает мысль, что, по Антисфену, постижение простых объектов, не обладающих составными частями, может быть достигнуто путем исследования слов. Имеет ли в виду Антисфен этимологическое исследование или какое-либо другое, об этом мы можем только строить догадки.

Во всяком случае у нас есть основание полагать, что Антисфен исходил из представления о полном соответствии, полном параллелизме между миром реальных объектов и миром слов. По всей вероятности, Антисфен был сторонником теории о природной связи между предметом и его наименованием, и полемика, которую ведет Платон с Кратилом (в диалоге «Кратил»), направлена не в последнюю очередь против Антисфена.<sup>61</sup>

Принято считать, что в последние десятилетия V в. до н. э. велась оживленная дискуссия между сторонниками представления о «природной» связи предмета с его наименованием и сторонниками противоположной точки зрения, в соответствии с которой связь предмета с его наименованием носит «условный», «договорной» характер. «На всех улицах и площадях и при встречах в частных домах образованные люди живо обсуждали вопрос о том, на чем

<sup>60</sup> Фрагмент № 38 по изданию: Caizzi F. D. Antisthenis Fragmenta. Milano, 1966. Здесь цит. по.: Guthrie W. K. C. A history of Greek philosophy, p. 209.

<sup>61</sup> Тронский И. М. Из истории античного языкознания, с. 29. О взглядах Антисфена на явления языка см. также: Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft, S. 123; Momigliano A. Prologo da Geo. . . , p. 103 sqq.; Goldschmidt V. Essai sur le «Cratyle», p. 18 sqq.; Guthrie W. K. C. A history of Greek philosophy, p. 209 sqq.

основаны имена (*ὀνόματα*) — на природе (*φύσει*) или на законе (*νόμῳ*).<sup>62</sup> Так думает Штейнталь, так думают многие другие исследователи. Тем не менее когда возникает вопрос, кто из видных греческих мыслителей конца V в. до н. э. был сторонником той или иной точки зрения, то оказывается, что ответить на этот вопрос совсем не так просто.

В самом деле, если говорить о тех мыслителях, которые рассматривали связь между предметом и его наименованием как условную, то с достаточной долей уверенности мы можем назвать только одно имя — имя Демокрита; еще труднее назвать имена мыслителей, придерживавшихся противоположной точки зрения. В доплатоновское время «единственным представителем этой точки зрения был Кратил», полагает Аллен.<sup>63</sup> В предшествующем изложении была сделана попытка показать, что теорию о «природной» связи предмета с его наименованием поддерживали, по-видимому, Продик и Антисфен.

Так или иначе, данные, которыми мы располагаем, безусловно свидетельствуют о том, что в последние десятилетия V в. до н. э. многие проблемы, связанные с языком, волновали умы образованных людей греческого общества. К исходу V в. (т. е. к тому времени, когда началась творческая деятельность Платона) были сделаны наблюдения в области звукового строя греческого языка (Демокрит, софист Гиппий),<sup>64</sup> в области грамматического строя (Протагор), а также в области лексики (Продик).

## ПЛАТОН

Из всех произведений Платона (427—347 гг. до н. э.) наибольший интерес для истории лингвистической мысли представляет диалог «Кратил». Этот диалог едва ли можно назвать лингвистическим исследованием, основная проблематика «Кратила» — философская, но от начала и до конца диалога Платон строит весь ход рассуждения, опираясь на анализ данных языка; он делает в процессе этого анализа интереснейшие наблюдения над языковыми явлениями, высказывает ряд идей, в определенном отношении предвосхищающих достижения языкознания Нового времени.

«Кратил» — одно из самых трудных для понимания, одно из самых загадочных произведений Платона. Истолкованию «Кра-

---

<sup>62</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft, S. 74, 75.

<sup>63</sup> Allen W. S. Ancient ideas of the origin and development of language. — TPhS (1948). London, 1949, p. 47.

<sup>64</sup> Платон сообщает, что Гиппий рассуждал (VS 86 A11) «о свойствах букв, слогов, ритмов, гармоний»; (VS 86 A12) «о правильности ритмов, гармоний и букв».

тила» посвящена более обширная литература, чем интерпретации какого-либо другого из сочинений Платона.<sup>1</sup>

О непреодолимых трудностях, связанных с пониманием «Кратила», пишет видный советский историк философии А. Ф. Лосев: «„Кратил“ принадлежит к числу довольно трудных и замысловатых диалогов Платона. Свободная манера письма, характерная для Платона, доходит здесь иной раз до полной невозможности уловить связь отдельных частей диалога и даже его основную идею. . . Это и привело к тому, что „Кратил“ допускает много разных трактовок и композиция его может быть представлена весьма разнообразно. . . Ввиду огромного числа неясностей этого диалога едва ли когда-нибудь удастся дать такой вполне безупречный его анализ, который уже не подлежал бы никакой серьезной критике».<sup>2</sup>

В центре этого диалога находится вопрос о характере отношения между вещью и ее наименованием. Два персонажа — Кратил и Гермоген — придерживаются двух противоположных точек зрения по этому вопросу. Для Кратила (383а) «существует правильность имен, присущая каждой вещи от природы». При этом Кратил признает, что многие слова, употребляемые нами, вовсе не соответствуют природе вещей, а порождены случайными причинами, но эти слова не являются подлинными именами, подлинными названиями вещей. По мнению Гермогена, (384а) «правильность имени не есть что-то другое, нежели договор и соглашение. Ведь мне кажется, какое имя кто кому-нибудь установит, такое и будет правильным. Ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что-либо так называть». Кратил и Гермоген привлекают для решения своего спора Сократа, устами которого Платон обычно высказывает свои собственные суждения.

Первоначально Сократ как будто бы становится на сторону Кратила и защищает точку зрения о соответствии имен природе обозначаемого ими предмета. Полемизируя с Протагором, для которого (386а) «сущности вещей для каждого человека особые», Сократ утверждает (386а), «что сами вещи имеют некую собственную устойчивую сущность, безотносительно к нам и независимо от нас». Имена вещам дает номотет-законодатель, этот законодатель (389d) «должен уметь воплощать в звуках и слогах имя, причем то самое, которое в каждом случае назначено от природы».

Один из основных доводов тех людей, которые, подобно Гермогену, рассматривают связь между именем и именуемым предметом

---

<sup>1</sup> См. об этом, в частности: L e k y M. Plato als Sprachphilosoph (Würdigung des platonischen Kratylos). Paderborn, 1919, S. 1; Méridier L. Notice. — In: P l a t o n. Oeuvres complètes, T. 5. P. 2. Cratyle. Paris, 1931, p. 7; P a g l i a r o A. Struttura e pensiero del «Cratilo» di Platone. — In: P a g l i a r o A. Nuovi saggi di critica semantica. Messina—Firenze, 1956, p. 49.

<sup>2</sup> Лосев А. Ф. Статья к диалогу «Кратил». — В кн.: П л а т о н. Соч. в трех томах. Т. I. М., 1968, с. 594.

как чисто условную, состоит в том, что одно и то же значение может передаваться словами, резко различающимися между собой по своей звуковой форме. Сократ парирует этот довод, указывая на то, что слово, помимо своего значения и своей звуковой формы, обладает, еще одним свойством, которое сам Платон называет идеей слова (ἡ ἰδέα — 389d), образом слова (τὸ εἶδος — 390a) и которое мы бы назвали, основываясь на разъяснениях Платона, внутренней формой слова.<sup>3</sup>

Стремясь выявить, каким образом наименование может отражать природу явления, Сократ обращается первоначально к именам собственным. Разве можно признать случайным, что сын Гектора, сын царя, называется Астианакс? Это имя состоит из двух частей — ἄστυ 'город' и ἄναξ 'царь' — и вполне подобает царскому сыну. Само имя предводителя троянцев Гектора значит, собственно, 'держатель' (от глагола ἔχω 'иметь, держать'), и оно вполне соответствует происхождению Гектора и тому положению, которое он занимает. Астианакс и Гектор — два имени, совершенно различные по своему звучанию, но и то, и другое внутренне связано с понятием «повелитель, царь». Перед нами ясный пример, показывающий, как различные по звучанию слова могут (каждое по-своему) отражать природу одного и того же явления: (394a—c). «Как, скажем, снадобья врачей, разнообразные по цвету и запаху, кажутся нам разными, в то время как они одни и те же, а для врача, когда он рассматривает их возможности, они кажутся тождественными и не сбивают его с толку своими примесями. Так же, наверное, и знающий имена рассматривает их значение, и его не сбивает с толку, если какая-то буква приставляется, переставляется или отнимается или даже смысл этого имени выражен совсем в других слогах. Точно так же обстоит с тем, о чем мы здесь говорили: имена Астианакс и Гектор не имеют ни одной одинаковой буквы, кроме t, но тем не менее означают одно и то же». Иначе говоря, слова, различающиеся по звучанию, могут иметь одинаковую или сходную внутреннюю форму.

Итак, главный аргумент сторонников теории об условной связи между вещью и ее наименованием — наличие синонимов — может быть, по-видимому, отвергнут: (397a) «Ведь мы нашли уже некий образец, следуя которому можно в самих именах отыскать подтверждение того, что не произвольно устанавливается каждое имя, а в соответствии с некоей правильностью».

<sup>3</sup> Под внутренней формой слова мы понимаем здесь «зафиксированные в содержательной структуре лексических единиц признаки, служащие основанием номинации» (В а р и н а В. Г. Лексическая семантика и внутренняя форма языковых единиц. — В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976, с. 234). Хотя существуют различные подходы к толкованию внутренней формы слова, в советском языкознании приведенное толкование распространено наиболее широко. См., в частности: Б у д а г о в Р. А. Введение в науку о языке. М., 1965, с. 73 и след.; Г а к В. Г. К проблеме соотношения языка и действительности. — ВЯ, 1972, № 5, с. 16, 17.

В дальнейшем изложении Сократ, подвергая этимологическому анализу многие десятки слов, вскрывает их внутреннюю форму, показывает мотивированность наименований, обнаруживает связь между звучанием слов и природой обозначаемых ими предметов. Но чем дальше, тем в большей мере читателю становится ясным, что если не во всех, то в очень многих случаях Сократ делает это не всерьез, он явно подсмеивается, шутит, да он и не скрывает своего отношения к этимологизированию, а заявляет о нем прямо. На просьбу Гермогена объяснить, что представляют собой имена Диониса и Афродиты, Сократ отвечает: (406b—c) «Сын Гиппоника, ты спрашиваешь о трудных вещах! Можно строго исследовать имена этих богов, а можно и для забавы. Так вот о строгом способе спроси кого-нибудь другого, а познакомиться с забавами нам ничто не мешает: ведь забавы милы и богам».

Для Платона не мог быть скрытым тот факт, что этимологизирование оставляет широкий простор для всякого рода произвольных толкований и пустых домыслов; этимологическая часть диалога несомненно включает в себе некоторые элементы пародирования современных Платону методов этимологического анализа.

Таким образом, уже тут читатель диалога оказывается в трудном положении: остается неясным, поддерживает ли Сократ мнение Кратила о наличии внутренней связи между значением слов и их звучанием, или же он только делает вид, что поддерживает это мнение, в действительности же он его высмеивает.

Итак, очень многие слова греческого языка Сократ пытается объяснить иногда в шутку, во многих случаях, по-видимому, всерьез, исходя из других слов этого же языка. Однако такого рода объяснения нельзя продолжать до бесконечности. Рано или поздно в процессе анализа мы неизбежно столкнемся с такими словами, которые ни к каким другим словам данного языка (мы бы еще добавили «на данном этапе его развития») не восходят: (421e) «Вдумаемся же: если кто-то непрестанно будет спрашивать, из каких выражений получилось то или это имя, а затем начнет также выпытывать, из чего эти выражения состоят, и не прекратит этого занятия, разве не появится в конце концов необходимость отказать ему в ответе?»; (422a) «Так когда же отвечающий вправе будет это сделать? Не тогда ли, когда дойдет до имен, которые уже выступают в качестве простейших частиц (первоначал, — *И. П.*), из которых состоят другие имена и слова? Ведь мы не вправе подозревать, что и они состоят из других имен, если они действительно простейшие»; (422b) «Но если мы возьмем слово, которое не состоит ни из каких других слов, то мы вправе будем сказать, что подошли здесь к простейшим частицам, которые уже не следует возводить к другим именам».

Здесь Платон приходит к важнейшему разграничению между первичными, непроеизводными словами и словами производными (*πρῶτα ὀνόματα* 'первые слова' и *ὑστερα ὀνόματα* 'позднейшие слова'). Ясно, что «позднейшие слова» были образованы тем или иным

путем из «первых слов». Но как возникли «первые», т. е. первичные, непроеизводные слова? Какова связь этих имен с обозначаемыми ими явлениями? Сократ высказывает мысль, что эти «первые имена» возникли в результате подражания. С некоторыми звуками, по мысли Сократа, ассоциируются представления об определенных качествах, и эти ассоциации могли послужить исходным пунктом для образования слов. Как видим, Платон здесь подходит очень близко к тому, что в современном языкознании называется звуковым символизмом, проблемы которого волнуют умы лингвистов и в наше время: (426с) «Итак, прежде всего г представляется мне средством выражения всякого движения»; (426 de) «Так вот этот звук г, как я говорю, показался присвоителю имен прекрасным средством выражения движения, порыва, и он много раз использовал его с этой целью. Прежде всего в самом слове 'течь' ( $\rho\acute{\epsilon}\iota\nu$ ) и 'течение' ( $\rho\acute{o}\eta$ ) благодаря этой букве он подражает порыву. . . Я думаю, законодатель видел, что во время произнесения этого звука язык совсем не остается в покое и сильнейшим образом сотрясается. . . А звуком  $\iota$  он воспользовался для выражения всего тонкого, что могло бы проходить через вещи»; (427b) «А так как при произнесении  $\iota$  язык очень сильно скользит, опускаясь вниз, то, пользуясь уподоблением, он так дал имена „гладкому“ ( $\lambda\acute{\epsilon}\iota\alpha$ ), „скользящему“ ( $\delta\lambda\iota\sigma\theta\acute{\alpha}\nu\epsilon\iota\nu$ ), „лоснящемуся“ ( $\lambda\iota\pi\alpha\rho\acute{o}\nu$ ), „смолистому“ ( $\kappa\omicron\lambda\lambda\omega\delta\epsilon\varsigma$ ) и прочим подобным вещам».

Эти рассуждения Платона отнюдь не наивны даже с точки зрения современного языкознания. «Вопрос о возможности существования непроеизвольной связи между звуком и значением был и остается в лингвистике предметом оживленных споров».<sup>4</sup>

Но в данный момент нам важнее другое. Мы видим, что Сократ вновь вполне серьезно поддерживает тезис о наличии внутренней связи между значением слова и его звучанием, между предметом и его именем.

Дальнейшее изложение, однако, обнаруживает новый поворот в рассуждениях Сократа. В частности, Сократ указывает на то, что выведенные им правила ассоциаций между отдельными звуками и теми или иными свойствами вещей далеко не всегда соблюдаются в языке. Звук  $\iota$  часто служит для обозначения гладкости, податливости и т. п., но этот же звук встречается, например, в слове  $\kappa\lambda\eta\rho\acute{o}\nu$  'твердое', означающем нечто совершенно противоположное гладкости и податливости, тем не менее это слово столь же хорошо обслуживает потребности общения, как и другие слова.

В заключительной части диалога Сократ уже прямо говорит о своем скептическом отношении к точке зрения Кратила, согласно которой имена находятся в полном соответствии с именуемыми предметами. Даже те имена, в которых мы такого соответствия не обнаруживаем, говорит Сократ, могут удовлетворительно служить

---

<sup>4</sup> Левицкий В. В. Звуко-символизм в лингвистике и психолингвистике. — ФН, 1975, № 4, с. 54.



людям для их общения между собой: (435a) «Выражать вещи могут и подобные и неподобные буквы, случайные, по привычке и договору»); (435b) «Ведь по привычке, видимо, можно выражать вещи как с помощью подобного, так и с помощью неподобного».

Из постулируемого Кратилом полного соответствия между предметом и его наименованием следует, что познание имени есть прямой путь к познанию вещи. Сократ выражает свое решительное несогласие с этим мнением: (439b) «Так вот, узнать, каким образом следует изучать и исследовать вещи, это, вероятно, выше моих и твоих сил. Но хорошо согласиться и в том, что не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих».

Таков итог долгих рассуждений на тему о соотношении между именем и обозначаемым предметом.

У читателя диалога может создаться впечатление, что «Кратил» по существу сочинение деструктивное, критическое, что главная цель Платона в этом диалоге состоит в том, чтобы показать ошибочность теории о природной, естественной связи между предметом и его названием. Многие исследователи, в том числе и очень авторитетные, считают, что такое впечатление вполне точно отражает существо дела. По широко принятому мнению, «Кратил» не содержит какой-либо положительной программы, с основами философского мировоззрения Платона он не связан или связан лишь в очень слабой мере; по преимуществу это произведение полемическое, пародийное, призванное обнаружить несостоятельность распространенных во времена Платона теорий языка и методов анализа языковых данных; единственный вывод диалога (впрочем, также негативный) состоит в том, что слово не может быть источником знаний об именуемом предмете. Как полагают многие исследователи, Сократ только делает вид, что пытается вскрыть внутреннюю связь между вещью и ее наименованием, устанавливая этимологии многих слов, высказывая идеи о звуковом символизме, в действительности же он говорит обо всем этом с иронией, он стремится только к тому, чтобы скомпрометировать эти теории, показать их полную несостоятельность. При этом некоторые исследователи полагают, что Сократ относится отрицательно и к этимологизированию, и к звуковому символизму, другие считают, что отрицательное отношение Сократа распространяется только на этимологизирование, но не на звуковой символизм.

В той части диалога, которая посвящена выявлению этимологий, Платон «кое-что отвергает как ошибочное, кое во что он верит наполовину, в некоторые вещи он действительно верит; но он не может доказать ни ложности одного, ни истинности другого, поэтому он подвергает насмешке как одно, так и другое».<sup>5</sup> С точки зре-

---

<sup>5</sup> Steintal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. T. 1. Berlin, 1890, S. 99.

ния М. Лэки, в той части диалога, которая посвящена этимологиям, Платон пародирует современные ему приемы исследования, особенно характерные для последователей Гераклита.<sup>6</sup> «В этих условиях вопрос о том, исследует ли Платон этимологии всерьез или в шутку, — вопрос совершенно праздный. Платон становится на точку зрения, ему не принадлежащую, и с этой точки зрения производит этимологические разыскания, разумеется, без всякой убежденности».<sup>7</sup>

По вопросу об отношении Платона к теории звукового символизма мнения ученых расходятся. Некоторые исследователи склонны настаивать на критическом отношении Платона к этой теории. «Построенная на ненадежных гипотезах, недостаточно продуманная, эта теория, будучи соотнесенной с фактами трезвой действительности, лопается как мыльный пузырь».<sup>8</sup> Сходные воззрения высказывают Гентинетта, Беларди и многие другие.<sup>9</sup>

Мнение о сугубо негативном характере выводов «Кратила» распространено очень широко.<sup>10</sup> Разделяет его и видный советский специалист в области классической филологии И. М. Тронский. «Языковым проблемам посвящен диалог „Кратил“, но задача „Кратила“ показать, что имена не являются орудиями познания вещей и что исследование имен бессильно помочь мысли, стремящейся к познанию „вечносущего“. Платон, как это часто бывает в его диалогах, с н а ч а л а в е д е т ч и т а т е л я п о л о ж н о м у п у т и (разрядка наша, — *И. П.*). Он исходит из предположения, что имя является „орудием“ познания вещей, и приходит к выводу, что имя должно выражать „идею“ вещи с помощью „букв и слогов“. Эта мысль конкретизируется затем на целой серии этимологий, в большинстве случаев заключающих в себе момент пародии, и кульминирует в изложении атомистической гипотезы семантики звука: имя оказывается подражанием природе вещей.

<sup>6</sup> Le ky M. Plato als Sprachphilosoph, S. 52.

<sup>7</sup> Pagliaro A. Struttura e pensiero del «Cratilo». . . , p. 71. См. также: Méridier L. Notice, p. 34; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957, S. 75; Lorenz K., Mittelstrass J. On rational philosophy of language. The programme in Plato's *Cratylus* reconsidered. — Mind. A Quarterly Rev. Psych. a. Philos., 1967, vol. 76, N 301, p. 10.

<sup>8</sup> Haag E. Platons Kratylus. Versuch einer Interpretation. Stuttgart, 1933, S. 21.

<sup>9</sup> Gentinetta P. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten und in der stoisch-hellenistischen Zeit. Winterthur, 1961, S. 64, 65, 67; Lorenz K., Mittelstrass J. On rational philosophy of language, p. 11; Беларди W. Platone e Aristotele e la dottrina sulle lettere e la sillaba. — Ricerche Linguistiche, 1974, t. 6, p. 4, 8, 26, 27, 38.

<sup>10</sup> См., в частности: Wilamowitz-Moellendorff U. von. Platon. Bd. 1. 2. Aufl. Berlin, 1920, S. 289, 295; Abramczyk I. Zum Problem der Sprachphilosophie in Platons «Kratylos». Breslau, 1928, S. 27, 51, 52; Méridier L. Notice, p. 30, 38; Gentinetta P. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten. . . , S. 46, 50; Lorenz K., Mittelstrass J. On rational philosophy of language, p. 4.

Дальнейшее рассуждение показывает, однако, что все эти выводы ошибочны».<sup>11</sup>

«При общей установке платонизма на познание „вечносущего“, вопрос о наличии „сходства“ между принятым „по договору“ именем и чувственно-воспринимаемой вещью не представлял для Платона сколько-нибудь серьезного философского значения».<sup>12</sup>

На наш взгляд, точка зрения об исключительно полемическом, пародийном характере диалога «Кратил», об отсутствии в этом диалоге позитивных выводов не может быть принята. В последующем изложении будет сделана попытка доказать два положения, с этой точкой зрения совершенно несовместимые: 1) в «Кратиле» Платон выдвигает и тщательно обосновывает определенную концепцию по вопросу о соотношении между звуковой формой слова и его значением; 2) эта концепция находится в тесной связи с основами мировоззрения Платона.

Диалог «Кратил» на первый взгляд включает в себе много противоречий. Эти противоречия, по сути дела в гораздо большей мере кажущиеся, чем действительные, введены Платоном в диалог вполне осознанно. Использование такого рода противоречий для Платона — сознательный дидактический прием. По убеждению Платона, вызывать душу к мышлению может только такое впечатление или такая мысль, которые заключают в себе противоречие: (Платон. Государство VII, 523e) «Не вызывает на размышление то, что не переходит в противоположное ощущение, тогда как то, что переходит в противоположное ощущение, т. е. когда ощущение говорит об одном нисколько не меньше, чем о противоположном, я считаю вызывающим на размышление».

Но, несмотря на наличие этих эвристических противоречий, внимательный анализ «Кратила» показывает, что на протяжении всего диалога проводится по существу одна и та же точка зрения.<sup>13</sup>

Используя разнообразные аргументы, Платон стремится доказать, что слово представляет собой некое подражание, подобие именуемого предмета. Между вещью и ее именем не существует тождества, не существует также прямых и непосредственных связей, но связи отдаленные и опосредованные все же существуют. Из того положения, что нельзя (439a) «изучать вещи из имен»,

---

<sup>11</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке. — В кн.: Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 21.

<sup>12</sup> Тронский И. М. Из истории античного языкознания. — В кн.: Советское языкознание. Т. 2. Л., 1936, с. 35.

<sup>13</sup> О полной последовательности Платона в этом диалоге говорили многие исследователи: Friedländer P. Die Platonischen Schriften. Berlin—Leipzig, 1930, S. 196 sqq.; Nehring A. Plato and the theory of language. — Traditio, 1945, vol. 3, p. 13 sqq.; Allen W. S. Ancient ideas of the origin and development of language. — TPhS (1948), London, 1949, p. 37 sqq.; Amado-Lévy-Valsens E. Le problème du «Cratyle». — Rev. philos. de la France et de l'étranger, 1956, t. 146, p. 24; Gaiser K. Name und Sache in Platons «Kratylos». Heidelberg, 1974, passim.

еще вовсе не следует, что связь между вещью и именем носит совершенно немотивированный, произвольный характер.

В той части диалога, где «правильность имен» доказывается путем этимологического анализа, Платон часто шутит, возможно, даже пародирует приемы этимологических разысканий некоторых своих ученых современников, но это не должно означать, что самый принцип этимологического анализа им отвергается. Тот факт, что многие слова в языке произведены от других слов, вполне очевиден не только для нас, он был очевиден также для Платона и его современников. В ряде других диалогов Платона главный их персонаж Сократ прибегает в своих рассуждениях к этимологическим разысканиям, и нет никаких оснований полагать, что он это делает не всерьез.<sup>14</sup> Большую роль толкований слов в философских рассуждениях Платона показал на обширном материале К. И. Клас-сен.<sup>15</sup>

В «Кратиле» немало таких этимологий, которые восхищают своей продуманностью, тонкостью, остроумием. Современные исследователи отмечают, что некоторые из этимологий, предложенных Платоном, достойны серьезного рассмотрения и в настоящее время, а очень многие из его этимологий едва ли уступают тем, которые выдвигались крупными лингвистами еще в прошлом столетии.<sup>16</sup> Это вовсе не значит, что шутливые, пародийные элементы отсутствуют в этимологиях «Кратила», но самого принципа обоснованности и важности этимологического анализа они не компрометируют.

Еще меньше оснований сомневаться в серьезности Платона, когда он говорит о наличии ассоциаций между отдельными звуками и теми или иными свойствами, качествами вещей. Раздел диалога, посвященный этой теме, Платон начинает словами: (425d) «Смешным, я думаю, должно казаться, Гермоген, что из подражания посредством букв и слогов вещи станут для нас совершенно ясными». По верному замечанию Штейнталя, «если бы Платон хотел просто пошутить, то он бы как раз этого не сказал».<sup>17</sup>

Платон говорит о том, что эта теория далеко не все может объяснить, что выведенные им правила «звукового символизма» не всегда в языке соблюдаются, но все это служит лишь дополнительным

---

<sup>14</sup> Haag E. *Platons Kratylos*, S. 26; Goldschmidt V. *Essai sur le «Cratyle»*. Paris, 1940, p. 187, 188, 197, 198; Nehring A. *Plato and the theory of language*, p. 17, 18; Amado-Lévy-Valensi E. *Le problème du «Cratyle»*, p. 19; Levinson R. B. *Language and the Cratylus*. Four Questions. — *Rev. Metaph.* 1957, vol. 11, № 1, p. 34.

<sup>15</sup> Classen C. I. *Sprachliche Deutung als Triebkraft Platonischen und Sokratischen Philosophierens*. München, 1959.

<sup>16</sup> Friedländer P. *Die Platonischen Schriften*, S. 210; Allen W. S. *Ancient ideas of the origin and development of language*, p. 60; Pfeiffer R. *Geschichte der klassischen Philologie*. Reinbek bei Hamburg, 1970, S. 86, 87.

<sup>17</sup> Steinthal H. *Geschichte der Sprachwissenschaft...*, S. 103.

свидетельством очень серьезного отношения Платона к этой теории.<sup>18</sup>

Таким образом, как мы стремились показать, Платон убежден в том, что «позднейшие» слова образованы из «первых» слов, а «первые» возникли на основе ассоциаций между отдельными звуками и теми или иными свойствами вещей. Это, конечно, вовсе не значит, что Платон является последователем теории о «природной связи» между предметом и его наименованием. Слова создаются не богами, а людьми, номотетами-законодателями, а люди могут и ошибаться: (429a) «С о к р а т. Я хочу сказать вот что: случается, что одни живописцы — хуже, а другие — лучше? К р а т и л. Разумеется»; (429b) «С о к р а т. Следовательно, так же и у законодателей: у одних то, что они делают, получается лучше, у других хуже»; (431d) «С о к р а т. Так что и среди имен одни будут хорошо сделаны, а другие — худо. . .»; (436a) «С о к р а т. Ведь ясно, что первый учредитель имен устанавливал их в соответствии с тем, как он постигал вещи. . . Значит, если он постигал их неверно, а установил имена в соответствии с тем, как он их постигал, то что ожидает нас, доверившихся ему и за ним последовавших? Что, кроме заблуждения?»

Слова, создаваемые номотетами-законодателями, представляют собой некое подражание предмету, подобие предмета: (430e) «Ведь имя тоже в некотором роде есть подражание (μίμημα), как и картина. Подражание может быть более совершенным или менее совершенным подобием подлинника, но оно никогда не бывает полностью тождественно подлиннику: (432d) «Да ведь смешные вещи, Кратил, творились бы с именами и вещами, которым принадлежат эти имена, если бы они были во всем друг другу тождественны. Тогда все бы словно раздвоилось, и никто не мог бы сказать, где он сам, а где его имя». Между именем и вещью не существует тождества.

Итак, слова, подобно картинам, могут более или менее точно отображать предмет, который они обозначают. Когда Платон говорит о словах истинных и ложных [(385c) ὄνομα ἀληθές 'истинное имя' и ὄνομα ψευδές 'ложное имя'], то он, по всей вероятности, имеет в виду, с одной стороны, слова, максимально близкие к отображаемым ими предметам, с другой — максимально далекие от них. «Позднейшие» имена, т. е. вторичные, производные слова, восходят по своему происхождению к высказываниям, характеризующим соответствующий предмет. Так, например, (399c) слово ἀνθρώπος 'человек' происходит из высказывания ἀναθρώω ἃ ὅπασε 'сопоставляющий то, что увидел'. Такого рода высказывания могут с разной степенью точности отражать существо предмета, кото-

---

<sup>18</sup> О вполне серьезном и положительном отношении Платона к теории «звукового символизма» см.: Méridier L. Notice, p. 22; Nehring A. Plato and the theory of language, p. 18; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, S. 74,

рый они характеризуют, а отсюда делается вывод, что и слова, образованные из таких высказываний, могут в большей или меньшей мере соответствовать обозначаемому ими предмету. Различной степенью соответствия обозначаемому предмету обладают и «первые». т. е. первичные, производные слова:<sup>19</sup> (431d) «Сократ. Ну а тот, кто подражает сущности вещей с помощью слов и букв? С таким же успехом и он, если отразит все подобающие черты, получит прекрасное изображение, которое и будет именем, если же он какие-то черты опустит, а иной раз и добавит, то, хотя и получится какое-то изображение, оно не будет прекрасным!»

Таким образом, слова уже с самого своего возникновения могут лишь в слабой мере соответствовать обозначаемому им предмету, но и слова, первоначально служившие хорошими отображениями предмета, иногда теряют свои положительные свойства из-за искажений, которым с течением времени подвергается их звуковая форма и их значение:<sup>20</sup> (418a) «Смотри, Гермоген, насколько я прав, когда говорю, что добавленные и отнятые буквы сильно изменили смысл имен, так что чуть перевернешь слово, и его можно заставить означать нечто прямо противоположное»; (418b) «Наше великолепное новое наречие перевернуло вверх ногами значение слов „обязанность“ и „пагуба“, затемнив их смысл; старое же позволяет видеть, что они оба значат»; (418c) «А знаешь ли ты, что лишь старое имя выражает замысел учредителя?».

От начала и до конца диалога Платон утверждает мысль, что слово есть некое подобие предмета, более или менее совершенное отображение предмета. Отстаивая эту мысль, Платон выступает как против Кратила, для которого слово представляет собой полное соответствие предмету, так и против Гермогена, допускающего лишь чисто условную, договорную связь между предметом и его названием.

Уже в самом начале диалога, где Сократ как будто поддерживает мнение Кратила о наличии полного соответствия между предметом и его названием, Сократ говорит лишь о *некоторой* правильности имен: (391a) «... у имени есть какая-то правильность (τινα ὀρθότητα) от природы». Неопределенно-личное местоимение имеет здесь, несомненно, ограничивающее значение.

Но и в конце диалога, где Сократ уже не скрывает своего скептического отношения к позиции Кратила, где он говорит о необходимости допустить также наличие договорной, условной связи между предметом и его названием. Сократ вовсе не отвергает мысль

<sup>19</sup> Méridier L. Notice, p. 29; Allan D. J. The problem of Cratylus. — AJPh, 1954, vol. 75, N 3, p. 282; Robinson D. The theory of names in Plato's Cratylus. — Rev. intern. de philos., 1955, N 32, fasc. 2, p. 229; Lucé J. V. Plato on truth and falsity in names. — The Classical Quarterly (New Ser.), 1969, vol. 19, N 2, p. 224, 225.

<sup>20</sup> Gentinetta P. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten. ... S. 52, 53; Guthrie W. K. C. A history of Greek philosophy. Vol. 3. Cambridge, 1969, p. 208.

о мотивированности наименований, о наличии некоторой внутренней связи между вещью и ее именем. Существует и то, и другое: (435e) «Мне и самому нравится, чтобы имена по возможности были подобны вещам, но, чтобы уж и впрямь не было слишком скользким, как говорит Гермоген, это притягивание подобия, необходимо воспользоваться *и* (*καί*) этим досадным способом — договором — ради правильности имен». Наличие союза «и» имеет здесь важное значение и говорит о многом.

Таким образом, на протяжении всего диалога, используя разную аргументацию, по-разному расставляя акценты, Платон устами Сократа утверждает мысль об отсутствии полного соответствия между предметом и его названием и о наличии некоторой связи, отдаленной и опосредованной, между тем и другим.

Почему Платон так упорно отстаивает эту мысль? Находится ли эта мысль в какой-то связи с основами его мировоззрения?

Наличие такой связи в принципе вовсе не обязательно. Нет ничего недопустимого в том, что Платон в одном из своих произведений разрабатывает частную проблему, не имеющую прямого отношения к его основным философским концепциям. Тем не менее анализ материала показывает, что определенная связь между идеями, отстаиваемыми Платоном в «Кратиле», и основными мировоззренческими установками философа несомненно существует.

Один из персонажей диалога — Гермоген — утверждает мысль о полной произвольности именования: (384d) «Ведь, мне кажется, какое имя кто чему-либо установит, такое и будет правильным. Правда, если он потом установит другое, а тем, прежним, именем больше не станет это называть, то новое имя будет ничуть не менее правильным, нежели старое»; (385e) «Я могу назвать любую вещь одним именем, какое я установил, ты же — другим, какое дал ты».

Отвечая Гермогену, Сократ высказывает мысль, что идеи Гермогена представляют собой вывод из учения Протагора: (385e—386a) «Может быть, тебе и относительно вещей все представляется так же, а именно, что сущности вещей для каждого человека особые, — по слову Протагора, утверждающего, что „мера всех вещей — человек“, и, следовательно, какими мне представляются вещи, такими они и будут для меня, а какими тебе, такими они будут для тебя?» Крайний субъективизм и релятивизм Протагора и некоторых других софистов был глубоко враждебен Платону, и не в последнюю очередь по той причине, что релятивизм в теории мог приводить к мысли об отсутствии общеобязательных норм морали, мог приводить к релятивизму в сфере житейской практики. Исходя из положения о полной относительности и условности всего существующего, всякий желающий мог вывести свое неограниченное право доказывать и делать что угодно, не считаясь абсолютно ни с чем. Против такой теории и такой практики Платон не устал бороться в своих произведениях. С тезисом о полной произвольности именования, о чисто условной связи между предметом и его названием Платон никак согласиться не мог именно в силу яв-

ной связи между этим тезисом и крайним субъективизмом и релятивизмом софистических учений.<sup>21</sup>

Но Платону важно и другое. В «Кратиле» Платон борется также с учением последователей Гераклита, для которых нет принципиального различия между сущностью и явлением, между вещью и ее наименованием. В полемике с Кратилом Платон стремится доказать, что связь между звучанием слова и его значением носит опосредованный, осложненный характер, что полного соответствия между словом и именуемым предметом не существует и существовать не может. «Платону. . . кажется, что воспринимаемые образы по самому своему существу всегда являются лишь несовершенными копиями понятий, но никогда не служат их совершенными изображениями; эти образы схожи с понятиями, но не равны им. Остроумный вывод из этого отношения делает Платон в своей философии языка, изложенной в „Кратиле“. . . Платон. . . вполне серьезно указывает на то, что выражение понятия в языке — слово — может иметь известное сходство с содержанием понятия, но никогда не может передать его во всей его чистоте и полноте».<sup>22</sup>

Такое понимание связи между словом и именуемым предметом находится в полном соответствии с основной философской концепцией Платона, согласно которой чувственно воспринимаемый мир (а язык относится, разумеется, к этому миру) является отдаленным подобием истинно сущего, недоступного для восприятия чувствами, умопостигаемого мира идей. «Между идеей и явлением (*φαινόμενον*) существует то же отношение, что между понятием и восприятием, именно — отношение сходства: при этом идеи считаются реальными первообразами, на которые явления походят, хотя, разумеется, лишь несовершенно. Отношение между явлением и идеей есть, таким образом, п о д р а ж а н и е (*μίμησις*)».<sup>23</sup>

Нет сомнений в том, что соотношение между предметом и его наименованием, с одной стороны, и соотношение между идеей и явлением чувственного мира — с другой, очень сходны между собой, но остается неясным, можно ли говорить о том, что оба эти соотношения имеют одну природу, что соотношение между предметом и его названием есть одно из проявлений общего соотношения между миром идей и миром чувственно воспринимаемым. На наш взгляд, на этот вопрос можно ответить утвердительно. За исключением имен собственных, все остальные слова соотносятся не с единичными предметами, а с классами предметов, с представлением о предмете, с идеей предмета. Платон это прекрасно понимал.

---

<sup>21</sup> Friedländer P. Die Platonischen Schriften, S. 210; Goldschmidt V. Essai sur le «Cratyle», p. 46, 47, 75; Robinson R. The theory of names in Plato's Cratylus, p. 228; Büchner K. Platons Kratylus und die moderne Sprachphilosophie. — In: Büchner K. Studien zur Römischen Literatur. Bd 7. Griechisches und Griechisch-Römisches. Wiesbaden, 1968, S. 102, 108.

<sup>22</sup> Виндельбанд В. Платон. СПб., 1900, с. 77, 78.

<sup>23</sup> Там же, с. 100.



В начале диалога, где Платон еще подходит к проблеме соотношения между звучанием слова и его значением, говорится следующее: (389ab) «С о к р а т. На что обращает внимание столяр, делая челнок? Вероятно, на что-нибудь такое, что самой природой предназначено для ткачества? Г е р м о г е н. Разумеется. С о к р а т. Что же, а если во время работы челнок у него расколется, то, делая новый, станет ли он смотреть на расколовшийся челнок или на тот образ (τὸ εἶδος), по которому он его делал?» Здесь необходимо принять во внимание, что слово τὸ εἶδος служит одним из названий «идеи» у Платона.

Далее: (390e) «... не всякий мастер имен, а только тот, кто обращает внимание на определенное каждой вещи природой имя и может воплотить этот образ (или эту идею τὸ εἶδος, — И. П.) в буквах и слогах».

Ближе к концу диалога мы читаем: (423de) «С о к р а т. Искусство наименования, видимо, связано не с таким подражанием, когда кто-то подражает этим свойствам вещей (Платон имеет здесь в виду внешние свойства вещей: звучание, очертание и т. п., — И. П.). Это дело, с одной стороны, музыки, а с другой — живописи. . . А подражание, о котором мы говорим, что собой представляет? Не кажется ли тебе, что у каждой вещи есть еще и сущность (οὐσία). . . Так что же? Если кто-то мог бы посредством букв и слогов подражать в каждой вещи именно этому, сущности, разве не смог бы он выразить каждую вещь, которая существует? Или это не так? Г е р м о г е н. Разумеется, так».

По Платону, как образом, имя связано с сущностью предмета, с его идеей, и, говоря о соотношении между предметом и его наименованием, Платон имеет в виду соотношение между идеей и явлением чувственного мира.<sup>24</sup>

«„Идея“ противопоставляется у Платона всем ее чувственным аналогам, подобиям и отображениям в мире вещей».<sup>25</sup> «Однако глубокое отличие платоновских „идей“ от одноименных с ними и обусловленных ими чувственных вещей не есть все же совершенный дуализм обоих миров. По Платону, мир чувственных вещей не отсечен от мира „идей“: он стоит в каком-то отношении к миру „идей“. Платон пытается как-то характеризовать это отношение. По его собственному выражению, вещи „причастны идеям“».<sup>26</sup>

Таким образом, мы пришли к выводу, что, вопреки широко распространенному мнению, в «Кратиле» содержится определенная положительная концепция по вопросу о соотношении между предметом и его названием и эта концепция находится в тесной связи с основами мировоззрения Платона. Исследователи Платона в последние годы склоняются к признанию этих фактов. К. Гайзер пишет

<sup>24</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . . , S. 95, 98; Allen W. S. Ancient ideas of the origin and development of language, p. 38; Gaiser K. Name und Sache in Platons «Kratylos», S. 39, 40, 77, 78.

<sup>25</sup> Асмус В. Ф. Платон. М., 1975, с. 39.

<sup>26</sup> Там же, с. 49.

в своей книге о «Кратиле», что различные аспекты диалога связаны «со всей онтологией Платона».<sup>27</sup> Выдающийся советский историк античной философии А. Ф. Лосев в своей оригинальной и глубокой интерпретации «Кратила» исходит из того, что в этом диалоге в полной мере проявилась платоновская концепция объективного идеализма. «Нам кажется, что, постулировав мир объективных идей и сущностей, Платон сразу же столкнулся с огромной сложностью, а часто даже и бессвязностью того, что творится в субъективном сознании и мышлении человека. По-видимому, Платон рано начал чувствовать потребность проанализировать с точки зрения объективного идеализма также всю неразбериху, царящую в человеческом субъекте. Мир идей оставался у него всегда благоустроенным, вечно одним и тем же и вечно прекрасным, в то время как в человеческом субъекте всегда царили сплошная путаница и непостоянство, весьма далекие от столь простого и прозрачного идеального мира. Остается предположить, что в поисках хотя бы каких-нибудь более или менее устойчивых образований в человеческом сознании Платон и натолкнулся на проблему имени, поскольку во всяком имени фиксируется какая-то определенность и какая-то связь с объективной действительностью. . . Под всей этой необычайно разукрашенной этимологической фантастикой кроется у Платона несомненная мысль о том, что все наши интерпретации могут иметь разную степень достоверности, могут быть то ближе к предмету, то дальше от него, но что их субъективное наличие равно ничего не говорит в защиту субъективизма, и, интерпретируя предмет с точки зрения тех или иных его функций, мы вполне остаемся на почве объективной философии, отражая в наших наименованиях пусть не всю сущность, но все же тот или иной ее вполне объективный и реальный аспект».<sup>28</sup>

В предшествующем изложении была сделана попытка показать, что, несмотря на значительные трудности, «Кратил» все же поддается удовлетворительному истолкованию. Тем не менее надо признать, что загадочного в «Кратиле» остается еще немало. Одну из таких трудно разрешимых загадок необходимо рассмотреть обстоятельнее.

В конце диалога Платон приходит к выводу, что слова могут хорошо выполнять свою роль, даже и не будучи подобными обозначаемым ими предметам: (435a) «Выражать вещи могут и подобные и неподобные буквы, случайные, по привычке и договору»; (435b) «Ведь по привычке, видимо, можно выражать вещи как с помощью подобного, так и с помощью неподобного». И все же Платон отдает явное предпочтение тем словам, которые подобны обозначаемым ими предметам: (435e) «Мне и самому нравится, чтобы имена по возможности были подобны вещам. . . Мы, верно, тогда говорили

<sup>27</sup> Gaiser K. Name und Sache in Platons «Kratylos», S. 118.

<sup>28</sup> Лосев А. Ф. Критические замечания к диалогу «Кратил». — В кн.: Платон. Соч. в трех томах. Т. I. М., 1968, с. 599—600.

бы лучшим из всевозможных способов, когда либо все, либо как можно большее число имен были подобными, т. е. подходящими, и хуже всего говорили бы, если бы дело обстояло наоборот». Платон никак не объясняет, почему одни слова он предпочитает другим. Наш повседневный опыт как будто не говорит нам о том, что одни слова лучше удовлетворяют потребности общения, чем другие. Быть может, не следует придавать особого значения этому краткому, вскользь сделанному замечанию в конце диалога «Кратил». Но обращение к другим произведениям Платона убеждает нас в том, что к этой мысли Платон возвращался неоднократно.

Наибольший интерес в этом отношении представляет седьмое письмо Платона, написанное им в последние годы жизни.<sup>29</sup> Если в «Кратиле» Платон утверждает, что слово не может служить для нас источником знаний об именуемом предмете, то в седьмом письме скептическое отношение Платона к языку усиливается настолько, что слово представляется ему неудовлетворительным способом выражения мысли, в особенности глубокой и возвышенной мысли. О том, что составляет важнейший итог его размышлений, Платон пишет в седьмом письме следующее: (341cd) «У меня самого по этим вопросам нет никакой записи и никогда не будет. Это не может быть выражено в словах, как остальные науки; только, если кто постоянно занимается этим делом и слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет, засиявший от искры огня, возникает в душе это сознание и само себя там питает»; (343a) «Поэтому-то всякий, имеющий разум, никогда не осмелится выразить словами то, что явилось плодом его размышления». И тут же Платон указывает на причину своего недоверия к слову: слово связано с обозначением предмета лишь чисто условной, договорной связью: (343b) «Мы утверждаем, что ни в одном из названий всех этих сделанных человеческими руками кругов нет ничего устойчивого и не существует препятствий для того, чтобы называемое сейчас кругом мы называли потом прямым и, наоборот, чтобы прямое было названо круглым; в то же время вещи, называемые то одним, то другим противоположным именем, стойко остаются теми же самими».

Теперь мы ясно видим, что Платон самым серьезным образом относится к своему высказыванию в «Кратиле»: (435e) «Мы, верно, тогда говорили бы лучшим из всевозможных способов, когда либо все, либо как можно большее число имен были подобными вещам». Попытаемся осмыслить и уяснить себе эту позицию Платона.

У Платона было много причин для скептического отношения к языку. Создатель системы объективного идеализма рассматривал человеческую речь как несовершенную уже потому, что она относится к миру чувственно воспринимаемых явлений. Великий мыслитель

---

<sup>29</sup> Galli U. Il problema del linguaggio secondo la VII Epistola platonica. — Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche (serie 8), 1940, vol. 1, fasc. 3, p. 70.

тель и великий художник не мог не чувствовать больших трудностей при воплощении в слове своих глубоких и сложных мыслей. Яркий противник софистов прекрасно видел, что эти люди добиваются всего, к чему стремятся, путем словесных ухищрений, что язык служит для них послушным орудием, выполняя предательскую роль.<sup>30</sup>

(«Софист» 324с) «... не считать ли нам, что и по отношению к речам существует какое-то подобное искусство, с помощью которого можно обольщать молодых людей и тех, кто стоит вдали от истинной сущности вещей, речами, действующими на слух, показывая словесные призраки всего существующего?»; (234d) «... все ложные представления, образованные при помощи речей, всячески опровергаются действительными делами».

Платон-ученый пытался найти «корень зла», заключенный в человеческой речи, и в своих поисках пришел к решению, в соответствии с которым неудовлетворительность языка проистекает от отсутствия достаточного соответствия между словом и обозначаемым им предметом. Искусственность этого решения вполне очевидна, это бесспорное заблуждение Платона, но оно относится к числу тех великих заблуждений, которые заслуживают самого пристального внимания и самого серьезного изучения.

Как мы попытались показать, «Кратил» — в первую очередь сочинение философское, основная проблематика этого диалога относится к сферам гносеологии и онтологии, тем не менее с известным правом «Кратил» можно назвать первым (во всяком случае в истории европейской научной мысли) сочинением по философским проблемам языка.<sup>31</sup> Все предшествующее изложение, как мы полагаем, показывает, что для такого утверждения имеются достаточные основания.

Достижения Платона в области наблюдений над явлениями языка оцениваются по-разному. Вот что пишет по этому поводу А. Ф. Лосев: «Платон тратит значительную часть этого диалога на лингвистику, с нашей теперешней точки зрения смехотворную и совершенно фантастическую, состоящую из упомогающих этимологий, разнообразных и изощренных... Вероятно, эта псевдонаучная лингвистика и была одной из причин крайне малой популярности диалога „Кратил“». <sup>32</sup> Оценка, на наш взгляд, чрезмерно суровая. Разумеется, в «Кратиле» немало наивного, безнадежно устаревшего, давно отброшенного развитием науки, даже фантастического (вспомним хотя бы деление имен на «истинные» и «ложные»), и все же многие мысли, высказанные Платоном в «Кра-

---

<sup>30</sup> Goldschmidt V. Essai sur le «Cratyle», p. 13, 14, 167, 168; Lucie J. V. Plato on truth and falsity in names, p. 231, 232.

<sup>31</sup> См. об этом, в частности: Leroy M. Étymologie et linguistique chez Platon. — Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques, 1968, t. 54, ser. 5, p. 129.

<sup>32</sup> Лосев А. Ф. Статья к диалогу «Кратил», с. 594.

тиле» по поводу различных сторон языка, поражают нас глубиной проникновения в сущность явлений, представляются нам предвосхищением достижений языкознания Нового времени. Правда, в большинстве случаев мы не можем определить, высказывает ли Платон ту или иную мысль впервые или он опирается на наблюдения и выводы, сделанные его предшественниками.

В начале диалога, где Сократ выражает свое решительное несогласие с релятивизмом Протагора, Платон утверждает устами Сократа, что не только (386e) «вещи имеют некую собственную устойчивую сущность», но и (387a) «действия производятся в соответствии со своей собственной природой, а не согласно нашему мнению». Поскольку создание слов является неким действием, то и (387d) «давать имена нужно так, как в соответствии с природой следует давать и получать имена, и с помощью того, что для этого природой предназначено». Платон приходит к мысли о том, что создание новых слов есть закономерный процесс, происходящий в соответствии с определенными правилами.

Основной аргумент тех людей, которые не принимают этого положения, состоит в том, что одно и то же значение часто передается словами, резко различающимися по своему звучанию. Платон показывает, что различные по звучанию слова могут иметь общим между собой не только значение, но и то, что в современном языкознании называется внутренней формой слова. Платон называет ее идеей имени, образом имени: (389de) «И если не каждый законодатель воплощает имя в одних и тех же слогах, это не должно вызывать у нас недоумения. Ведь и не всякий кузнец воплощает одно и то же орудие в одном и том же железе: он делает одно и то же орудие для одной и той же цели; и пока он воссоздает один и тот же образ (τὴν αὐτὴν ἰδέαν), пусть в другом железе, это орудие будет правильным, сделает ли его кто-то здесь или у варваров»; (390a) «Следовательно, ты так же судишь и о законодателе, будь он здешний или из варваров. Пока он воссоздает образ имени (τὸ τοῦ ὀνόματος εἶδος), подобающий каждой вещи, в каких бы то ни было слогах, то ничуть не хуже будет здешний законодатель, чем где-нибудь еще».

Открытие внутренней формы слова принадлежит к числу самых замечательных достижений Платона в области наблюдений над явлениями языка.

Платон знает уже и то, что с течением времени внутренняя форма слова может затемниться, происходит процесс, который современные лингвисты называют дестимологизацией: (397d) «Мне представляется, что первые из людей, населявших Элладу, почитали тех богов, каких и теперь еще почитают многие варвары: Солнце, Луну, Землю, Звезды, Небо. И поскольку они видели, что все это всегда бежит, совершая круговорот, то от этой-то природы бега (θεῖν ‘бежать’) им и дали имена богов (θεοί). Позднее же, когда они узнали всех других богов, они стали их ведичать уже этим готовым именем». Самое важное, что мы можем извлечь

из этого фрагмента, чрезвычайно интересного во многих отношениях, заключается в том, что Платон признает возможность изменения первоначального значения слова и, как следствие этого, неизбежный сдвиг в соотношении между вещью и ее наименованием. С течением времени многие слова меняют свое значение.

Но изменения возможны не только в области значения, они происходят также в сфере звуковой формы слова: (414c) «Разве ты не знаешь, что имена, присвоенные первоначально, уже давно погребены под грудой приставленных и отнятых букв».

Конечно, Платон еще очень далек от того, чтобы устанавливать какие-либо закономерности в области изменения значений слов и в области изменения звуковой формы, он допускает здесь метаморфозы, порой самые произвольные, и приходит к этимологиям, часто совершенно фантастическим; все же установление самого факта смысловых и формальных изменений слов и учет этих изменений в процессе исследования безусловно должно рассматривать как серьезную заслугу Платона.

Платон сознает, что анализ слова может быть более плодотворным, если обратиться к тем формам соответствующего слова, которые засвидетельствованы в древних письменных памятниках: (398d) «Так что если и на это имя ты посмотришь с точки зрения древнего аттического наречия, то скорее сможешь его понять». Для своих этимологических изысканий Платон привлекает слова из различных греческих диалектов, при этом он учитывает, что в одном диалекте слово может сохранить более древнюю звуковую форму, чем в других диалектах. В этой области Платон приходит порой к заключениям, поразительно точным, подтверждаемым и современной наукой. Так, рассматривая вопрос о происхождении слова ἥλιος 'солнце', Платон говорит: (409a) «Итак, сдается мне, нам станет это яснее, если мы воспользуемся дорийским его именем. Ведь дорийцы называют солнце ἄλιος». Платон вполне прав: дорийское ἄλιος отражает более древний облик этого слова, чем аттическое ἥλιος. Пришел ли Платон к этому верному выводу чисто случайно или опираясь на какие-то наблюдения, на этот вопрос мы не можем ответить.

Трудности выявления внутренней формы слова нередко бывают связаны с тем, пишет Платон, что слово не является исконно греческим, а представляет собой заимствование из другого языка: (409de) «Мне пришло в голову, что многие имена эллины заимствовали у варваров, особенно же те эллины, что живут под их властью. . . Если кто-нибудь возьмется исследовать, насколько подобающим образом эти имена установлены, исходя из эллинского языка, а не из того, из которого они, как оказывается, взяты, то понятно, что он встанет в тупик».

Большой заслугой Платона перед наукой о языке является предложенное им разграничение слов на две категории: на первичные, непроезводные слова (πρῶτα ὀνόματα) и на слова вторичные, производные (ὑστερα ὀνόματα). У нас нет данных, которые

свидетельствовали бы о том, что это разграничение было предложено кем-то ранее Платона.

Платон<sup>33</sup> был, по-видимому, первым, кто высказал идеи об ассоциациях между отдельными звуками и теми или иными качествами, свойствами вещей. В 20—30-х годах нашего века предпринимались попытки выявить источник, из которого Платон заимствовал эти идеи.<sup>33</sup> К убедительным результатам эти попытки не привели. В последние десятилетия исследователи склоняются к признанию приоритета Платона в этой области.<sup>34</sup> Хорошо известно, с каким вниманием относились к звуковому символизму многие выдающиеся языковеды XIX и XX вв. Проблемы звукового символизма интенсивно разрабатываются современной психолингвистикой.

Диалог «Кратил» — основной источник сведений о взглядах Платона на язык. Отдельные высказывания о тех или иных явлениях языка встречаются и в других произведениях Платона, но ни в одном из прочих произведений Платона они не занимают большого места, в этом отношении ни один из других диалогов Платона не может быть даже отдаленно сопоставлен с «Кратилом».

Значительный интерес представляют высказывания Платона о соотношении между мыслью и речью в диалогах «Теэтет» и «Софист» (по господствующему мнению, написанных после «Кратила») и содержащиеся в этих же диалогах суждения Платона о некоторых явлениях, которые с известным правом можно отнести к области грамматики.

В «Теэтете» и «Софисте» Платон многократно возвращается к утверждению о полном тождестве между мыслью и ее словесным выражением. Единственное отличие Платон усматривает в том, что словесное выражение сопровождается звучанием. (Теэтет 190a) «...мнение (δῶξα) — это словесное выражение (λόγος εἰρημένος), но без участия голоса и обращенное не к кому-то другому, а к самому себе, молча»; (Теэтет 206d) «...мнение (δῶξα), как в зеркале или в воде, отражается в потоке, изливающимся из уст»; (Софист 263e) «Итак, мысль (διάνοια) и речь (λόγος) одно и то же, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением».

Утверждение о полном тождестве между мыслью и речью как будто вступает в противоречие с высказыванием Платона в седьмом письме, где он говорит о невозможности передать в словах важнейшие итоги своих размышлений. Правда, в этом письме Платон говорит не о мыслях вообще, а об особо значительных, возвышенных и глубоких мыслях; все же некоторое несоответствие

<sup>33</sup> Philippson R. Platons Kratylus und Demokrit. — PhW, 1929, Bd 49, S. 923 sqq.; Haag E. Platons Kratylus. . . , passim; Тронский И. М. 1) Проблемы языка в античной науке, с. 17, 20; 2) Из истории античного языкознания, с. 35 и след.

<sup>34</sup> См., в частности: Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957, S. 74.

остается, и Платон, насколько мы можем судить, нигде не делает попытки разобраться в этом и устранить противоречие.<sup>35</sup>

Итак, Платон упорно настаивает в диалогах «Теэтет» и «Софист» на полном тождестве между мыслью и речью. Из дальнейшего изложения в этих диалогах становится ясным, почему это так важно для Платона.

Установление полного тождества между мыслью и речью позволяет Платону делать выводы о мышлении, недоступном для непосредственного наблюдения, исходя из речи, вполне доступной для наблюдения и анализа. Речь интересует здесь Платона лишь как обнаружение мысли, как звучащая мысль: (Софист 264ab) «Таким образом, если речь бывает истинной и ложной и среди этого мышления явилось нам как беседа души с самой собой, мнение же — как завершение мышления. . . то необходимо, чтобы и из всего этого, как родственного речи, кое-что также иногда было ложным».

Если в «Кратиле» речь шла об отдельном слове, то в диалогах «Теэтет» и «Софист» Платон подходит к проблеме предложения и составляющих его компонентов: (Софист 262cd) «Чужеземец. Когда кто-нибудь произносит „человек учится“, то не скажешь ли ты, что это — самая маленькая и простая речь (λόγος)? Теэтет. Да. Чужеземец. Ведь в этом случае он сообщает о существующем или происходящем, или происшедшем, или будущем и не только произносит наименование (ὀνομάζει), но и достигает (περαίνει) чего-то».

В приведенном переводе<sup>36</sup> περαίνει передается как «достигает». Глагол περαίνειν имеет много значений (*осуществлять, совершать, выполнять, доводить до конца, заканчивать, продолжать, достигать, делать вывод, ограничивать, определять* и т. д.), и трудно сказать, какое из этих значений Платон имел в виду в данном случае, но одно совершенно ясно: Платон стремился подчеркнуть, что существует принципиальная разница между тем, что сообщает слово, и тем, что сообщает «самая маленькая речь» — предложение. Приведенный фрагмент позволяет нам также убедиться в том, что никакого специального термина для понятия «предложение» у Платона нет.

В диалогах «Теэтет» и «Софист» Платон многократно указывает на то, что высказывание (даже самое краткое) представляет собой сложное, составное целое, выступает как соединение двух компонентов, один из которых он называет ὄνομα, другой — ῥήμα. Продолжим фрагмент, приведенный выше (Софист 262cd): «Ведь в этом случае он . . . не только произносит наименование, но и достигает чего-то, сплетая ὀνόματα (форма мн. ч. от ὄνομα) и ῥήματα

<sup>35</sup> Partee M. H. Plato's theory of language. — FL, 1972, vol. 8, N 1, p. 117.

<sup>36</sup> Платон. Соч. в трех томах. Т. 2. М., 1970, с. 390.



(мн. ч. от ῥῆμα)». Высказывать нечто — значит (Теэтет 206d) «выражать свою мысль посредством звуков с помощью ῥήματα и ὀνόματα».

Вопросу о том, какое значение у Платона имеют слова ὄνομα, ῥῆμα, λόγος, посвящена обширная научная литература. Особенно интенсивно этот вопрос разрабатывался во второй половине прошлого века.

Уже в «Кратиле» слова ὄνομα и ῥῆμα встречаются несколько раз. Под ὄνομα Платон понимал здесь либо всякое слово вообще,<sup>37</sup> либо всякое знаменательное слово.<sup>38</sup> Относительно того, какое значение имеет слово ῥῆμα в «Кратиле», существуют разные мнения, тем не менее не вызывает сомнения тот факт, что ῥῆμα означает в этом диалоге по преимуществу 'словосочетание'.<sup>39</sup> Так, например, ῥῆμα применяется по отношению к словосочетанию Δι' φίλος 'милый Зевсу' (399a), это же слово используется и тогда, когда говорится о словосочетании ἀναδρῶν ἃ ὅπασε 'сопоставляющий то, что увидел' (399c). Нельзя исключить и того, что речь здесь идет не просто о словосочетании, но о словосочетании, выступающем в предикативной функции.<sup>40</sup>

В иных значениях выступают слова ὄνομα и ῥῆμα в более позднем диалоге Платона «Софист»: (261e—262ac) «Ч у ж е з е м е ц . . . у нас ведь есть двоякий род выражения бытия с помощью голоса. Те э т е т. Как? Ч у ж е з е м е ц. Один называется ὀνόματα, другой — ῥήματα. Те э т е т. Расскажи о каждом из них. Ч у ж е з е м е ц. Обозначение действий мы называем ῥῆμα. Те э т е т. Да. Ч у ж е з е м е ц. Обозначение с помощью голоса, относящееся к тому, что производит действие, мы называем ὄνομα. Те э т е т. Именно так. Ч у ж е з е м е ц. Но из одних ὀνόματα, последовательно произнесенных, никогда не образуется речь (λόγος), так же как и из ῥήματα, произнесенных без ὀνόματα. . . Ч у ж е з е м е ц. Возьми, например, «идет», «бежит», «спит» и все прочие слова, обозначающие действие: если кто-нибудь пересказал бы их по порядку, то этим он вовсе не составил бы речи. Те э т е т. Да и как он мог бы составить? Ч у ж е з е м е ц. Таким образом, если произносится «лев», «олень», «лошадь» и любые другие слова, обозначающие все, что производит действие, то и из их чередования не возникает речь».

На первый взгляд кажется бесспорным, что ὄνομα означает в этом фрагменте 'имя', а ῥῆμα 'глагол'. Но анализ текста, который следует за этим фрагментом, побуждает нас осмыслить зна-

<sup>37</sup> Benfey Th. Über die Aufgabe des platonischen Dialogs: Kratylos. — Abhandlungen der historisch-philologischen Classe der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1866, Bd 12, S. 325, 326.

<sup>38</sup> Uphues K. Die Definition des Satzes nach den Platonischen Dialogen Kratylos, Theaetet, Sophistes. Landsberg a./W., 1882, S. 5 sqq.

<sup>39</sup> Benfey Th. Über die Aufgabe des platonischen Dialogs. . . , S. 326; Steintal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . . , S. 138.

<sup>40</sup> Uphues K. Die Definition des Satzes. . . , S. 15 sqq.

чения этих слов по-иному. Из дальнейшего изложения становится ясным, что все эти рассуждения нужны Платону только для того, чтобы вывести заключение о двух типах высказываний: о высказываниях истинных и высказываниях ложных: (Софист 262e—263ab) «Ч у ж е з е м е ц. Я тебе произнесу речь, соединив предмет с действием через посредство *ὄνομα* и *ῥῆμα*; ты же скажи мне, о чем будет речь. Т е э т е т. Так и будет, по мере возможности. Ч у ж е з е м е ц. «Теэтет сидит». Эта речь (*λόγος*), конечно, не длинная? Т е э т е т. Нет, напротив, в меру. Ч у ж е з е м е ц. Твое дело теперь сказать, о ком она и к кому относится. Т е э т е т. Очевидно, что обо мне и ко мне. Ч у ж е з е м е ц. А как вот эта? Т е э т е т. Какая? Ч у ж е з е м е ц: «Теэтет, с которым я теперь беседую, летит». Т е э т е т. И относительно этой речи едва ли кто скажет иначе; она обо мне и касается меня. Ч у ж е з е м е ц. Мы утверждаем, что всякая речь (*λόγος*) необходимо должна быть какого-то качества. Т е э т е т. Да. Ч у ж е з е м е ц. Какого же качества должно теперь считать каждую из этих двух? Т е э т е т. Одну истинной, другую ложной. Ч у ж е з е м е ц. Из них истинная высказывает о тебе существующее, как оно есть. Т е э т е т. Конечно. Ч у ж е з е м е ц. Ложная же — это нечто другое, чем существующее. Т е э т е т. Да. Ч у ж е з е м е ц. Она говорит поэтому о несуществующем как о существующем. Т е э т е т. Похоже, что так. Ч у ж е з е м е ц. По крайней мере о существующем, отличным от существующего, которое должно быть высказано о тебе».

(263d) «Ч у ж е з е м е ц. Если, таким образом, о тебе говорится иное как тождественное, несуществующее — как существующее, то совершенно очевидно, что подобное сочетание, возникающее из *ῥῆματα* и *ὀνόματα*, оказывается поистине и на самом деле ложной речью (*λόγος*)».

(264d) «Теперь... обнаружилось, что существует ложная речь (*λόγος*) и ложное мнение (*δόξα*)...».

Как становится вполне ясным из приведенных фрагментов, для Платона важно только одно — установить, что высказывание может быть ложным. Выбор предложения с глагольным сказуемым «Теэтет летит» в данной связи принципиального значения не имеет, ложным может быть и высказывание с именным сказуемым, например «Теэтет черный». В этом контексте под словом *ῥῆμα* по существу понимается сказуемое, а не глагол. Более того, рассуждение о ложном высказывании приводится Платоном только с той целью, чтобы вывести заключение о возможности существования ложного мнения, ложного суждения. Вспомним фрагмент, приведенный выше: (Софист 264ab) «Таким образом, если речь (*λόγος*) бывает истинной и ложной и среди этого мышление (*διάνοια*) явилось нам как беседа души с самой собою, мнение (*δόξα*) же — как завершение мышления... то необходимо, чтобы и из всего этого, как родственного речи (*λόγος*), кое-что также иногда было ложным». Нет никаких сомнений, что высказывание «Теэтет летит» в этом контексте выступает не столько как предложе-

ние, сколько как словесное выражение суждения, а это значит, что слово ῥῆμα осмысливается здесь как словесное выражение предиката суждения.

Выше уже говорилось, что речь интересует Платона лишь постольку, поскольку она служит обнаружением мысли, поскольку анализ высказывания позволяет делать выводы о мышлении, недоступном для непосредственного наблюдения. Следует ли из этого, что значения слов ὄνομα, ῥῆμα, λόγος относятся к сфере чисто логической? К утвердительному ответу на этот вопрос склоняется Штейнталь. На его взгляд, ὄνομα и ῥῆμα выступают в «Софисте» не как грамматические термины, а как слова, относящиеся, по его терминологии, к сфере диалектики. «Эти слова не обозначают существительного и глагола, не обозначают они также подлежащего и сказуемого, эти слова вообще не имеют грамматического значения. Ибо весь дух исследования, в котором эти слова выступают, — это дух диалектики, и слова эти имеют диалектическое значение: λόγος есть суждение». <sup>41</sup> «Вполне ясно, что у Платона речь идет только о мышлении, но совсем не о языке». <sup>42</sup>

С этим мнением Штейнталья едва ли можно полностью согласиться. Слово λόγος, по-видимому, нигде у Платона не означает суждения как чисто мыслительной категории, в этом последнем значении у него обычно выступает слово δόξα; <sup>43</sup> λόγος означает 'речь', 'высказывание', «самый маленький и простой λόγος» — 'предложение'. Чисто мыслительных категорий не обозначают также ὄνομα и ῥῆμα, они всегда неразрывно связаны с обозначением словесного выражения.

Внимательный анализ употребления этих слов в диалоге «Софист» позволяет нам прийти к следующему заключению: λόγος («самый маленький и простой λόγος») означает здесь в первую очередь 'словесное выражение суждения', а поскольку словесное выражение суждения всегда есть предложение, то λόγος («самый маленький и простой») означает 'предложение'; ὄνομα — 'словесное выражение субъекта суждения', ῥῆμα — 'словесное выражение предиката суждения', поскольку же субъект суждения выступает как подлежащее предложения, а предикат суждения — как сказуемое, то ὄνομα означает также 'подлежащее', ῥῆμα — 'сказуемое', и, наконец, так как в роли подлежащего обычно используется имя, а в роли сказуемого чаще всего — глагол, то ὄνομα и ῥῆμα означают также соответственно 'имя' и 'глагол'. В значениях слов λόγος, ὄνομα, ῥῆμα в «Софисте» логические и грамматические моменты слиты воедино, в словах ὄνομα и ῥῆμα, кроме того, синтаксический аспект не ограничен от морфологического.

Если историки языкознания указывают на то, что грамматика у Платона не отделена сколько-нибудь отчетливо от логики, то

<sup>41</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . . , S. 141.

<sup>42</sup> Ibid., p. 143.

<sup>43</sup> Uphues K. Die Definition des Satzes. . . , S. 65.

историки философии выражают свою неудовлетворенность тем, что логика Платона находится в чрезмерной зависимости от грамматики.<sup>44</sup> Но, по справедливому замечанию Гоффмана, нельзя «требовать „чистой“ логики от диалога (имеется в виду «Софист», — *И. П.*), в котором вообще лишь предпринимается попытка создать логику».<sup>45</sup> Мы находимся здесь у самых истоков формирования первоначальных представлений, относящихся как к области логики, так и к области грамматики. При этом необходимо учитывать, что логика и грамматика выступают здесь не на равных правах; основные импульсы к исследованию, предпринятому в «Софисте», порождены задачами логического порядка, язык предоставляет лишь материал для решения этих задач. «Потребности логического учения о субъекте и предикате заставили Платона обратить внимание на противопоставление имени и глагола».<sup>46</sup>

Исходя из представления о полном тождестве языка и мышления, Платон анализирует явления языка с тем, чтобы вывести заключение о недоступном для непосредственного наблюдения мышлении. Подход Платона к языку носит сугубо смысловой, функциональный характер, формальная сторона языковых явлений не вызывает у него никакого интереса. Разграничение между именем и глаголом Платон производит на основании логико-синтаксических критериев; нигде Платон не делает попытки опереться при выделении классов слов на формальные признаки, хотя в греческом языке формальные различия между классами слов выражены очень отчетливо.<sup>47</sup> Ни в одном сочинении Платона мы не найдем никаких указаний на изменения формы слова в процессе склонения или спряжения.<sup>48</sup> Пожалуй, еще примечательнее то, что Платон нигде не упоминает о различиях между именами по роду, хотя, как твердо установлено, о существовании этих различий грекам было известно задолго до Платона.<sup>49</sup>

Почти полное отсутствие интереса Платон проявляет не только к формально-грамматическим явлениям, но и к звуковому строю языка. Если исключить очень значительное по содержанию рассуждение в «Кратиле» об ассоциациях между отдельными звуками и теми или иными качествами вещей, то остаются лишь немногочисленные и краткие замечания о классификации звуков речи и о слоге. Характерно, что к рассмотрению звукового строя речи

---

<sup>44</sup> См., в частности: N a t o r p P. Platons Ideenlehre. 2. Aufl. Leipzig, 1922, S. 293.

<sup>45</sup> H o f f m a n n E. Die Sprache und die archaische Logik. Tübingen, 1925, S. 37.

<sup>46</sup> Т р о н с к и й И. М. Основы стоической грамматики. — В кн.: Романо-германская филология. Сб. статей в честь акад. В. Ф. Шишмарева. Л., 1957, с. 308.

<sup>47</sup> U p h u e s K. Die Definition des Satzes. . . , S. 56; R o b i n s R. H. Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe. London, 1951, p. 17, 18.

<sup>48</sup> S t e i n t h a l H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . . , S. 130.

<sup>49</sup> D e u s c h l e J. Die platonische Sprachphilosophie. Marburg, 1852, S. 16.

Платон обращается обычно лишь тогда, когда ему надо привести простой и наглядный пример, позволяющий прояснить сложную мысль, никакого отношения к звукам речи и к языку вообще не имеющую. Чисто прикладную, служебную роль выполняют рассуждения о звуковом строе речи, в частности, в «Теэтете» (203а—е), в «Филебе» (18bc). Так, во втором из указанных диалогов высказывание Сократа о звуках речи предваряется словами: «Снова в пояснение к сказанному возьмем буквы».

Для обозначения звуков речи Платон пользуется двумя словами: *στοιχεῖα* (слово это значит также 'первоначало, элемент'; как соотносятся между собой различные значения этого слова, какое из этих значений следует признать первоначальным, остается неясным)<sup>50</sup> и *γράμματα* 'буквы' от *γράφω* 'писать'). Оба названия выступают, по-видимому, как вполне равнозначные. Представление о полном соответствии между буквой и звуком речи остается неизблемым, несмотря на то что некоторые буквы греческого алфавита обозначают сочетание двух звуков (ξ 'кси', ψ 'пси').<sup>51</sup>

Звуки речи или «буквы» Платон подразделяет на три группы (Кратил 424c, Филеб 18bc), он выделяет гласные звуки (*φωνήεντα*), гласным он противопоставляет безгласные и беззвучные (*τὰ τὲ ἀφωνα καὶ ἄφθογγα*), между этими двумя группами звуков расположены (Кратил 424c) звуки «безгласные, но не беззвучные» (*τὰ αὖ φωνήεντα μὲν οὐ, οὐ μέντοι γὰρ ἄφθογγα*) или, в иной формулировке, («Филеб» 18c) «не причастные к голосу, но причастные к некоему звучанию» (*φωνῆς μὲν οὐ, φθόγγου δὲ μετέχοντά τινας*); эти же звуки Платон называет (Филеб 18c) «средними» (*τὰ μέσα*). В качестве примеров, поясняющих эту классификацию, Платон приводит только две «буквы» (Теэтет 203b): сигму как безгласную, но представляющую собой некий шум (*ψόφος*), и бету — безгласную и бесшумную. Как распределяются между указанными тремя группами остальные звуки речи, об этом мы из сочинений Платона ничего не узнаем. Трудно признать удовлетворительным то определение, которое Платон дает согласным звукам, называя их «безгласными и беззвучными»; невозможно понять, как такого рода «безгласные и беззвучные» звуки становятся доступными для восприятия. Приведенная классификация звуков речи явно не изобретена Платоном, она заимствована им у «знатоков этого дела», как указывает сам Платон (Кратил 424c).

К рассмотрению слога Платон обращается в тех случаях, когда он хочет обосновать мысль, что единое целое представляет собой не простое соединение составляющих его частей, а качественно новое образование; слог служит для Платона наглядным примером, иллюстрирующим эту мысль: («Теэтет» 203e) «Ведь, пожалуй, следовало бы за слог принять не [совокупность] первоначал (*στοιχεῖα*), а возникающий из них один образ, имеющий свою

<sup>50</sup> Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie, S. 85.

<sup>51</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 11.

собственную единую идею, отличную от первоначал»; (Теэтет 204а) «И как мы только что сказали, пусть одна возникшая из сложения отдельных первоначал идея и будет слогом, как в буквах, так и во всем прочем».

Слог, по Платону, всегда состоит из двух или нескольких звуков; Платону еще совершенно чуждо представление о том, что слог может быть образован одним гласным звуком.

Платон различает острые (высокие), т. е. ударные слоги и тяжелые (низкие), т. е. неударные слоги (Кратил 399b; Теэтет 163c), но различия между двумя видами ударения (в позднейшей терминологии «острое» и «облеченное» ударение) он еще, по-видимому, не проводит, во всяком случае терминологически оба вида ударения у него не разграничены.<sup>52</sup>

По всей вероятности, в область изучения звукового строя языка Платон не внес самостоятельного вклада. Выше уже говорилось о том, что Платон не проявлял интереса к формальной стороне грамматических явлений. Тем не менее мы вправе говорить об очень большом значении наследия Платона для науки о языке. Обилие интереснейших наблюдений и мыслей, во многом предвосхищающих достижения языкознания Нового времени, поражает современных читателей «Кратила». В качестве особой заслуги Платона следует отметить тот факт, что Платон, по-видимому, впервые разграничил два компонента высказывания (*ὄνομα* и *ῥῆμα*). Хотя это разграничение не имело еще у Платона чисто грамматического значения, позднее оно получило новое осмысление и послужило основой для исследований уже собственно грамматических.

## АРИСТОТЕЛЬ

В огромном наследии Аристотеля (384—322 гг. до н. э.), в котором нашли отражение и получили развитие почти все отрасли современной ему науки, нет ни одного сочинения, посвященного целиком или в основных своих частях изучению проблем языка. Ко времени Аристотеля язык не стал еще предметом особой научной дисциплины. Различные высказывания Аристотеля о тех или иных языковых явлениях встречаются во многих его сочинениях, но стройной системы взглядов эти высказывания не образуют, порой их очень трудно согласовать между собой. Наибольшее значение имеют те высказывания Аристотеля о языке, которые заключены в его исследованиях о суждении, о видах умозаключения и научном доказательстве (т. е. в исследованиях проблем науки логики), а также в его сочинениях, посвященных словесным искусствам.<sup>1</sup>

<sup>52</sup> Т р о н с к и й И. М. Древнегреческое ударение. М.—Л., 1962, с. 31.

<sup>1</sup> K r o l l W. Geschichte der klassischen Philologie. 2. Aufl. Berlin—Leipzig, 1919, S. 8; Т р о н с к и й И. М. Проблемы языка в античной науке. — В кн.: Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 21; М с К е о н R.

В великом споре по вопросу о естественной или условной связи между предметом и его наименованием Аристотель неизменно занимает вполне определенную позицию: он твердый сторонник точки зрения об условной связи и наиболее последовательный противник теории, утверждающей естественную связь между вещью и ее именем.<sup>2</sup>

«Имя есть звук, наделенный значением в соответствии с соглашением» (Аристотель. Об истолковании 2, 1); «В именах нет ничего от природы, [имя получает значение] лишь тогда, когда становится символом» (там же 2, 3). Связь между предметом и его наименованием не является, по мнению Аристотеля, прямой и непосредственной, посредствующим звеном в этой связи служит представление о предмете в сознании человека. «[Слова], выражаемые звуками, есть символы представлений в душе, а письменна — символы слов. 3. И подобно тому, как письменна не у всех одни и те же, так и звучания слов не одни и те же; но то, непосредственными знаками чего служат слова, а именно представления в душе, одинаково у всех, точно так же как одинаковы и предметы, ближайшими отражениями которых служат представления в душе» (там же, 1, 2).

Итак, не только связь между предметом и его наименованием, но даже связь между словом и тем представлением, которому оно соответствует, столь же условна, как связь между звуками и отображающими их письменами. «В именах нет ничего от природы», а это значит, что слово не может в большей или меньшей степени соответствовать обозначаемому им предмету, слово не может быть более или менее истинным, более или менее ложным. Слово само по себе не может быть ни истинным, ни ложным; истина и ложь возникают лишь тогда, когда слова соединяются между собой: «Имена же сами по себе и глаголы подобны мысли без соединения или разъединения, например, «человек» или «белое»; пока ничего не прибавляется, такое слово не ложно и не истинно, хотя и обозначает нечто; ведь слово *τραγέλαφος* ('олень —

---

Aristotle's conception of language and the arts of language. — *Classical Philology*, 1946, vol. 41, N 4, p. 198 sqq; Morpurgo-Tagliabue G. La linguistica di Aristotele e il XX capitolo della Poetica. — *Athenaeum* (N. S.), 1966, vol. 44, fasc. 3/4, p. 261; Robins R. H. 1) The development of the word class system of the European grammatical tradition. — *Foundations of Language*, 1966, vol. 2, N 1, p. 8; 2) A short history of linguistics. London, 1967, p. 15, 26; Pfeiffer R. *Geschichte der klassischen Philologie*. Reinbek bei Hamburg, 1970, S. 102 sqq.

<sup>2</sup> Hoffmann E. *Die Sprache und die archaische Logik*. Tübingen, 1925, S. 70; Тронский И. М. *Проблемы языка в античной науке*, с. 21; Allen W. S. *Ancient ideas of the origin and development of language*. — *TPhS* (1948). London, 1949, p. 41; Coseriu E. *L'arbitraire du Signe*. Zur Spätgeschichte eines aristotelischen Begriffes. — *Arch. für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen*, 1967, Bd 204, Jg. 119, H. 2, S. 87; Robins R. H. *A short history of linguistics*, p. 19; Pfeiffer R. *Geschichte der klassischen Philologie*, S. 105; Larkin M. T. *Language in the philosophy of Aristotle*. The Hague—Paris, 1971, p. 10 sqq.

козел') тоже обозначает нечто, но оно до тех пор не истинно или ложно, пока не присоединено к нему существование или несуществование, притом безусловное или временное» (Аристотель. Об истолковании 1, 5).

Для тех людей, которые стремились доказать, что слово отражает сущность обозначаемого им предмета, важнейшим исследовательским приемом было разложение слова на части, которые сами по себе наделены значением (этот прием нам хорошо известен из диалога Платона «Кратил»). Аристотель хочет с самого начала отрезать все пути для такого анализа; по его твердому убеждению, никакая часть никакого слова не может иметь самостоятельного значения: «Имя есть звук, наделенный значением в соответствии с соглашением. . . , никакая отдельная часть которого [звука] не наделена значением» (Аристотель. Об истолковании 1, 5); «Глагол есть [слово], которое обозначает еще и время, никакая часть которого [слова] в отдельности не наделена значением» (там же 3, 1).

Но тут перед Аристотелем встает трудная проблема: как быть со словами, отдельные части которых явно имеют самостоятельное значение, а именно со сложными словами. Аристотель никоим образом не хочет отступать от своего принципа, согласно которому никакая часть никакого слова не имеет самостоятельного значения. Признать возможность исключения из указанного правила значило для Аристотеля ослабить свои позиции и предоставить своим противникам удобные лазейки. Для того чтобы доказать свою правоту, Аристотель приводит такие сложные существительные, которые выступают в качестве имен собственных.

«В [имени] Каллипп (*Κάλλιππος*) («красиво — лошадь») «лошадь» (*ἵππος*) само по себе ничего не значит, не так, как в высказывании «красивая лошадь» (*καλὸς ἵππος*)» (Аристотель. Об истолковании 2, 2), «Ведь в сложных именах мы не придаем самостоятельного значения отдельной части, так в [имени] Теодор (*Θεόδωρος* 'Богдар') *δῶρος* 'дар' не имеет самостоятельного значения» (Аристотель. Поэтика 20, 8).

Здесь с Аристотелем трудно согласиться: сложные слова типа Каллипп или Теодор ничего доказать не могут, имена собственные функционируют по своим особым законам; не только части сложного слова имени собственного, но также и простые слова, выступающие в роли собственного имени, утрачивают свое первоначальное значение. Аргументация Аристотеля здесь явно неудовлетворительна,<sup>3</sup> тем не менее мы хорошо понимаем внутренний смысл этих рассуждений — цель у Аристотеля благая: и во времена Аристотеля, и на протяжении многих веков после него бесплодное этимологизирование играло глубоко отрицатель-

<sup>3</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. T. 1. Berlin, 1890, S. 262; Pagliaro A. Il capitolo linguistico della Poetica di Aristotele. — Ricerche linguistiche, 1954, N 3, p. 20.



ную роль, уводило людей от поиска подлинных путей познания истины.

Этимологизирование было тесно связано с теорией звукоподражания, в основе которой лежало представление о том, что звуки языка изначально были воспроизведением естественных природных звуков; таким путем также утверждалась мысль о природной, естественной связи между явлениями объективного мира и их наименованиями. Как последовательный противник «естественной» теории Аристотель подчеркивает принципиальное различие между природными звуками и звуками человеческой речи: «Выражают нечто и нечленораздельные звуки, как например звуки, производимые животными, но ни один из этих звуков не есть слово» (Аристотель. Об истолковании 2, 3).

Итак, позиция Аристотеля вполне ясна и определена: связь между предметом и его наименованием носит сугубо условный, «договорной» характер, в этой связи нет ничего, идущего от природы.

Условный характер связи между словом и тем, что оно обозначает, по мнению Аристотеля, нисколько не препятствует языку выполнять функцию сообщения мысли. Мы не найдем нигде у Аристотеля пессимистических высказываний о беспомощности человеческого языка, о его неспособности выразить мысль во всей ее полноте — высказываний, подобных тем, какие можно прочитать у Платона в его седьмом письме. Аристотель убежден, что в общем и целом речь вполне адекватно передает мысль и служит надежным средством общения между людьми. С теми из своих предшественников и современников, которые, подобно Горгию, полагают, что мысль и язык разделены непреодолимой пропастью, Аристотель вступает в прямую полемику: «Вопреки мнению некоторых нет различия между доказательствами, относящимися к слову, и доказательствами, относящимися к мысли. Нелепо полагать, что доказательства, относящиеся к слову, и доказательства, относящиеся к мысли, не одни и те же, а разные» (Аристотель. О софистических опровержениях 10). Правда, расхождение между мыслью и словом может иногда возникнуть; оно возникает тогда и только тогда, когда собеседники вкладывают в одно и то же слово разный смысл (а это возможно лишь в том случае, если собеседники используют многозначное слово), но такое расхождение вовсе не является обязательным, поэтому никак нельзя согласиться с теми, которые «делят все доказательства на такие, которые относятся к слову, и на такие, которые относятся к мысли, и считают, что других доказательств не бывает» (там же 10). Расхождения между словом и мыслью могут иногда возникнуть, но они отнюдь не неизбежны. При серьезном и вдумчивом отношении к предмету обсуждения расхождения такого рода всегда могут быть устранены.

Итак, язык вполне способен передать мысль во всей ее полноте, тем не менее язык таит в себе определенные опасности; некоторыми

особенностями языка могут воспользоваться в своих целях недобросовестные и бесчестные люди, ненавистные Аристотелю софисты, которые стремятся не к тому, чтобы обнаружить истину, а только к тому, чтобы победить противника в словесном споре:<sup>4</sup> «... заблуждения легче возникают тогда, когда люди исследуют что-либо совместно друг с другом, чем тогда, когда человек исследует что-либо самостоятельно, ведь исследование совместно с другим осуществляется посредством речей, а самостоятельное исследование в не меньшей мере посредством самого предмета» (Аристотель. О софистических опровержениях 7, 5).

Если для Платона неудовлетворительность языка проистекала от того, что связь между предметом и его наименованием носит сложный, опосредованный, в большой мере условный характер, то Аристотель видит главную опасность, таящуюся в языке, в другом — а именно в том, что слова в своем громадном большинстве многозначны; используя одно и то же слово, человек может сознательно или неосознанно подменить одно его значение другим: «Поскольку при рассуждении невозможно приводить сами предметы и вместо предметов мы пользуемся словами в качестве символов, то мы полагаем, что относящееся к словам относится и к предметам, подобно тому как это происходит при счете с помощью камешков. Но это разные вещи. Ибо число слов ограничено, ограничено и множество речений, предметы же беспрдельны по числу. Поэтому неизбежно одно и то же речение и одно и то же слово означают многое» (там же, 1, 5).

Наблюдения над языковой многозначностью, встречающиеся во многих сочинениях Аристотеля, принадлежат к числу наиболее замечательных его достижений в области изучения явлений языка. При этом надо, конечно, учитывать, что подобного рода наблюдения не являются для Аристотеля самоцелью, они используются им как средство избежания ошибок в научных рассуждениях. Аристотель хорошо сознает, что для подлинного понимания сущности явлений необходимо мыслить строго и дисциплинированно, необходимо в совершенстве владеть орудием научного мышления — логикой; логика выступает у Аристотеля в качестве пропедевтики к «первой философии», столь же хорошо Аристотель сознает и другое: поскольку наша мысль неизбежно облекается в словесную форму, то для того чтобы мыслить дисциплинированно, надо уметь пользоваться средствами языка. С известным правом можно сказать, что правильное понимание языковых явлений служит для Аристотеля пропедевтикой к логике.

Прежде всего Аристотель отчетливо разграничивает два типа словесной многозначности: 1) отдельные значения многозначного

---

<sup>4</sup> M c K e o n R. Aristotle's conception of language and the arts of language. — Classical Philology, 1947, vol. 42, N 1, p. 22; B l a c k M. Some troubles with Whorfianism. — In: Language and philosophy. New York, 1969, p. 33; L a r k i n M. T. Language in the philosophy of Aristotle, p. 10.

слова никак не связаны между собой (омонимия); 2) отдельные значения одного слова определенным образом связаны между собой. В первом случае явления, обозначаемые одним и тем же словом, будут иметь различные определения их сущности (λόγος τῆς οὐσίας); так, например, слово ὄνος «может означать (1) 'осел', (2) 'кубок, чаша'; ὄνος (1) означает 'живое существо', ὄνος (2) 'неодушевленный предмет'» (Топика I, XIII [XV], 12). Но и в тех случаях, когда между отдельными значениями одного слова существует определенная связь, эта связь может носить различный характер, она может быть более или менее непосредственной, более или менее тесной.

Наиболее тесной связь между отдельными значениями одного слова бывает тогда, когда слово обозначает различные явления, относящиеся к одному виду или к одному роду явлений; в этом случае разные явления, обозначаемые одним словом, имеют одинаковое определение их сущности. Так, словом ζῷον 'живое существо' мы можем назвать человека и быка: «Ибо и человек и бык называются общим словом ζῷον, и определение сущности у них одно и то же. Ведь если указывать определение того и другого, что значит для каждого из них быть ζῷον, то будет дано одно и то же определение» (Категории 1, 2).

Но связь между различными значениями одного слова может носить и иной характер: явления, обозначаемые одним словом, могут быть разнородными, но при всем этом иметь все же некое общее начало, некую общую природу. Нечто общее заключено не только в том, о чем говорится как о принадлежащем к одному роду (Μεταφυσικα IV, 2, 1003b: οὐ γὰρ μόνον τῶν καὶ ἐν λεγόμενων), но и в том, о чем говорится как об относящемся к одному естеству (там же: τῶν πρὸς μίαν λεγόμενων φύσιν), в некотором смысле (τρόπον τινα) и об этом последнем можно говорить как о принадлежащем к одному роду (καὶ ἐν). Словом «здоровое» (τὸ ὑγίεινόν), например, мы называем самые разнородные явления, но все то, что называется «здоровым» имеет отношение к одному и тому же, а именно — к здоровью «или потому, что сохраняет его, или потому, что содействует ему, или потому, что оно признак его, или же потому, что способно воспринять его» (Μεταφυσικα IV, 2, 1003b).

Итак, многозначность, отличная от омонимии, бывает двух типов: многозначность слов, обозначающих однородные явления (λεγόμενα καὶ ἐν), и многозначность слов, обозначающих явления, хотя и неоднородные, но все же определенным образом связанные между собой (λεγόμενα πρὸς ἐν), — полисемия в современном смысле этого слова.<sup>5</sup>

Порой бывает трудно определить, имеет ли слово только одно значение или же является многозначным. Аристотель не оставляет решение этого вопроса на произвол субъективной интуиции,

<sup>5</sup> Larkin M. T. Language in the philosophy of Aristotle, p. 67—72, 75 sqq.

он полагает, что имеются способы, позволяющие прийти здесь к точным и неопровержимым выводам.

Если какому-либо слову противостоит не одно, а несколько слов с противоположным значением (и эти слова, в свою очередь, не совпадают по значению между собой), то отсюда следует вывод, что рассматриваемое нами слово многозначно (Тописка I, XIII [XV], 2, 3). Так (воспользуемся для уяснения мысли Аристотеля русскими примерами), слову *острый* могут противостоять по значению разные слова (*острый* угол — *тупой* угол, *острое* блюдо — *пресное* блюдо, *острое* зрение — *слабое* зрение и т. д.), а из этого следует, что слово *острый* многозначное слово.

Многозначным окажется также слово, которому в одних случаях его употребления может быть противопоставлено слово с противоположным значением, а в других — такое слово противопоставлено быть не может, поскольку его просто не существует: «Так, удовольствию от питья противостоит страдание от жажды, но удовольствию от познания того, что диагональ несоизмерима со стороной, ничего не противостоит; таким образом, слово „удовольствие“ имеет несколько значений» (Тописка I, XIII [XV], 5).

В сочинениях Аристотеля содержится большое число интересных наблюдений над многозначностью слов; приведем некоторые из этих наблюдений в качестве примеров. Двойное значение имеет слово «должное» (τὸ δέον); оно означает, во-первых, то, что неизбежно должно произойти в силу природы вещей, а многое из неизбежно происходящего является злом; «должное» означает, во-вторых, то, что надлежит свершить как долг во имя благой цели, и в этом смысле «должное» есть добро, благо. Недобросовестные спорщики, подменяя одно значение слова другим, обманным путем подводят к выводу, что «зло есть добро», поскольку зло часто бывает «должным», а «должное» есть добро (Аристотель. О софистических опровержениях 4, 3). «Не видеть» может означать, во-первых, «не обладать зрением» и, во-вторых, «не пользоваться зрением». А поскольку это так, то отсюда следует, что и «видеть» имеет двойное значение: 1) «обладать зрением»; 2) «пользоваться зрением» (Тописка I, XIII [XV], 8).

Трудности понимания порождаются не только многозначностью слова, они могут возникать и в тех случаях, когда появляется возможность различного истолкования синтаксической роли слова в предложении, различного истолкования синтаксических связей между словами внутри предложения.<sup>2</sup> (Стремясь передать точнее смысл высказываний Аристотеля, мы считаем допустимым воспользоваться не его собственными словами, а современной лингвистической терминологией). В обороте *accusativus cum infinitivo* (никакого специального наименования для этого оборота Аристотель, разумеется, не приводит) в одинаковой грамматической форме (в форме винительного падежа) выступает слово, обозначающее субъект действия, выраженного инфинитивом, и слово,

обозначающее объект этого же действия. Если взять такой оборот вне контекста, то может возникнуть неясность относительно того, какое из слов в винительном падеже выступает в роли субъекта действия, а какое — в роли объекта. Так, например, высказывание *βοῦλεσθαι λαβεῖν με τοὺς πολεμικοὺς* букв.: 'хотеть захватить меня врагов' может быть понято как 'хотеть, чтобы я захватил врагов' и как 'хотеть, чтобы враги захватили меня' (Аристотель. О софистических опровержениях 4, 4).

Верные наблюдения Аристотеля над многозначностью падежей тем более поразительны, что во времена Аристотеля еще не существовало специальных названий падежей, во всяком случае в сочинениях Аристотеля эти названия не приводятся. Аристотель различает разные функции родительного падежа, он выделяет присущую родительному падежу функцию обозначения владельца предмета и функцию обозначения целого, от которого берется часть (там же, 17, 16).

Аристотель отличает винительный падеж в функции обозначения объекта действия от винительного падежа в функции обозначения отрезка времени, в течение которого действие происходит (там же, 22, 12).

Особое место в рассуждениях Аристотеля, направленных против бесцельных приемов доказательства и опровержения, используемых софистами, занимает анализ значения глагола «быть». Аристотель различает употребление глагола «быть» в функции связки и в функции субстантивного глагола, обозначающего существование.

Софисты рассуждают так: поскольку несуществующее есть воображаемое, то отсюда следует, что несуществующее есть. С этим никак нельзя согласиться, пишет Аристотель, «ведь „быть чем-то“ и просто „быть“ — это не одно и то же» (там же, 5, 3).

За одинаковой внешней языковой формой может скрываться различное содержание — на это Аристотель указывает в своих сочинениях многократно. Так, например, «здравствовать» (быть здоровым) по форме словесного выражения ничем не отличается от «резать» или «строить», хотя «здравствовать» означает некое качество и состояние, а «резать» и «строить» означают «действие» (там же, 4, 9). По внешней языковой форме *ποιεῖν* 'делать' (инфинитив активного презенса) так же относится к *πεποιηκέναι* 'быть сделавшим' (инфинитив активного перфекта), как *ὄραν* 'видеть' (инфинитив активного презенса) относится к *ἑώρακέναι* 'быть увидевшим' (инфинитив активного перфекта), но и в данном случае за внешним формальным соответствием скрыто несоответствие в смысловом плане: «Возможно ли продолжать делать то, что ты уже сделал? Нет. Но можно продолжать видеть то, что ты увидел раньше» (там же, 22, 1).

Тонкие наблюдения Аристотеля над функционально-семантической стороной языка, в некоторых отношениях предвосхищающие достижения современного языкознания, вызывают тем большее

удивление и восхищение, что они были сделаны в эпоху, когда имелись лишь зачаточные представления о языковых явлениях, в частности о их формальной стороне.

Итак, Аристотель понимает, что мысль и ее словесное выражение — это разные явления, не полностью совпадающие между собой, но главный (а возможно, и единственный) источник расхождения между тем и другим он усматривает в многозначности элементов речи. Далеко не в полной мере Аристотель сознает все своеобразие языка как особой структуры, функционирующей по своим собственным законам. Как позволяют нам утверждать многочисленные данные, Аристотель исходит из убеждения, что языки различаются между собой лишь звучанием слов, что внутренняя семантическая структура у всех языков одинакова, что в общем и целом эта структура точно соответствует объективной действительности и нашему о ней представлению.

Признавая, что звуковой состав не находится во внутренней связи со значением слова, Аристотель отвергает этимологизирование как путь к познанию природы явлений, тем не менее он очень часто отождествляет языковое и сущностное, делает неправомерные выводы об объективной реальности, опираясь на данные, извлекаемые им из языка. Внутренняя семантическая структура у всех языков, по представлению Аристотеля, одинакова, вместе с тем эта структура не включает в себе ничего или почти ничего специфично языкового, она вполне адекватна структуре мышления и структуре реального мира, поэтому Аристотель очень часто проецирует на объективную действительность то, что по сути дела присуще только языку.

Аристотеля можно сопоставить в этом отношении с современным человеком, не знающим иностранных языков и не располагающим даже элементарными сведениями из области лингвистики. «Человеку, совсем не знающему иностранных языков, всегда кажется, что, например, *дом* есть, по существу, слово мужского рода, а *стена*, по существу, — женского. И только столкновение с тем фактом, что по-французски *дом* женского рода (*la maison*) и *стена* — мужского (*le mur*), заставляет его понять, что вещам не свойственны родовые категории».<sup>6</sup>

Прежде чем показать на конкретных примерах, в чем проявляется эта позиция Аристотеля, приведем некоторые высказывания исследователей, характеризующие эту позицию с той или иной ее стороны.

«Здесь мы видим, что характерное для народного сознания представление о тождестве слова и предмета еще так живо в сознании Аристотеля, что он даже не пытается разорвать эту связь».<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Щерб а Л. В. О взаимоотношениях родного и иностранного языков. — В кн.: Щерб а Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 340.

<sup>7</sup> Stei n t h a l Н. Geschichte der Sprachwissenschaft... S. 312.

«Аристотель вообще недостаточно разграничивает предмет, мысль и языковое выражение»; «Слово является для Аристотеля в первую очередь звуковым комплексом, а семантическая сторона слова. . . полностью лежит уже вне сферы языка»; «Категории бытия, мышления и языка осознаются античной философией (и Аристотелем, в частности, — *И. П.*) в их единстве, но очень нечетко в их противоположности и почти неизменно сливаются в онтологической или логической закономерности, и на долю языка остается очень мало специфического помимо его внешней формы»; «Различие между языками усматривалось прежде всего в звуковом составе слов; семантический аспект считался повсюду одинаковым».<sup>8</sup> «Тот факт, что язык есть упорядоченное единство, что он имеет внутреннюю планировку, побуждает искать в формальной системе языка слепок с какой-то «логики», будто бы внутренне присущей мышлению, и, следовательно, внешней и первичной по отношению к языку».<sup>9</sup> «Аристотель отвергает теорию о естественной связи между предметами и их наименованиями, и тем не менее он стремится получить знания о реальной действительности через посредство языка».<sup>10</sup> «По мнению Аристотеля, различие между языками есть не что иное. . . как различие звуков, используемых для обозначения одних и тех же идей».<sup>11</sup>

Итак: 1) Аристотель отвергает идею о естественной связи между звучанием слова и предметом, обозначаемым данным словом; отсутствие этой связи объясняет, почему одни и те же предметы называются на разных языках по-разному; 2) но слова различаются в разных языках только по своему звучанию; семантическая сторона слова, совокупность значений, присущих тому или иному слову, одинаковы в разных языках; 3) семантическая сторона слова не только не специфична для того или иного языка, она не является специфичной для языка вообще, она не включает в себе ничего специально языкового, а полностью соответствует внеязыковой реальности; 4) отсюда следует допустимость и правомерность прямых выводов о природе бытия, сделанных на основе анализа совокупности значений, присущих тому или иному слову.

За исключением первого, все остальные положения не были высказаны Аристотелем в явной форме, но из его исследовательской практики видно, что имплицитно он из этих положений исходил.

<sup>8</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 22—24.

<sup>9</sup> Бенвенист Э. Категории мысли и категории языка. — В кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 114 (статья впервые опубликована в 1958 г.).

<sup>10</sup> Larkin M. T. Language in the philosophy of Aristotle, p. 11.

<sup>11</sup> Apel K. O. The transcendental conception of Language — communication and the idea of a first philosophy. — In: History of linguistic thought and contemporary linguistics. Berlin — New York, 1976. p. 37.

Рассмотрим теперь, как это особое отношение к языку проявляется в исследованиях Аристотеля.

Если два явления называются словами, образованными от одного корня, то для Аристотеля это служит надежным свидетельством наличия внутренней связи между данными явлениями. У него даже существует специальный термин для такого рода явлений — они называются «паронимами». Языковые связи непременно, по его представлению, должны отражать связи реальной действительности. Исследуя связи явлений между собой, Аристотель всегда уделяет внимание связям между названиями этих явлений, часто он исходит из характера связи между названиями для раскрытия природы реальной связи между явлениями.

«А наука всюду исследует главным образом первое — то, от чего зависит остальное и через что это остальное получает свое название» (Аристотель. Метафизика IV, 2).

Связь между названиями поставлена здесь на один уровень с сущностными связями как нечто вполне параллельное и равноценное.

«А то, из чего как из своей материи нечто возникает, обозначают, когда оно возникло, не ее именем, а именем, производным от нее; например, изваяние называют не камнем, а каменным. . . А потому, так же как там возникающую вещь не называют именем того, из чего она возникла, так и здесь изваяние называется не деревом, а производным словом — деревянным и медным, а не медью, каменным, а не камнем, и точно так же дом — кирпичным, а не кирпичами, ибо если внимательно посмотреть, то нельзя даже без оговорок сказать, что изваяние возникает из дерева или дом — из кирпичей, так как то, из чего вещь возникает, должно при ее возникновении изменяться, а не оставаться тем же. Вот по этой причине так и говорится». (Аристотель. Метафизика VII, 7). И здесь перед нами пример того, как Аристотель пытается вскрыть сущностные связи между явлениями, исходя из связей между их названиями.

«Итак, качествами являются те, которые приведены выше, а наделенными качеством — [все то], что получает от этих качеств паронимные или как-нибудь иначе образованные наименования» (Аристотель. Категории 8).

Таким образом, как самую характерную черту связи между качеством и предметом, наделенным данным качеством, Аристотель приводит отношение между названиями того и другого.

Аристотель хорошо сознает, что омонимия носит случайный характер: если два совершенно различных явления называются одним и тем же словом, то из этого еще вовсе не следует, что между данными явлениями наличествует какая-либо реальная связь. Но для Аристотеля остается совершенно недоступным другое: в известном смысле случайный характер носит не только омонимия, но и то, что в современном языкознании называется



полисемией; в громадном большинстве случаев слово какого-либо одного языка по совокупности присущих ему значений не имеет точного соответствия в другом языке, совокупность значений того или иного слова (даже если эти значения определенным образом связаны между собой) характерна только для данного слова в данном языке. Аристотелю же дело представляется совершенно иным образом: совокупность значений слова, если эти значения так или иначе связаны между собой, универсальна для всех языков и отражает сущностные связи явлений объективного мира. Аристотель считает возможным и необходимым для установления связей между реальными явлениями исходить из анализа совокупности значений, присущих тому или иному слову. Аристотель полагает, что, анализируя значение слова, он поступает так, как подобает поступать естествоиспытателю, в действительности же он производит исследование как лексикограф.

В пятой книге «Метафизики» Аристотель исследует значение ключевых понятий, отражающих наиболее важные сущности бытия. В качестве одного из таких понятий Аристотель рассматривает понятие «начало». Легко убедиться в том, что в основу своего анализа Аристотель положил различные значения греческого слова ἀρχή 'начало', в том числе и такие значения, которые, как правило, не имеют соответствий у слов, означающих «начало» в других языках.

«Началом называется... (5) то, по чьему решению движется движущееся и изменяется изменяющееся, как, например, начальствующие лица в полисах и власть правителей, царей и тиранов» (Аристотель. Метафизика V, 1).

У русского слова *начало* значение «власть» появляется лишь в некоторых устойчивых словосочетаниях типа «находиться под чьим-либо началом», латинским словам со значением «начало» (*initium, principium, exordium*) значение «власть» вовсе не свойственно, то же самое верно и по отношению к немецким словам *der Anfang, der Beginn* и г. д. Вполне очевидно, что сочетание в одном слове значений «начало» и «власть», характерное для греческого ἀρχή, большинству языков не свойственно. Утверждая мысль об особой внутренней связи между понятиями и самими сущностями «начало» и «власть», Аристотель делал совершенно неправомерные онтологические выводы, опираясь на материал греческого языка.

Особую внутреннюю связь усматривает Аристотель между «обладанием», с одной стороны, и «состоянием, свойством» — с другой. (Аристотель. Метафизика V, 20). Он исходит при этом из того, что греческое слово ἐξίς совмещает в себе оба эти значения.

Выступая против концепции Платона, согласно которой чувственно воспринимаемые предметы вторичны по отношению к идеям и производны от них, Аристотель приводит в качестве одного из основных следующий довод: «... все остальное не может происхо-

дять из эйдосов ни в одном из обычных значений *из*» (там же, I, 9). Иными словами, для определения отношений между идеями и материальными предметами не подходит ни одно из значений выражения *ἐκ τίνος εἶναι* 'быть из чего-то', и посему чувственно воспринимаемые предметы не могут происходить от идей (эйдосов). И в данном случае, при решении одной из самых кардинальных проблем природы бытия Аристотель опирается на особенности греческого словоупотребления, исходит из представления о полном параллелизме, полном соответствии внутренней смысловой структуры языка структуре объективного мира.

Все предшествующее изложение было посвящено выяснению позиции Аристотеля по вопросу о соотношении категорий бытия, мышления и языка; в сочинениях Аристотеля встречаются также наблюдения над теми или иными конкретными особенностями греческого языка, в частности наблюдения над звуковым и грамматическим строем. Выше уже говорилось о том, что Аристотель всячески подчеркивал особый характер звуков речи, их принципиальное отличие от любых иных звуков, в том числе от звуков, производимых животными, и от произвольных звуков, произносимых людьми. Звук речи (*στοιχεῖον* 'элемент') — это неделимый звук, но не всякий неделимый звук есть звук речи, а только такой, «из которого может возникнуть разумное слово» (Аристотель. Поэтика 20, 2).

Подобно Платону, Аристотель делит все звуки речи на три разряда; распределение звуков речи по разрядам у обоих мыслителей, по-видимому, также одинаковое, но Аристотель производит это деление на основе иных критериев, присоединяя к акустическим признакам, известным уже Платону, признаки артикуляционные.

«А виды этих звуков — гласный, полугласный и безгласный. Гласный — тот, звучание которого слышится без прикладывания языка, например *α* и *ω*; полугласный — тот, звучание которого слышится при прикладывании языка, например *σ* и *ρ*; безгласный — тот, который при наличии прикладывания языка не дает, однако, самостоятельно никакого звука, а делается слышным в соединении со звуками, имеющими какую-нибудь звуковую силу, например *γ* и *δ* (Аристотель. Поэтика 20, 2, 3).

В приведенном переводе текста Аристотеля<sup>12</sup> греческое слово *προσβολή* 'прикладывание, приложение' передается как «прикладывание языка»; некоторые исследователи, в том числе советский ученый П. И. Михеев, полагают, что под *προσβολή* следует понимать примыкание всех известных Аристотелю органов речи (язык, губы, зубы).

Использование артикуляционных признаков при описании звуков речи представляет собой значительное достижение Аристо-

---

<sup>12</sup> См. в кн.: Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 62.

теля (или науки его времени), бесспорный прогресс по сравнению с Платоном.<sup>13</sup>

Вместо явно неудовлетворительного определения, которое дает Платон согласным звукам, называя их «безгласными и беззвучными» (Кратил 424 с), т. е. звуками, лишенными всякого звучания, совершенно недоступными для слуха, Аристотель дает другое определение, указывающее условие, при котором согласные звуки становятся слышимыми.

Более совершенным, чем у Платона, следует признать и то определение, которое дает Аристотель промежуточным звукам (средним, по Платону (τὰ μέσα Филеб 18 с), полугласным (τὰ ἡμίφωνα), по Аристотелю). Эти звуки (сонанты, в соответствии с современной терминологией) Платон называет «безгласными, но все же причастными некоему звучанию» (Филеб 18 с, Кратил 424 с); Аристотель справедливо указывает, что в образовании этих звуков участвуют и голос, и смычка. Правда, наряду с сонантом γ Аристотель приводит в качестве одного из звуков этого разряда σ; возможно, однако, что Аристотель имеет здесь в виду звонкое s (звук, соответствующий русскому з).

Гласным звукам Платон вообще не дает никакого определения, Аристотель правильно определяет эти звуки как такие, которые образуются без участия смычки.

Если Платон ограничивается тем, что делит все звуки речи на три разряда, то Аристотель идет дальше — он указывает на некоторые признаки, которые позволяют проводить дополнительные разграничения. «Они (στοιχεῖα) различаются в зависимости от формы рта, от места их образования, густым и тонким придыханием, долгою и краткостью» (Аристотель. Поэтика 20, 4).

В отличие от Платона Аристотель проводит разграничение не только между ударными и безударными слогами (это разграничение проводил уже Платон), но выделяет также два типа ударения: острое и среднее (Поэтика 20, 4); позднее ударение, названное Аристотелем «средним», получило название «облеченное ударение» (περισπωμένη), «циркумфлекс».

Слог Аристотель определяет как «не имеющий значения звук, состоящий из безгласного и гласного» (там же, 20, 5). Аристотель указывает, что слог не есть простое сочетание звуков, слог представляет собой особое качественное образование: «Слог — это не [отдельные] звуки речи, и слог «ба» — не то же самое, что «б» и «а». . . Стало быть, слог есть что-то — не одни только звуки речи (гласный и согласный), но и нечто иное» (Метафизика VII, 17). В чем состоит качественное своеобразие слога, почему слог нельзя свести к простому сочетанию звуков — на этот вопрос Аристотель не дает ответа.

<sup>13</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft . . ., S. 255; Pagliaro A. Il capitolo linguistico della Poetica di Aristotele, p. 46, 47; Belardi W. Platone e Aristotele e la dottrina sulle lettere e la sillaba. — Ricerche linguistiche, 1974, N 6, p. 62.

Для Аристотеля слог всегда состоит из сочетания звуков; он не знает того, что слог может быть образован одним гласным звуком.<sup>14</sup> Такое понимание находится в полном соответствии с этимологией и первоначальным значением слова συλλαβή 'слог', связанного по своему происхождению с глаголом συλλαμβάνειν 'собирать, соединять, объединять' (ср. русск. *слог*). Лишь значительно позднее античной наукой было установлено, что слог может состоять из одного гласного звука.

В сочинениях Аристотеля встречаются наблюдения над грамматическим строем греческого языка. Известен ему и самый термин «грамматика»: ἡ γραμματικὴ... πάσας θεωρεῖ τὰς φωνάς (Метафизика IV, 2) 'грамматика... исследует все звуки речи'. Необходимо учитывать, что «звуком речи» Аристотель называет не только звук речи в собственном смысле этого слова, но также слова различных разрядов и даже предложение.

Главными нашими источниками, на основании которых мы можем судить о взглядах Аристотеля по вопросам грамматики, служат двадцатая глава «Поэтики» и одно из его логических сочинений — трактат «Об истолковании».

В двадцатой главе «Поэтики» Аристотель, перечисляя различные «части словесного изложения» (τὰ μέρη τῆς λέξεως), говорит о звуке речи (στοιχεῖον), о слоге, а затем сразу же переходит к обозначению слов различных разрядов; ни в «Поэтике», ни в каком-либо другом сочинении Аристотеля мы не встретим упоминания о значимых частях слова, о морфологических формантах. Понятие морфемы остается неизвестным и античной науке более позднего времени.<sup>15</sup>

Кроме тех разрядов слов, названия которых встречаются уже у Платона — ὄνομα и ῥῆμα, Аристотель приводит еще два разряда: σύνδεσμος и ἄρθρον. Пространные определения, которые дает Аристотель этим «частям словесного изложения», столь запутаны, столь трудны для понимания, что ставят исследователей в тупик. Многие ученые склонны рассматривать соответствующие места «Поэтики» как позднюю интерполяцию или безнадежное искажение первоначального текста.<sup>16</sup>

А. Гудеман, автор обстоятельного комментария к «Поэтике», считает наиболее благоразумным отказаться от всяких попыток толкования этих определений.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft... S. 259; Belardi W. Platone e Aristotele... p. 49, 57.

<sup>15</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 24; Pagliaro A. Il capitolo linguistico della Poetica di Aristotele, p. 37; Robins R. H. A short history of linguistics, p. 25.

<sup>16</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft... S. 263, 265, 268; Gudeman A. Aristoteles *Περὶ ποιητικῆς* mit Einleitung, Text und Adnotatio critica, exegetischem Kommentar. Berlin—Leipzig, 1934, S. 336, 344 sqq.; Koller H. Die Anfänge der griechischen Grammatik. — Glotta, 1958, Bd 37, H. 1/2, S. 29.

<sup>17</sup> Gudeman A. Aristoteles *περὶ ποιητικῆς*... S. 345.

Те исследователи, которые стремятся доказать, что определения терминов *σύνδεσμος* и *ῥῥῶρα* в тексте «Поэтики» восходят в основном к самому Аристотелю, в своем осмыслении этих определений сильно расходятся между собой. С точки зрения А. Пальяро, под *σύνδεσμος* Аристотель понимает союзы и предлоги, а под *ῥῥῶρα* — местоимения.<sup>18</sup> В толковании термина *σύνδεσμος* с А. Пальяро полностью солидаризуется другой итальянский исследователь — Г. Марпурго-Тальябуэ.<sup>19</sup>

И. М. Тронский приводит интересные доводы в пользу того взгляда, что *σύνδεσμος* означают у Аристотеля союзы, а *ῥῥῶρα* — местоимения и предлоги. Местоимения (имеются в виду местоимения, выступающие в атрибутивной функции) и предлоги объединены между собой тем, что они вступают в тесную связь с одним «значащим» элементом, тогда как союзы используются для связывания нескольких «значащих» частей предложения друг с другом.<sup>20</sup>

Как бы то ни было, не подлежит никакому сомнению тот факт, что выделение Аристотелем наряду со «значащими» (знаменательными, по современной терминологии) разрядами слов также «незначащих» (служебных) представляет собой крупное научное достижение, важный прогресс в области изучения явлений, относящихся к сфере языка. Характерно, что Аристотель рассматривает служебные слова как «незначащие», определяя их тем же словом *ἄσημος* 'лишенный значения', которое он применяет по отношению к слогу, и игнорируя различие, казалось бы, столь очевидное. Значение для Аристотеля полностью отождествляется с предметным значением, с вещным содержанием; представление об особом грамматическом значении остается для Аристотеля еще совершенно чуждым.

Определения, которые получают в «Поэтике» *ὄνομα* и *ῥῥῶμα*, основаны на морфологических критериях и характеризуют *ὄνομα* и *ῥῥῶμα* как части речи: имя (*ὄνομα*) и глагол (*ῥῥῶμα*).

«Глагол (*ῥῥῶμα*) — составной, имеющий самостоятельное значение, с оттенком времени (букв. — со временем), звук, в котором отдельные части не имеют самостоятельного значения. . . Например, «человек» или «белое» не обозначает времени, а «идет» или «пришел» имеют добавочное значение: одно — настоящего времени, другое — прошедшего» (Аристотель. Поэтика 20, 9). Определение *ῥῥῶμα* как слова, имеющего дополнительное значение времени, безусловно свидетельствует о том, что для Аристотеля *ῥῥῶμα* есть особая часть речи — глагол.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Pagliaro A. Il capitolo linguistico della Poetica di Aristotele, p. 8, 13.

<sup>19</sup> Morpurgo-Tagliabue G. La linguistica di Aristotele. . . , p. 274.

<sup>20</sup> Тронский И. М. Учение о частях речи у Аристотеля. — Учен. зап. ЛГУ, 1941, № 63. Сер. филол. наук, вып. 7, с. 30, 33.

<sup>21</sup> Gudeman A. Aristoteles περί ποιητικῆς. . . , S. 347; Glinz H. Die Begründung der abendländischen Grammatik durch die Griechen und ihr Ver-

Имени (ὄνομα) Аристотель дает определение, которое следует признать менее удачным, поскольку оно основано на признаке чисто негативном — отсутствии указания на время.

«Имя — это составной, имеющий самостоятельное значение, без оттенка времени (букв. — без времени), звук, часть которого не имеет никакого самостоятельного значения сама по себе» (там же, 20, 8).

В «Поэтике» Аристотель понимает ὄνομα как особую морфологическую категорию, как часть речи — имя; с таким пониманием хорошо согласуется указание Аристотеля на родовые различия имен: «Имена бывают мужского, женского и среднего рода» (там же, 21, 12).

Хотя ῥῆμα выступает у Аристотеля по преимуществу в значении 'глагол', некоторые следы старого нечеткого словоупотребления, при котором ῥῆμα могло означать и 'сказуемое', в сочинениях Аристотеля все же встречаются. Так, в трактате «Об истолковании» (X, 13) Аристотель пишет о том, что если поменять местами ὄνομα и ῥῆμα, то на смысле высказывания это не отражается; свою мысль Аристотель иллюстрирует примером, в котором местами меняются подлежащее, выраженное существительным, и сказуемое, выраженное прилагательным: ἔστι λευκός ἄνθρωπος 'есть белый человек', ἔστιν ἄνθρωπος λευκός 'есть человек белый'. Вполне очевидно, что термин ῥῆμα Аристотель применяет здесь по отношению к именному сказуемому.<sup>22</sup> Во всяком случае «имя» и «подлежащее», «глагол» и «сказуемое» терминологически у Аристотеля никак не разграничены. «Античная теория не вырабатывает понятия о „частях предложения“, отличных от „частей речи“».<sup>23</sup>

Дальнейший анализ покажет нам, что в том понимании, которое Аристотель придает терминам ὄνομα и ῥῆμα, смешаны не только морфологические и синтаксические признаки, но к ним присоединяются также признаки внеязыковые, чисто логические, смысловые.

Под «именем» Аристотель понимает только имя в форме именительного падежа, формы косвенных падежей для него уже не «имя», а «падежи (падения) имени». «Филона же или Филону и тому подобные выражения не суть имена, а падежи имен» (Аристотель. Об истолковании 2, 5). Разграничение это основано на критерии чисто логическом: в роли субъекта суждения может выступать только форма именительного падежа, формы косвенных падежей в этой роли выступать не могут. «Понятие же в этом случае оста-

---

hältnis zur modernen Sprachwissenschaft. — Wirkendes Wort, 1957, N 7, H. 3, S. 133, 134; R o b i n s R. H. The development of the word class system of the European grammatical tradition. — Foundations of Language, 1966, vol. 2, N 1, p. 9.

<sup>22</sup> Т р о н с к и й И. М. Учение о частях речи у Аристотеля, с. 28; P a g l i a r o A. Il capitolo linguistico della Poetica di Aristotele, p. 52; P f e i f f e r R. Geschichte der klassischen Philologie, S. 104.

<sup>23</sup> Т р о н с к и й И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 24,

ется тем же самым, только что падежи в соединении с глаголом «есть» или «было» или «будет» не содержат истины или лжи, имя же всегда содержит: например, выражение «Филона есть» или «Филона не есть» никогда не содержат ни истину, ни ложь» (там же, 2, 5).

Под «глаголом» Аристотель понимает в трактате «Об истолковании» только формы настоящего времени, формы прошедшего и будущего времени — это не глаголы, а падежи глаголов. «Подобным же образом „он был здоров“ и „он будет здоров“ — не суть глаголы, а падежи глагола и отличаются от глагола тем, что глагол обозначает собой нынешнее время, а падежи — время до и после нынешнего» (там же, 3, 5). И в данном случае разграничение основано на логическом критерии: в суждениях общего характера глагол, играющий роль предиката, выступает по преимуществу в форме настоящего времени.<sup>24</sup> В «Поэтике» (20, 9), правда, Аристотель высказывает по этому вопросу иную точку зрения: здесь в качестве глагола рассматриваются формы не только настоящего времени, но также формы других времен. «Падежами» глагола в «Поэтике» называются только формы повелительные и формы, выступающие в вопросительном предложении, но и это разграничение обусловлено логической точкой зрения на явления языка. «Чисто логический характер носит исключение из понятия глагола вопросительных и повелительных форм, не образующих суждения».<sup>25</sup>

На внеязыковых, сугубо смысловых основаниях выделяет Аристотель «неопределенное имя» (*ὄνομα ἀόριστον*) и «неопределенный глагол» (*ῥῆμα ἀόριστον*). В качестве «неопределенного имени» и «неопределенного глагола» Аристотель рассматривает имя и глагол с отрицанием. В самом деле, когда мы говорим «Петр не гуляет», мы не сообщаем о Петре ничего определенного. Хотя и в предложении «Петр гуляет» и в предложении «Петр не гуляет» «гуляет» и с морфологической, и с синтаксической точки зрения представляет собой одно и то же (глагол и сказуемое), разница между обоими предложениями со смысловой точки зрения очень велика. В первом предложении мы получаем ответ на вопрос «Что делает Петр?», во втором мы такого ответа не получаем.

«„Нечеловек“ не есть имя; нет такого имени, которое могло бы это обозначать. . . Пусть оно называется неопределенным именем, потому что оно применимо к чему угодно, как к существующему, так и к несуществующему» (Аристотель. Об истолковании, 2, 4); «. . . [выражение] „он не здоров“ или „он не болен“ я не называю глаголом, хотя и оно соозначает время и всегда относится к чему-либо; для этой разновидности нет названия; назовем его неопределенным глаголом, так как оно может одинаковым образом относиться ко всему, как к существующему, так и к несуществующему» (там же, 3, 4).

<sup>24</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . ., S. 266.

<sup>25</sup> Тронский И. М. Учение о частях речи у Аристотеля, с. 28.

Термины «неопределенное имя» и «неопределенный глагол» Аристотель использует только в логическом трактате «Об истолковании»; в «Поэтике», где логическая точка зрения и в других отношениях проявляется слабее, эти термины не приводятся.<sup>26</sup>

При всем том, однако, что «имя» и «глагол» сохраняют еще у Аристотеля многочисленные следы своего «логического» генезиса, в значительном большинстве случаев они обозначают в его сочинениях морфологические категории, части речи в современном смысле этого слова. Морфологическими в своей основе являются и те определения, которые даны «имени» и «глаголу» в «Поэтике».

В двадцатой главе «Поэтики» вслед за στοιχεῖον, συλλαβή, σύνδεσμος, ὄνομα, ῥήμα, ἄρθρον в качестве одной из «частей словесного изложения» приводится πτωσις 'падение, падеж' — слово, связанное по своему происхождению с глаголом πίπτω 'падать'. Как термин, служащий для обозначения языковых явлений, слово πτωσις нигде до Аристотеля не засвидетельствовано.<sup>27</sup> В позднейшей грамматике πτωσις специфицировалось в значении 'падеж имени' (лат. casus, русск. падеж скалькированы с греч. πτωσις), у Аристотеля это слово имеет гораздо более широкое значение. По преимуществу πτωσις обозначает формы слова, отклоняющиеся от основной «нормальной» его формы: косвенные падежи имени (специальных наименований отдельных падежей у Аристотеля еще нет), повелительную форму глагола (Поэтика 20, 10), времена глагола помимо настоящего (Об истолковании), наречные формы, регулярно образуемые от прилагательных, формы сравнительной и превосходной степени прилагательных (Толика, V, 7), а также некоторые другие формы.<sup>28</sup>

«Падежом» Аристотель называет и такую форму слова, которая отличается от основной его формы не с материальной, а с чисто функциональной стороны. Так, «падежом» у Аристотеля обозначен глагол, выступающий в вопросительном предложении, хотя особых вопросительных форм глагола, отличных от утвердительных его форм, в древнегреческом языке не существует (Поэтика 20, 10).

«Падежу» противостоит у Аристотеля назывная форма — κλήσις. «Итак, мы говорим обо всех [случаях] вот что: термины следует всегда брать согласно названию имен (κατὰ τὰς κλήσεις τῶν ὀνομάτων), как например человек, или благо, или противоположность, а не человека, или блага, или противоположностей» (Аристотель. Первая аналитика, I, 36).<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Оригинальное истолкование терминов «неопределенное имя» и «неопределенный глагол» предложил итальянский лингвист А. Пальяро. См.: Pagliaro A. Il capitolo linguistico della Poetica di Aristotele, p. 30. Рассуждения А. Пальяро не представляются нам убедительными.

<sup>27</sup> Gudeman A. Aristoteles περί ποιητικής... S. 348.

<sup>28</sup> Ibid., p. 348; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957. S. 46; Koller H. Die Anfänge der Griechischen Grammatik, S. 34 sqq; Larkin M. T. Language in the Philosophy of Aristotle, p. 32.

<sup>29</sup> Szabo A. Die Beschreibung der eigenen Sprache bei den Griechen. — Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1973, t. 23, fasc. 3/4, S. 333.



Правда, несколькими строками ниже в той же главе «Первой аналитики», на которую мы только что сослались, Аристотель употребляет глагол πίπτει 'падает, выпадает' (глагол, от которого образовано существительное πτώσις 'падеж') по отношению к формам именительного падежа. В «Поэтике» (20, 10) Аристотель рассматривает как «падеж» не только форму именительного падежа множественного числа, но также форму именительного падежа единственного числа: «Падеж... это обозначение единства или множества, например „люди“ или „человек“ (οἶον ἄνθρωποι ἢ ἄνθρωπος)».

Опираясь на эти высказывания Аристотеля, некоторые исследователи полагают, что πτώσις означает у Аристотеля не косвенные формы слова, отличные от основной исходной его формы, но всякую реализацию слова в тексте, в том числе реализацию в назывной исходной форме. При таком понимании «падежу» противостоит «идеальное» слово как название определенного явления, взятое вне конкретной речевой реализации.<sup>30</sup>

Надо признать, что некоторые места в сочинениях Аристотеля дают основания для такого толкования термина πτώσις, хотя все же гораздо чаще πτώσις означает косвенные формы слова. И в данном случае мы сталкиваемся с нечетким, нестрогим словоупотреблением, свойственным Аристотелю, как, впрочем, и другим мыслителям древности.

Завершается перечень частей словесного изложения в «Поэтике» (20, 11) словом λόγος, хорошо известным нам из сочинений предшественников Аристотеля: «λόγος есть составной звук, имеющий самостоятельное значение, отдельные части которого также имеют самостоятельное значение». Такому определению соответствует связная речь любых размеров, и с полной последовательностью Аристотель продолжает: «Предложение (λόγος) бывает едино двояким образом: когда оно обозначает единое или когда состоит из многих. Например, «Илиада» — единое как соединение многих, а определение человека — как обозначение одного предмета». Таким образом, специального термина для понятия «предложение» у Аристотеля нет, но это вовсе не значит, что само это понятие было Аристотелю чуждым и недоступным. Трудно согласиться со Штейнталем, когда он пишет: «У Аристотеля вообще нет этой категории „предложение“».<sup>31</sup> Хотя Аристотель применяет одно слово λόγος и по отношению к отдельному высказыванию, и по отношению к целому сочинению (например, к «Илиаде»), он все же проводит разграничение между тем и другим, указывая на двоякий смысл слова λόγος. Когда Аристотель говорит о том, что определение человека (ἄνθρωπος ζῷον πεζὸν δίπουν 'человек — животное сухопутное двуногое') как обозначающее нечто одно есть λόγος, то он

<sup>30</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . . , S. 267; Pagliaro A. Il capitolo linguistico della Poetica di Aristotele, p. 26, 32, 36.

<sup>31</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . . , S. 248.

безусловно имеет в виду предложение в современном смысле этого слова. Не подлежит никакому сомнению, что в таком, например, высказывании, как «не всякое предложение (λόγος) есть суждение» (Об истолковании 4, 4) λόγος означает именно предложение. Говоря о предложении с именным сказуемым без связки, Аристотель утверждает: «... может быть предложение (λόγος) без глаголов» (Поэтика 20, 11), и в данном случае речь несомненно идет о предложении в современном понимании этого термина. Такое значение имеет слово λόγος в подавляющем большинстве случаев его употребления у Аристотеля. Почему все же в двадцатой главе «Поэтики» Аристотель дает такое определение «предложения», которому соответствует связная речь любых размеров: от предложения в современном смысле этого слова до целого сочинения? Ответ на этот вопрос заключается, по-видимому, в том, что, давая определение слову λόγος, Аристотель опирается на разнообразные значения этого слова, с которыми оно выступает в обыденной речи. Как об этом уже говорилось в предыдущем изложении, Аристотель не допускает и мысли, что обычное словоупотребление нестрого, неточно, порой сбивчиво, что совокупность значений одного слова специфична для каждого отдельного языка и вовсе не отражает сущностные связи явлений действительности. И в данном случае мы сталкиваемся с одним из проявлений той привязанности к слову, той фетишизации языка, которая столь характерна для мыслителей древности. Давая определение «предложению», Аристотель исходил не из реального явления, а из слова, разнообразным значениям которого это определение, на его взгляд, должно было соответствовать.

Хотя и очень бегло Аристотель все же затрагивает вопрос о различных типах предложений. В трактате «Об истолковании» он выделяет утверждение (κατάφασις) и отрицание (ἀπόφασις), предложение повествовательное (ἀποφαντικός λόγος) и побудительное (εὐχή). Предметом исследования в логическом трактате «Об истолковании» он делает только такие предложения, в которых заключается истинность или ложность чего-либо, «остальные виды предложений здесь выпущены, ибо исследование их более приличествует риторике или поэтике» (4, 5). Характерно, что в этом контексте Аристотель даже не упоминает о грамматике.

Особого внимания заслуживает вопрос о том, как понимает Аристотель значение глагола для предложения. Высказывания Аристотеля по этому поводу в трактате «Об истолковании», с одной стороны, и в «Поэтике» — с другой, находятся в прямом противоречии между собой. Если в первом из упомянутых сочинений Аристотель утверждает, что повествовательное предложение непременно должно содержать глагол (Об истолковании 5, 2), то в «Поэтике» он делает противоположное утверждение: «Не всякое предложение состоит из глаголов и имен. Может быть предложение без глаголов, например определение человека» (20, 11). (О том, что и здесь речь идет о предложении повествовательном, явно свидетельствует

пример, на который ссылается Аристотель: «человек — животное сухопутное двуногое»).

Отказываясь от попытки объяснить столь явное противоречие, мы можем лишь констатировать, что в одном из своих сочинений Аристотель установил факт наличия в языке безглагольных предложений, т. е. предложений с именными сказуемыми без связки (в древнегреческих памятниках, в частности в сочинениях самого Аристотеля, такие предложения встречаются очень часто). Установление этого факта бесспорно принадлежит к значительным достижениям Аристотеля в области наблюдения над явлениями языка.<sup>32</sup>

Аристотель правильно заметил, что в греческом языке встречаются предложения, не содержащие глагола, но ни в одном из сочинений Аристотеля нет упоминания о том, что греческое предложение может состоять из одного глагола, хотя такие предложения очень характерны для греческого языка, поскольку личные местоимения по-гречески большей частью не выражаются: εὐχόμεαι 'я молю', ψεύδαις 'ты лжешь' и т. д. Быть может, Аристотель прошел мимо предложений, не заключающих в себе именного компонента, по той причине, что предложения такого рода не образуют суждений.

Признавая факт наличия безглагольных предложений, Аристотель пишет: «Однако какая-либо часть предложения всегда будет иметь самостоятельное значение (например, в предложении «идет Клеон» — «Клеон»)» (Поэтика 20). По-видимому, Аристотель хотел сказать этим, что именной компонент, выступающий в функции подлежащего, составляет наиболее важную, наиболее существенную часть предложения; предложение может обойтись без глагола, но именная часть должна быть представлена непременно. «Глагол служит всегда обозначением чего-либо сказанного об ином» (Об истолковании 3, 3), имя представляет собой, по мнению Аристотеля, нечто гораздо более полнозначное, само себе довлеющее. Представление о более высоком ранге имени по сравнению с глаголом продолжало господствовать в науке о языке на протяжении многих веков после Аристотеля.<sup>33</sup>

Определенный интерес для истории языкознания представляют высказывания Аристотеля по вопросам лингвистической стилистики, которым посвящена первая половина третьей книги «Риторики» Аристотеля, а также двадцать первая и двадцать вторая главы его «Поэтики».

Разработка проблем художественной речи началась в Греции со второй половины V в. до н. э. в кругах софистов, которые стре-

<sup>32</sup> Gudeman A. Aristoteles περί ποιητικῆς... S. 351; Pagliaro A. Il capitolo linguistico della Poetica di Aristotele, p. 4, 41 sqq.; Morpurgo-Taglibue G. La linguistica di Aristotele e il XX capitolo della Poetica. Athenaeum (N. S.). 1967, vol. 45, fasc. 1/2, p. 121, 122, 133.

<sup>33</sup> Allen W. S. Ancient ideas of the origin and development of language, p. 57.

мились не столько к тому, чтобы найти истину, сколько к тому, чтобы изыскать способы, с помощью которых можно было бы сделать речь убедительной. Мнению софистов, придававших чрезмерное значение стилю речи, Аристотель противопоставляет свою точку зрения: «Всего правильнее было бы стремиться только к тому, чтобы речь не причиняла ни неприятного ощущения, ни наслаждения, справедливо сражаться оружием фактов так, чтобы все, находящееся вне области доказательства, становилось излишним» (Риторика, III).<sup>34</sup>

Некоторые из представителей софистического направления доводили стилистическую изощренность прозаической речи до такой степени, что стиль прозы становился неотличим от поэтического стиля. У Аристотеля это вызвало решительное осуждение. «Но так как поэты, трактуя об обыденных предметах, как казалось, своим стилем приобретали себе славу, то сначала создался поэтический стиль, как например стиль Горгия. И теперь еще многие из числа необразованных полагают, что именно такие люди выражаются всего изящнее. На самом же деле это не так, и стиль в прозе и в поэзии совершенно различен». Имея в виду стиль прозаической речи, Аристотель утверждает: «Достоинство стиля заключается в ясности»<sup>35</sup>.

Аристотель не исключает возможности использования некоторых стилистических приемов даже в прозаических сочинениях, но эти приемы допустимы лишь в том случае, если они служат повышению познавательной ценности речи. «Естественно, что всякому приятно легко научиться чему-нибудь, а всякое слово имеет некоторый определенный смысл; поэтому всего приятнее для нас те слова, которые дают нам какое-либо знание. . . Наиболее достигает этой цели метафора, например, если поэт называет старость стеблем, остающимся после жатвы, то он научает и сообщает сведения с помощью родового понятия, ибо то и другое — нечто отцветшее. . . Итак, тот стиль и те суждения, естественно, будут изящны, которые сразу сообщают нам знания. . .»<sup>36</sup>.

Для поэтической речи Аристотель считает допустимым более широкое использование стилистических приемов. Чтобы придать поэтической речи художественный характер, следует употреблять глоссы (редкие, устаревшие слова, иноязычные слова, диалектизмы), поэтические неологизмы, метафоры (Поэтика 21). К метафорам можно прибегать и в прозаической речи: «Слова общепотребительные, точные и метафоры — вот единственный материал, пригодный для стиля прозаической речи» (Риторика III). Метафора должна быть «не слишком далекая, потому что смысл такой метафоры трудно понять, и не слишком поверхностная, потому что такая метафора не производит никакого впечатления». «Мета-

---

<sup>34</sup> См. в кн.: Античные теории языка и стиля, с. 176.

<sup>35</sup> Там же, с. 177.

<sup>36</sup> Там же, с. 184, 185.

форы нужно заимствовать. . . из области родственного, но не очевидного. Подобно этому и в философии меткий ум усматривает сходство в вещах даже очень различных». <sup>37</sup> Аристотелю приходится polemизировать не только с теми людьми, которые склонны к чрезмерному использованию разного рода стилистических приемов, он выражает свое несогласие и с теми, кто стремится устранить всякие различия между художественной и обыденной речью. «Арифрад высмеивал трагиков еще и за то, что они употребляют такие выражения, каких никто не допустил бы в разговорной речи; между тем такие выражения вследствие неупотребительности их в разговорной речи придают стилю возвышенный характер. На это он не обратил внимания» (Поэтика 22). Редкие слова (гlossы), поэтические неологизмы, метафоры вполне уместны в поэтической речи: «. . . ведь люди так же относятся к стилю, как к иноземцам и своим согражданам. Поэтому-то следует придавать языку характер иноземного, ибо люди склонны удивляться тому, что приходит издалека, а то, что возбуждает удивление, приятно. В стихах многое производит такое действие и годится там, потому что предметы и лица, о которых там идет речь, более удалены от повседневной жизни. Но в прозаической речи таких средств гораздо меньше, потому что предмет ее менее возвышен» (Риторика III, 2). Впрочем, во всех видах художественной речи, в том числе и в речи поэтической, следует пользоваться стилистическими приемами с разумной умеренностью: «Мера — общее условие для всех видов слов» (Поэтика 22).

Итак, четкое разграничение между стилем поэзии и стилем прозы, ясность и простота как неперемennые условия прозаического стиля, умеренное использование стилистических средств в поэзии — таковы требования, которые предъявляет Аристотель к стилю художественной речи.

Значительность заслуг Аристотеля перед наукой о языке не подлежит сомнению. Хотя ко времени Аристотеля язык не стал еще предметом специальной научной дисциплины и сам Аристотель относит рассмотрение звуков речи к сфере метрики, а проблемами грамматики он занимается либо в связи с логическими исследованиями (в трактате «Об истолковании»), либо в связи с изучением художественной речи (в «Поэтике»), все же именно в сочинениях Аристотеля (в двадцатой главе его «Поэтики») мы встречаемся с древнейшим в греческой науке систематическим изложением знаний по вопросам звукового и грамматического строя языка. Классификацию звуков речи Аристотель производит не только на основе акустических признаков, известных уже его предшественникам, но присоединяет к ним новые артикуляционные признаки. Наряду со знаменательными разрядами слов (именем и глаголом), о которых упоминает Платон, Аристотель выделяет также служебные разряды. В сочинениях Аристотеля содержатся первые попытки опреде-

<sup>37</sup> Там же, с. 185, 186.

ния различных грамматических категорий. В ряде работ Аристотеля нашли отражение зачаточные представления о словоизменении и словообразовании. К выдающимся достижениям Аристотеля в области изучения явлений языка следует отнести разработку проблем лексической и грамматической многозначности.

## ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА

Из великих философских школ, сформировавшихся в эпоху эллинизма (III—I вв. до н. э.), скептической, эпикурейской и стоической, только стоическая школа проявила значительный интерес к проблемам языка. Корифеи древней Стои, основатель школы Зенон (ок. 336—264 гг. до н. э.), Хрисипп (ок. 281—209 гг. до н. э.), Диоген Вавилонский (ок. 240—150 гг. до н. э.) и некоторые другие, внесли такой вклад в изучение явлений, относящихся к области языка, который, не боясь преувеличений, можно назвать огромным. К сожалению, от представителей древней Стои до нас не дошло никаких целостных произведений, мы можем судить об их взглядах, в частности о взглядах на те или иные явления в области языка, лишь на основании отдельных сохранившихся цитат и поздних изложений, часто принадлежащих писателям, враждебно относившимся к стоическим<sup>1</sup> учениям.

Главные наши источники по вопросу о взглядах стоиков на языковые явления — это труд греческого писателя III в. н. э. Диогена Лаэртца «Жизнь и учения знаменитых философов», трактат римского ученого I в. до н. э. Марка Теренция Варрона «О латинском языке», незаконченное произведение христианского богослова Августина (354—430 гг. н. э.) «О диалектике», а также сочинения поздних греческих и латинских грамматиков. Из всех этих источников мы не можем получить вполне ясного и законченного представления о воззрениях стоиков по вопросам языка, мы не можем точно определить, к какому из представителей древней Стои восходят те или иные высказывания, известные нам как стоические, поэтому при изложении языковых учений стоиков необходимо прибегать в ряде случаев к гипотетическим реконструкциям.<sup>1</sup>

Но даже то относительно немногое, что нам достоверно известно

<sup>1</sup> Stei n t h a l H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. T. 1. Berlin, 1890, S. 298; G u d e m a n A. Grammatik. — In: Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, bearb. von G. Wissowa und W. Kroll. Bd 7. Stuttgart, 1912, S. 1788; R o b i n s R. H. Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe. London, 1951, p. 25; B a r w i c k K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957, S. 7, 8, 21; Т р о н с к и й И. М. Основы стоической грамматики. — В кн.: Романо-германская филология. Сб. статей в честь акад. В. Ф. Шиммарова. Л., 1957, с. 300, 301; P i n b o r g J. Classical antiquity: Greece. — In: Current trends in linguistics. Vol. 13 (Historiography of linguistics). The Hague—Paris, 1975, p. 77.

об учениях стоиков по проблемам языка, безусловно позволяет сделать вывод о значительности проделанной ими работы. В области изучения явлений языка стоики оставили далеко позади себя своих предшественников, даже таких великих, как Платон и Аристотель, и явились подлинными основателями учения о языке в европейской научной традиции.

Философия подразделялась у стоиков на три составные части: логику, физику (натурфилософию) и этику. Самый термин «логика» стоики ввели впервые. Величайший из предшественников стоицизма в этой области, Аристотель называл науку о законах и формах мышления аналитикой.<sup>2</sup>

Предмет логики понимался стоиками своеобразно. Логика должна изучать, по мнению стоиков, не только понятия, суждения, умозаклучения, но и словесные способы их выражения. «Логика (у стоиков — *И. П.*) — учение о речи. Она изучает и словесные знаки (звуки, слоги, слова, предложения) и означаемое ими (понятия, суждения, умозаклучения)». <sup>3</sup> «Предмет логики (у стоиков) — словесные знаки (звуки, слоги, слова, предложения) и то, что этими знаками обозначается (понятия, суждения, умозаклучения или выводы)». <sup>4</sup> В свою очередь логика подразделялась стоиками на две отрасли: на диалектику и риторику. Диалектика — это наука о правильном рассуждении (*ἐπιστήμη τοῦ ὀρθῶς διαλέγεσθαι* SVF<sup>5</sup> II, p. 18, fr. 48 = Diog. Laert. VII, 42), риторика — наука об умении красиво говорить (*ἐπιστήμη τοῦ εὖ λέγειν* *ibid*). Диалектика также состоит из двух частей: из учения об обозначаемом и учения об обозначаемом (*περὶ σημαίνοντα καὶ σημαίνόμενα* SVF II, p. 38, fr. 122 = Diog. Laert. VII, 62). Источники не позволяют нам с полной определенностью решить, о чем именно шла речь в первой и во второй частях диалектики. По этому вопросу не существует единства мнений у современных исследователей, не существовало его, по всей вероятности, и у самих стоиков.<sup>6</sup> Все же не вызывает сомнений тот факт, что «учение об обозначаемом» рассматривало не только звуковой строй языка, но и некоторые грамматические явления, «учение об обозначаемом» рассматривало наряду с суждениями и умозаклучениями также многие явления, относящиеся к сфере языка. И. М. Тронский полагал, что «учение о частях речи стоики относили к области

<sup>2</sup> Лосев А. Ф. Стоицизм. — В кн.: Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970, с. 136, 137; Кондаков Н. И. Логика Стои. — В кн.: Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975, с. 299; Асмус В. Ф. Античная философия. М., 1976, с. 454.

<sup>3</sup> Арним Г. История античной философии. СПб., 1910, с. 158.

<sup>4</sup> Асмус В. Ф. Античная философия, с. 454.

<sup>5</sup> SVF здесь и далее: *Stoicorum veterum fragmenta*. Coll. J. v. Arnim, vol. I. Lipsiae, 1905; vol. II. Lipsiae, 1903; vol. III, Lipsiae, 1903; vol. IV. Lipsiae, 1924.

<sup>6</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . . , S. 289.

„обозначающего“, формального, средств речи; грамматические категории принадлежат уже к сфере „обозначаемого“, т. е. реального и мыслимого». <sup>7</sup> Аналогичного мнения придерживается Я. Пинборг. <sup>8</sup> Самое существенное заключается здесь для нас в том, что учение о языке не только не было у стоиков самостоятельной научной дисциплиной, оно даже не составляло специального раздела их логики, некоторые аспекты языка принадлежали компетенции одной отрасли логики, иные аспекты — компетенции другой отрасли логики. Как и их предшественники, стоики полностью подчиняли свои языковые разыскания задачам философского исследования. «Конечная цель стоика в его исследовании никогда не совпадает с задачей грамматика; даже при рассмотрении вопросов, казалось бы, чисто языковых стоик всегда остается логиком, философом». <sup>9</sup> Если тем не менее интерес стоиков к явлениям языка был чрезвычайно велик и они достигли в области изучения различных сторон языка замечательных результатов, то это объясняется их основополагающими философскими концепциями.

У стоиков, как и у Гераклита, высшим организующим началом бытия, высшим моральным принципом, самым божеством является *Логос* (SVF I, p. 110, fr. 493=Diog. Laert. VII, 134). Божественному Логосу причастен человеческий разум (SVF II, p. 228, fr. 840). «Закон, который правит миром и предписывает каждому отдельному существу должный образ действия и поведения, есть логос. Развитый разум человека тождествен с разумом божественным». <sup>10</sup> При этом внутренний логос человека — его разум (λόγος ἐνδιὰθετος) находит вполне точное и адекватное выражение в речи — во внешнем, произносимом, выражаемом в словах логосе (λόγος προφορικός). «Логос один и тот же, независимо от того, заключен ли он внутри сознания или обнаружился как внешнее словесное выражение». <sup>11</sup> Таким образом, изучение речи — объекта, в наибольшей мере доступного наблюдению, — может привести к постижению человеческого разума, а в силу причастности человеческого разума разуму божественному изучение речи приводит и к постижению законов бытия. «Доверяя языку как обнаружению разума, а человеческому разуму как частице всеобщего и всепроникающего природного разума, стоик строит параллельные ряды — физический, логический и грамматический, различая, но не отрывая друг от друга предмет, мышление и язык; затем, двигаясь в обратном направлении — от наружного к скрытому, он со всей античной прямолинейностью будет искать в строении предложения непосредственных отражений структуры самой реальности, а в выделяемых при анализе предло-

<sup>7</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке. — В кн.: Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 26.

<sup>8</sup> Pinborg J. Classical antiquity: Greece, p. 79.

<sup>9</sup> Dahlmann H. Varro und die hellenistische Sprachtheorie. Berlin, 1932, S. 54.

<sup>10</sup> Асмус В. Ф. Античная философия, с. 470.

<sup>11</sup> Там же, с. 454.



жения классах слов столь же непосредственного отражения предметных категорий действительного мира. Объективным результатом этих исканий предметных основ языка явится более чем сомнительная физика, малопродуктивная, быть может, логическая теория и весьма существенное движение вперед в области грамматики». <sup>12</sup> И. М. Тронский прекрасно выразил в этих словах позицию стоиков по отношению к языку; только в одном с ним, пожалуй, нельзя согласиться. Следуя давней научной традиции, И. М. Тронский дает хотя и осторожную, но все же негативную оценку логической теории стоиков. Последние десятилетия принесли с собой коренной перелом в отношении к стоической логике. Как теперь стало ясно, стоицизму принадлежит видная роль в разработке этой философской дисциплины, в частности, стоики предвосхитили правила ряда логических операций современной математической логики. <sup>13</sup>

Таким образом, перед нами интереснейший пример того, как безусловно ошибочная исходная позиция приводит порой в науке к чрезвычайно ценным результатам исследования.

Давая в целом высокую оценку достижениям стоицизма в области изучения языка, надо все же оговориться, что исходные позиции стоиков наложили определенные ограничения на их подход к явлениям языка. Как и их предшественники в истории греческой науки, стоики обращали исключительное внимание на функционально-семантические аспекты, к формальным аспектам языка (звуковому строю, формальной морфологии) они не проявили по существу никакого интереса.

Основополагающим принципом этики стоицизма было убеждение в возможности для человека достойной и счастливой жизни в этом мире. Но такая жизнь возможна для человека именно потому, что мир в целом устроен разумно. Мир есть единое органическое целое, все части которого мудро согласованы между собой. Все существующее разумно. То, что представляется нам злом, в действительности служит дальним, непосредственно для нас непонятным целям божества. То, что представляется нам нелепостью, как например дикие народные предания, заключает в себе зерно истины, которое можно извлечь при правильном истолковании. В мире нет ничего случайного, все совершается в соответствии с неизменной необходимостью, неразрывной цепью причинности. Действующая в природе неумолимая фатальная предопределенность ее событий и процессов обосновывает веру в предсказания.

Вполне понятно, что для сторонников такого мирозерцания связь между звучанием слова и его значением не может представляться случайной. Стоики — самые последовательные приверженцы

---

<sup>12</sup> Тронский И. М. Основы стоической грамматики, с. 302, 303.

<sup>13</sup> Lohmann J. Über die stoische Sprachphilosophie. — Studium Generale, 1968, vol. 21, fasc. 3, p. 250 sqq.; Кондаков Н. И. Логика Стои, с. 300; Асмус В. Ф. Античная философия, с. 454.

теории о «природной» связи между вещью и ее названием, в этом отношении они прямые антиподы Аристотеля. Если же между словом и обозначаемым им предметом существует внутренняя, органическая, «природная» связь, то это значит, что анализ слова должен привести к постижению сущности соответствующего предмета. Этимологизирование занимает поэтому исключительно большое место в разысканиях стоиков. Самый термин «этимология» был впервые введен в научный обиход одним из корифеев стоицизма Хрисиппом.<sup>14</sup>

Во всех областях знаний стоики прибегали к этимологическим разысканиям. Они использовали этимологии для обоснования своих воззрений в физике и космологии, в этике и теологии.<sup>15</sup> Дело этим, однако, не ограничивалось. Стоики были, по-видимому, первыми философами, посвятившими этимологическим исследованиям специальные сочинения. О Хрисиппе нам известно, что он написал ряд книг об этимологиях.<sup>16</sup> По всей вероятности, эти книги приближались к тому, что можно с известным правом назвать этимологическими словарями.

Как и Платон в «Кратиле», стоики проводили различие между «первыми словами» (*πρῶται φωναί*) и словами позднейшими, возникшими из первых в результате изменений значения, изменений звуковой формы, а также в результате словосложения. Подлинная, ничем не замутненная связь между звучанием и значением характерна только для «первых слов», созданных древнейшими людьми, которые, по мнению стоиков, превосходили их современников не только по своим нравственным качествам, но и в духовном, интеллектуальном отношении.<sup>17</sup> Выявить связь между звучанием и значением у слов позднейших можно только в результате тщательного анализа.<sup>18</sup>

Приведем несколько примеров этимологизирования стоиков. Хрисипп полагал, что центр духовной жизни человека, его ведущее начало (*ἡγεμονικόν*) находится не в голове, а в сердце. В качестве аргумента, подтверждающего это положение, Хрисипп приводил тот факт, что при произнесении последнего слога слова ἐγώ 'я' подбородок, опускаясь, приближается к груди, к сердцу и указывает тем самым на место, где находится подлинное «я»

---

<sup>14</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 27; Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus. Reinbek bei Hamburg, 1970, S. 315.

<sup>15</sup> Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten und in der stoisch-hellenistischen Zeit. Winterthur, 1961, S. 111.

<sup>16</sup> См. об этом: Gudeman A. Grammatik, S. 1789; Dahlmann H. Varro und die hellenistische Sprachtheorie, S. 8; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, S. 60; Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie, S. 250.

<sup>17</sup> Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, S. 60.

<sup>18</sup> Lohmann J. Über die stoische Sprachphilosophie, S. 257.

человека (SVF II, p. 245, fr. 895).<sup>19</sup> Стремясь доказать, что центральным органом духовной жизни является сердце, Хрисипп указывал на близость по звучанию между словом καρδιά 'сердце', с одной стороны, и словами κράτος 'сила, мощь', λόγος 'повелитель, владыка' — с другой (SVF II, p. 245, fr. 896).<sup>20</sup> О том, что Зевс — верховное божество, полагает Хрисипп, свидетельствует его имя, ибо Δία (форма винительного падежа от Ζεύς) совпадает по звучанию с διὰ — предлогом, означающим 'из-за', 'по причине'; одинаковое звучание этих слов служит основанием для вывода, в соответствии с которым Зевс есть причина всего сущего (SVF II, p. 312, fr. 1063).<sup>21</sup>

Итак, «первые слова» отражают природу обозначаемых ими вещей. «Стоики полагают, — сообщает нам христианский богослов и философ Ориген (III в. н. э.), — что первые слова (πρῶται φωναί) подражают вещам» (SVF II, p. 44, fr. 146). Наиболее полные сведения относительно воззрений стоической школы на взаимоотношение между звучанием и значением у «первых слов» мы можем почерпнуть из шестой главы сочинения Августина «О диалектике», написанного на латинском языке. Мы узнаем отсюда, что «первые слова», по мнению стоиков, воздействуют на наше восприятие примерно таким же образом, как и обозначаемые ими вещи. С наибольшей ясностью это проявляется у звукоподражательных слов. В качестве примеров Августин приводит такие латинские слова, как tinnitus 'звон, бряцанье', hinnitus 'ржанье', balatus 'блеяние овец'. С звукоподражательными могут быть в определенном отношении сопоставлены слова, которые производят на наш слух такое же впечатление, каковое обозначаемые этими словами предметы производят на наши иные чувства. Мед приятен на вкус, латинское слово mel 'мед' приятно на слух. Резкое и неприятное по звучанию латинское слово sicut означает 'крест' (орудие пыток и казни). Связь между звучанием и значением слова может быть основана на указательном, дейктическом принципе. При произнесении латинского слова vos 'вы' мы вытягиваем губы по направлению к собеседнику, при произнесении слова nos 'мы', мы прижимаем губы к своим зубам, т. е. к себе. Примеры на латинские местоимения приводит римский писатель Авл Геллий (II в. н. э.) в своем сочинении «Аттические ночи».<sup>22</sup>

<sup>19</sup> См. об этом: Dahlmann H. Varro und die hellenistische Sprachtheorie, S. 8, 9; Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten..., S. 95.

<sup>20</sup> Dahlmann H. Varro und die hellenistische Sprachtheorie, S. 9.

<sup>21</sup> Ibid., p. 21.

<sup>22</sup> О «первичных словах» в понимании стоиков см.: Steintal H. Geschichte der Sprachwissenschaft..., S. 329 sqq.; Dahlmann H. Varro und die hellenistische Sprachtheorie, S. 7 sqq.; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, S. 29, 76; Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten..., S. 95, 96, 103; Pinborg J. 1) Das Sprachdenken der Stoa und Augustins Dialektik. — Classica et Mediaevalia, 1962, vol. 23, fasc. 1—2, p. 161; 2) Classical antiquity: Greece, p. 57.

Но таких вещей, которые производят на наше восприятие впечатление, сопоставимое с впечатлением, производимым на наш слух соответствующим словом, на свете не так уже много. Как возникают названия других вещей, не входящих в категорию вещей, названиями для которых служат «первичные имена»? Стоики полагают, что все остальные вещи получают свои названия, восходящие в конечном счете так или иначе к «первичным именам», на основании определенных связей, существующих между этими вещами и теми, которым соответствуют «первичные имена». Вещь, определенным образом связанная с такой вещью, которой соответствует «первичное имя», получает в качестве своего названия это «первичное имя» или, что бывает гораздо чаще, слово, представляющее собой некоторое видоизменение «первичного имени». Связи между вещами, на основании которых происходит наименование, стоики подразделяли на три категории. Названиями могут обмениваться вещи, объединенные между собой отношениями: 1) сходства, 2) смежности и 3) контраста.<sup>23</sup>

Августин — наш главный источник по этимологии стоиков — приводит в качестве примера наименования по сходству латинское слово *crus* ‘голень’, близкое по звучанию к «первичному слову» *crux* ‘крест’. Из всех членов человеческого тела голень и по длине, и по твердости наиболее сходна с древком креста, именно поэтому голень и получила свое название. В качестве отношений смежности Августин рассматривает отношение между причиной и следствием, между тем, что содержит, и тем, что содержится, между частью и целым, а также некоторые другие отношения. Звуковая близость между словами *orbis* ‘круг’ и *urbs* ‘город’ связана, как полагает Августин, с тем, что по древнеримскому обычаю при основании города вокруг территории, для него предназначенной, плугом проводили круг. Поэтому *urbs* получил свое название от *orbis*.

Печальную известность приобрели примеры, приводимые Августином для иллюстрации наименования по признаку контраста. Близки по звучанию слова *bellus* ‘милый, приятный’ и *bellum* ‘война’. По мнению Августина, война (*bellum*) получила это свое название именно потому, что она не является приятным делом (*res bella*).

Как видим, стоики довольно тщательно разработали вопрос о принципах наименования, о переносах значения, и в некоторых отношениях они добились здесь результатов, которым можно дать положительную оценку (принципы наименования по сходству и по смежности).

Вторичные, производные слова отличаются, однако, от первичных не только по своему значению, но в большинстве слу-

---

<sup>23</sup> См. об этом: Steintal H. *Geschichte der Sprachwissenschaft*, S. 330; Gudeman A. *Grammatik*, S. 1790; Barwick K. *Probleme der stoischen Sprachlehre*. . ., S. 20, 30; Pinborg J.\*<sup>1</sup>) *Das Sprachdenken der Stoa*. . ., S. 163; 3) *Classical antiquity; Greece*,\*p. 95.

чаев также и по своей звуковой форме (ср., например, *otbis* и *urbs*). Существуют ли какие-либо закономерности и какие именно в сфере звуковых изменений — этот вопрос, насколько мы можем судить, интересовал стоиков, по-видимому, мало или даже не интересовал вовсе.<sup>24</sup> Исключительное внимание к семантической стороне языковых явлений и почти полное пренебрежение к их формальной стороне характерны для стоиков в такой же мере, как и для их предшественников, в частности для Платона и Аристотеля; в этом отношении стоики находятся вполне в русле традиций античной науки.

Современных исследователей занимает вопрос, можно ли усмотреть в этимологизировании стоиков какой-либо прогресс по сравнению с этимологизированием, представленным в платоновском «Кратиле».<sup>25</sup> На наш взгляд, некоторый прогресс все же заметен, и заключается он в первую очередь в том, что стоики пытаются внести определенную систему в область изменения значений слова, пытаются выявить правила, в соответствии с которыми происходит перенос названия с одного предмета на другой. При этом следует, конечно, помнить, что Платон в «Кратиле» относится к этимологизированию иронически или полуиронически, стоики же искренне верят, что объяснение слов ведет к объяснению мира, в этом отношении они неизмеримо наивнее Платона.

В огромном большинстве случаев этимологии стоиков произвольны и фантастичны. Если стоики занимают почетное место в истории науки о языке, то они удостоились его не благодаря, а, пожалуй, вопреки своим этимологическим разысканиям. Критическое отношение к этимологизированию стоиков проявилось уже в древности.<sup>26</sup> Так, например, Цицерон пишет (*De natura deorum* 3, 63): «Тяжкий и совершенно бесполезный труд взяли на себя сначала Зенон, потом Клеанф, в дальнейшем Хрисипп. . . пытаюсь установить, по какой причине те или иные вещи получили свое название». Подлинных достижений стоики добились в других областях изучения языковых явлений.

Выдающийся интерес представляет учение стоиков о различных аспектах языка, их взаимоотношении между собой, их связях с внеязыковыми явлениями. Используя современную терминологию, можно было бы с известным правом назвать это учение «учением о разных уровнях языка».

Две стороны речевого акта, по представлению стоиков, — это «обозначающее» (*σημαίνον*) и «обозначаемое» (*σημαινόμενον*). «Обоз-

<sup>24</sup> Steinthal H. *Geschichte der Sprachwissenschaft*... S. 334; Barwick K. *Probleme der stoischen Sprachlehre*... S. 77.

<sup>25</sup> См.: Steinthal H. *Geschichte der Sprachwissenschaft*... S. 334; Barwick K. *Probleme der stoischen Sprachlehre*... S. 70, 76, 77; Gentinetta P. M. *Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten*... S. 103.

<sup>26</sup> См.: Gudeman A. *Grammatik*, S. 1790, Dahlmann H. *Varro und die hellenistische Sprachtheorie*, S. 2, Barwick K. *Probleme der stoischen Sprachlehre*... S. 58.

начающее» есть звук (ῥή φωνή SVF II, p. 48, fr. 166). Но это далеко не просто звук, звуки могут производить и неодушевленные предметы, звуки могут издавать животные и лишенные разума младенцы, даже звуки, произносимые взрослыми людьми, не всегда есть звуки речи. Звуки речи — это особым образом организованные звуки, это «членораздельные звуки» (φωνή ἐναρθρος SVF III, p. 213, fr. 20), «звуки, могущие быть записанными» (φωνή ἐγγράμματος *ibid.*). Сочетание таких звуков составляет λέξις — звуковую сторону высказывания, образованную в соответствии с фонетическими правилами языка. Подобное сочетание звуков может быть наделено значением, но это не обязательно; любое фонетически правильное для данного языка сочетание звуков будет составлять λέξις, даже если оно и не наделено значением, как например звукоподражательное слово βλίττω — нечто вроде нашего «дзинь-дзинь» (*ibid.*). Настаивая на существовании принципиального различия между просто звуком и звуком речи, стоики развивают мысли, высказанные еще Аристотелем.

Значительный прогресс по сравнению с Аристотелем мы наблюдаем там, где стоики рассуждают о смысловой, содержательной стороне речи — об «обозначаемом». Аристотель писал в трактате «Об истолковании» (гл. I, 3): «Подобно тому как письма не у всех одни и те же, так и звучания слов не одни и те же; но то, непосредственными знаками чего служат слова, а именно — представления в душе одинаковы у всех, точно так же, как одинаковы и предметы, ближайшими отражениями которых служат представления в душе».

Итак, Аристотель различает три начала: 1) звучание слова, 2) представление в душе, 3) предмет, которому соответствует представление в душе. Стоики усматривают наряду с этими тремя еще четвертое начало — «обозначаемое» (σημαινόμενον) — смысловую, содержательную сторону речи, которую они называют также λεκτόν «высказываемое». Смысловая сторона речи, «высказываемое», не есть просто представление в душе. Психические представления могут быть у животных и у младенцев, даже у взрослых разумных людей могут быть некие смутные психические представления, которые человек не в состоянии выразить словами. «Высказываемое» (λεκτόν) — это особым образом организованная мысль, это такая мысль, которая находит выражение в речи. «Разумные представления» (φαντασίαι λογikai) могут быть только у разумных существ (SVF II, p. 24, fr. 61), «высказываемое» находится в соответствии с «разумными представлениями» (SVF II, p. 58, fr. 181), разумным же является такое представление, которое может быть выражено в речи (SVF II, p. 61, fr. 187). Но, находясь в соответствии с «разумным представлением», λεκτόν не совпадает с ним, а составляет особую сущность. «Высказываемое» есть «то содержание, которое непосредственно заключено в речи, выражается ею, но оно отлично от того представления (ἐννοια), которое вещь создает в на-

шем сознании». <sup>27</sup> «Между мыслью и звуком лежит „обозначаемое“, „высказываемое“, т. е. отвлеченное содержание речи в его неразрывном единстве с звуковой формой». <sup>28</sup> «„Обозначаемые“ *σημαινόμενα* не должны быть отождествляемы с понятиями». <sup>29</sup>

Пожалуй, в наиболее ясной форме учение стоиков об «обозначающем» и «обозначаемом» изложено в одном из сочинений представителя позднего скептицизма Секста Эмпирика (по-видимому, конец II и начало III в. н. э.). И. М. Тронский передает и комментирует интересующее нас рассуждение Секста Эмпирика следующим образом: «Согласно Сексту Эмпирику (SVF II, p. 48, fr. 166), стоики считали „сопряженными между собой три вещи — обозначающее, обозначающее и предмет“ (о четвертом звене в этой цепи — представлении — Секст здесь не упоминает, но в стоической философии учение о представлении разрабатывалось очень подробно). „Обозначающее“, согласно его разъяснению, „есть звук, например, ‘Дион’“, предмет — это „внешний субстрат, например сам Дион“. К сожалению, Секст не иллюстрирует примером „обозначаемого“ и только разъясняет, что это есть некое выражаемое звуком „дело“ (*πράγμα*), которое „мы умственно постигаем, а варвары не воспринимают, хотя и слышат звук“. Далее мы узнаем, что „звук“ и „предмет“ телесны, между тем как „обозначаемое дело“ (*τὸ σημαινόμενον πρᾶγμα*) бестелесно, и что эта бестелесная вещь есть „высказываемое“, которое бывает истинным или ложным. . .». <sup>30</sup>

Надо признать, что с «обозначаемым» (*σημαινόμενον*), «высказываемым» (*λεκτόν*) у стоиков дело обстоит отнюдь не так просто. Источники говорят об этой категории в «туманных выражениях»; <sup>31</sup> различные представители стоической школы, творчество которых протекало в разное время, истолковывали понятие *λεκτόν* далеко не одинаковым образом, да и вообще стоики не выработали вполне последовательного и непротиворечивого учения о взаимоотношении между языком и мышлением. <sup>32</sup> Тем не менее сама идея о разграничении между мыслью как чисто психическим образованием, с одной стороны, и содержательным, смысловым аспектом речевых высказываний — с другой, безусловно стоицизму принадлежит. Идея эта имела основополагающее значение для развития науки о языке, поскольку она способствовала выявлению специального объекта этой науки. Для Аристотеля существуют только звуки и представления в душе, но представления в душе находятся уже вне сферы языка, а в звуках речи Аристотель усматривает объект изучения ритмиков и метриков; затрагивая в нескольких словах вопрос о признаках, по которым различаются звуки речи, Аристо-

<sup>27</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . ., S. 288.

<sup>28</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 26.

<sup>29</sup> Pinborg J. Classical antiquity: Greece, p. 79.

<sup>30</sup> Тронский И. М. Основы стоической грамматики, с. 304.

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . ., S. 338.

тель пишет в заключении: «Подробности обо всем этом следует рассматривать в метрике» (Поэтика 20, 3).

«Обозначаемое», «высказываемое» представляет собой нечто специфически языковое, причем различающееся от языка к языку, в то время как представления в душе одинаковы для всех людей вне зависимости от языка, на котором они говорят, а звуки речи, взятые в отрыве от смысловой стороны высказывания, доступны для восприятия любого человека, в том числе и такого, который не владеет соответствующим языком.

Стоики, таким образом, создали теоретические предпосылки для возникновения науки о языке как самостоятельной дисциплины, но сами они этого не сознавали и продолжали, подобно своим предшественникам, рассматривать анализ языковых фактов как средство постижения законов мышления и законов бытия.

Выдающимися были достижения стоиков не только в той области, которую можно назвать философией языка, замечательных результатов добились они также в исследовании различных конкретных языковых явлений. Менее всего это относится, правда, к изучению звукового строя языка. Насколько мы можем судить, в области классификации и характеристики звуков речи стоики придерживались примерно тех же воззрений, что и Аристотель.<sup>33</sup> Иное дело — грамматический строй языка, в исследовании которого стоики продвинулись по сравнению с Аристотелем очень существенно.

Значительным вкладом в создание грамматической дисциплины явилось разработанное стоиками учение о частях речи. У Аристотеля, как нам уже известно, встречаются названия частей речи (ὄνομα, ῥῆμα, ἄρθρον, σύνδεσμος), но ни в одном из своих сочинений Аристотель не посвятил рассуждению о частях речи специального раздела. «Перечисляя в 20-й главе „Поэтики“ μέρη λέξεως „части словесного изложения“, Аристотель на равных правах называет „элемент“ (т. е. отдельный звук), слог, союз, член, имя, глагол, „падеж“ (т. е. форму имени или глагола, отличную от исходной), „речь“ (законченное высказывание любой величины — от предложения до «Илиады»). . . Будущие „части речи“ не только не объединены между собой как слова в отличие от предложений или от единиц чисто фонетического порядка, но и разбиты, попеременно с категориями иного типа, между членами основной дихотомии — „значащими“ и „незначащими“ звуками».<sup>34</sup>

Данные, которые можно извлечь из наших источников, с достаточной определенностью говорят нам о том, что сведения о частях речи излагались стоиками в качестве особого раздела их учения о языке. Хрисипп установил пять частей речи (SVF II, p. 44, fr. 147 = Diog. Laert. VII, 57): имя собственное (ὄνομα),

<sup>33</sup> См. об этом, в частности: Pinborg J. Classical antiquity: Greece, p. 98.

<sup>34</sup> Тронский И. М. Основы стоической грамматики, с. 307.



имя нарицательное (προσηγορία), глагол (ῥῆμα), союз (σύνδεσμος) и член (ἄρθρον). Отделение имен собственных от имен нарицательных произведено на основании чисто семантических признаков; с формальной, морфологической точки зрения это разграничение никак не мотивировано.<sup>35</sup> Диоген Вавилонский дает следующее определение этим частям речи (SVF III, p.213, fr.22=Diog. Laert. VII, 58): «Нарицание — часть речи, означающая общее качество, например: человек, конь. Имя — часть речи, показывающая единичное качество, например: Диоген, Сократ». «Глагол, по Диогену Вавилонскому, есть часть речи, означающая несоставной предикат» (ibid.). Глагол, таким образом, определен также не на основании его морфологических признаков, а на основании его синтаксической функции. Такие части речи, как член и союз, содержат у стоиков иные категории слов, чем у Аристотеля. Под «членами» стоики понимают местоимения (указательные, вопросительные, относительные и неопределенные) и артикли, под «союзами», помимо союзов в современном понимании этого термина, — также предлоги. Объединение местоимений и артиклей в одну часть речи имеет определенные основания; и в функциональном отношении и в морфологическом (следует учесть, что в древнегреческом языке представлен только определенный артикль) местоимения и артикли близки друг к другу. Предлоги и союзы также имеют много общего между собой. Это отмечают и современные исследователи: «Так называемый союз является. . . фактически предлогом к предложению»;<sup>36</sup> «С предлогами соотносительны союзы».<sup>37</sup> Во многих языках трудно провести четкое разграничение между союзами и предлогами, большое число слов могут выступать как в той, так и в другой функции.<sup>38</sup> Таким образом, даже с нашей современной точки зрения включение предлогов и союзов в одну часть речи вовсе не лишено смысла. Кроме того, надо отметить, что стоики выделяли предлоги в особую группу внутри «союзов», называя предлоги *προθετικὸι σύνδεσμοι* 'препозитивные союзы'.<sup>39</sup> Члены подразделялись стойками также на категории: на «определенные члены» (ἄρθρα ὀρισμένα) и «неопределенные члены» (ἄρθρα ἀοριστώδη). Не вполне ясно, какие именно местоимения включались в каждую из этих категорий. По мнению Робинса, «определенными» являлись для стоиков такие «члены», которые могли быть соотнесены с каким-либо лицом (первым, вторым или третьим), «определенными членами» стоики называли личные и указательные местоимения,

<sup>35</sup> См. об этом, в частности: К о б і в И. У. Граматична термінологія стоїків. — *Іноземна філологія*, 1970, № 8, вип. 20. (Питання класичної філології), с. 27.

<sup>36</sup> Е с п е р с е н О. Философия грамматики. М., 1958, с. 98.

<sup>37</sup> В и н о г р а д о в В. В. Русский язык. М.—Л., 1947, с.705.

<sup>38</sup> R o b i n s R. H. Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe, p. 29.

<sup>39</sup> Ibid., см. также: К о б і в И. У. Граматична термінологія стоїків, с. 28.

в качестве «неопределенных членов» они рассматривали артикли и относительные местоимения.<sup>40</sup>

В своих определениях служебных частей речи стоики в противоположность Аристотелю нигде не говорят о словах соответствующих категорий как о лишенных значения.<sup>41</sup> «Служебные слова перестают представляться лишенными „значения“, и это свидетельствует об углублении понятия „значения“, которое уже не сводится к простому называнию, именованию предмета или действия».<sup>42</sup>

Во II в. до н. э. Антипатр Тарсский присоединил к пяти частям речи Хрисиппа и Диогена Вавилонского шестую часть — наречие, которую он назвал *μεσότης* 'середина' (SVF III, p. 247, fr. 22 = Diog. Laert. VII, 57); такое название наречие получило, по-видимому, по той причине, что по своей синтаксической функции оно тяготеет к глаголу, а с морфологической стороны ближе к имени.<sup>43</sup>

Таким образом, в своем учении о частях речи стоики сделали заметный шаг вперед по сравнению с Аристотелем: 1) в противоположность Аристотелю стоики отличали части речи от языковых единиц иного порядка и рассматривали учение о частях речи как особую область своих языковых разысканий; 2) распределение различных категорий слов по частям речи построено у стоиков на значительно более рациональной основе, чем у Аристотеля (это относится к таким частям речи, как «члены» и «союзы»); 3) в отличие от Аристотеля стоики рассматривали вспомогательные, служебные части речи как наделенные значением; можно, по-видимому, сказать, что стоики приближались к осознанию «грамматического значения»; 4) к известным ранее частям речи стоики присоединили еще одну — наречие.

Наиболее слабая, уязвимая сторона учения о частях речи у стоиков заключалась, пожалуй, в том, что распределение слов по различным частям речи было основано у них по преимуществу на семантических и синтаксических признаках, морфологические же признаки почти не принимались во внимание.<sup>44</sup>

Предметом научной дискуссии служит вопрос, существовал ли у стоиков специальный термин для обозначения «вторичных» грамматических категорий, т. е. словоизменительных грамматических категорий, присущих отдельным частям речи (в латинской грам-

---

<sup>40</sup> Robins R. H. *Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe*, p. 30. Иные мнения по этому вопросу см.: Barwick K. *Probleme der stoischen Sprachlehre*, S. 35; Кобів И. У. *Граматична термінологія стоїків*, с. 28; Pinborg J. *Classical antiquity: Greece*, p. 99.

<sup>41</sup> См. об этом: Robins R. H. *Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe*, p. 29; Pinborg J. *Classical antiquity: Greece*, p. 100.

<sup>42</sup> Тронский И. М. *Основы стоической грамматики*, с. 308.

<sup>43</sup> Gudeman A. *Grammatik*, S. 1788; Каракулаков В. В. К вопросу о соотносительности частей речи стоиков с их логическими категориями. — *Studii Clasice*, 1964, № 6, с. 85; Кобів И. У. *Граматична термінологія стоїків*, с. 27; Pinborg J. *Classical antiquity: Greece*, p. 100.

<sup>44</sup> См. об этом, в частности: Тронский И. М. *Основы стоической грамматики*, с. 309; Кобів И. У. *Граматична термінологія стоїків*, с. 28.

матике эти «вторичные» категории получили название «акциденций» — термин, используемый и в современном языкознании).<sup>45</sup> К. Барвик стремится доказать, что в этом значении у стоиков выступало слово *συμβεβηκότα* «привходящие (признаки)».<sup>46</sup> Я. Пинборг вступает в полемику с Барвиком и утверждает, что никакого специального термина для обозначения акциденций у стоиков не существовало.<sup>47</sup>

Вне зависимости от того или иного решения этого спорного вопроса вполне ясно одно: в изучении целого ряда проблем, связанных со словоизменительными категориями имени и глагола, стоики проделали очень большую работу и добились выдающихся результатов. Одним из самых замечательных достижений стоической грамматики является учение о падеже. Термин *πτῶσις* «падеж» стоики заимствовали у Аристотеля, но придали ему иное значение. Если у Аристотеля «падеж» означает любые «косвенные» формы слова, отклоняющиеся от его исходной назывной формы, к какой бы части речи данное слово ни принадлежало, то у стоиков *πτῶσις* выступает как грамматическая категория, свойственная только склоняемым частям речи, причем это не всякая категория склоняемых частей речи, а именно та, которую называет падежом и современная грамматика. В число падежей включается при этом (также в отличие от Аристотеля) и исходная назывная форма имени — форма именительного падежа.

Комментатор Аристотеля Аммоний (V в. н. э.) сообщает нам, что перипатетики — последователи философии Аристотеля — возражали против того применения, которое термин *πτῶσις* получил у стоиков (SVF II, p. 47, fr. 164): «Перипатетики говорят стоикам, что прочие падежи справедливо называются падежами, так как они упали с прямого; но на каком основании можно называть падежом прямой, как будто он откуда-то упал?..

Стоики отвечают, что и он упал с душевного представления: желая выразить имеющиеся у нас представления о Сократе, мы произносим имя *Сократ*. И как о пущенном сверху и вертикально вонзившемся в землю грифеле говорят, что он упал и имел прямое падение, таким же образом, считаем мы, прямой (падеж) упал с представления и является прямым как первообраз звукового выражения».

Современные исследователи склоняются к мнению, что объяснение, вложенное Аммонием в уста стоиков, представляет собой

<sup>45</sup> См., например: Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1975, с. 203.

<sup>46</sup> Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre. ., S. 47 sqq. К мнению Барвика присоединились советские исследователи, см.: Кулаков В. В. К вопросу о формировании учения о системе акциденций имени и глагола. — *Іноземна філологія*, 1970, № 8, вип. 20 (Питання класичної філології), с. 22; Кобів И. У. Граматична термінологія стоїків, с. 29.

<sup>47</sup> Pinborg J. Classical antiquity: Greece, p. 102.

позднейшую искусственную рационализацию; в действительности же использование термина  $\pi\tau\omega\iota\varsigma$  по отношению к именительному падежу стало возможным благодаря тому, что первоначальное значение слова  $\pi\tau\omega\iota\varsigma$  'отпадение' уже в значительной мере поблекло и не могло воспрепятствовать новому применению этого термина. «Стоическая аргументация в том виде, как она приводится Аммонием, по всей вероятности, относится к более позднему времени и ставит себе задачей дать теоретическое обоснование „переворота“, произведенного стоиками в падежной системе имени. В действительности же дело обстояло, видимо, проще, и перенесение именования «падеж» на номинатив было вызвано не какими-то философскими соображениями, а чисто практическими: на смену первоначального образного значения  $\pi\tau\omega\iota\varsigma$  как „отпадения“ постепенно пришло понимание этого термина как формы „имени“; поскольку номинатив воспринимался как одна из „форм“ имени, то и на него логично распространилось наименование падежа».<sup>48</sup>

Стоикам было известно пять падежей, т. е. именно то число падежей, которое присуще склоняемым частям речи древнегреческого языка с точки зрения современной грамматики. Одно из сочинений Хрисиппа называлось «О пяти падежах» (SVF II, p. 6, fr. 14). Пятичленная падежная система состояла из «прямого падежа» ( $\acute{o}\rho\theta\eta\ \pi\tau\omega\iota\varsigma$ ) и четырех «косвенных падежей» ( $\pi\lambda\acute{\alpha}\gamma\iota\alpha\iota\ \pi\tau\omega\iota\varsigma$ ) (SVF II, p. 59, fr. 183 = Diog. Laert. VII, 64). «Прямой падеж» назывался, по-видимому, так же, как и в позднейшей грамматике —  $\acute{o}\nu\omicron\mu\alpha\sigma\tau\iota\kappa\acute{\eta}\ \pi\tau\omega\iota\varsigma$  'именительный падеж'. Названия трех из четырех косвенных падежей стоической грамматики нам сообщает Диоген Лаэртций (ibid.) — это  $\gamma\epsilon\mu\iota\kappa\acute{\eta}\ \pi\tau\omega\iota\varsigma$  'родительный падеж',  $\delta\omicron\tau\iota\kappa\acute{\eta}\ \pi\tau\omega\iota\varsigma$  'дательный падеж' и  $\alpha\iota\tau\iota\alpha\tau\iota\kappa\acute{\eta}\ \pi\tau\omega\iota\varsigma$  'винительный падеж'. Что представлял собой и как назывался четвертый косвенный падеж стоической грамматики, об этом из наших источников мы не можем извлечь никаких данных. В позднейшей грамматике в качестве четвертого косвенного падежа выступал звательный падеж ( $\kappa\lambda\eta\tau\iota\kappa\acute{\eta}\ \pi\tau\omega\iota\varsigma$ ).

В свое время Штейнталь упорно настаивал на том, что звательный не мог быть четвертым косвенным падежом у стоиков по той причине, что соответствующая форма рассматривалась стоиками как особый вид высказывания — «высказывание обращения» ( $\pi\rho\omicron\sigma\alpha\gamma\omicron\rho\epsilon\tau\iota\kappa\acute{o}\nu$ ).<sup>49</sup> Объективные основания для исключения звательной формы из падежной системы бесспорно имеются. В функциональном отношении звательный резко отличается от всех кос-

<sup>48</sup> Каракулаков В. В. К истории разработки учения о грамматической категории падежа. — Учен. зап. Духанбинск. пед. ин-та им. Т. Г. Шевченко, 1969, т. 70, с. 9, 10; см. также: P o h l e n z M. Die Begründung der abendländischen Sprachlehre durch die Stoa. — Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. Fachgruppe 1 (Altertumswissenschaft), 1939, Bd 3, N 6, S. 169; P i n b o r g J. Classical antiquity: Greece, p. 82 sqq.

<sup>49</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft... , S. 302.

венных падежей, поскольку он не находится в синтаксической зависимости от какого-либо другого члена предложения. «В самом деле, по-видимому, невозможно найти какое-либо сходство по значению между звательным и падежами, будь то в греческом или в каком-либо другом языке». <sup>50</sup> Штейнталь приводил доводы в пользу того взгляда, что в качестве четвертого косвенного падежа у стоиков выступало наречие. <sup>51</sup> Современные исследователи все же склонны считать, что, хотя стоическая грамматика и была по преимуществу функциональной, не следует ожидать от стоиков абсолютной последовательности, очевидная формальная связь звательного с остальными падежами не могла не побудить стоиков к включению звательного в падежную систему. <sup>52</sup>

Греческие названия падежей были скалькированы римскими грамматиками, с латинских названий скалькированы названия падежей в современных европейских языках, в том числе и в русском.

Названия, которые стоики дали родительному, дательному и винительному падежам, составляют в науке предмет оживленных дискуссий; первоначальное значение этих названий нельзя считать выясненным.

Название *γενική πτῶσις* 'родительный падеж' многие схоласти связывали с «обозначением родителя». Дело в том, что у древних греков к имени человека часто присоединялось имя его отца, выступавшее при этом в форме родительного падежа (некто вроде нашего отчества): например, *Καλλιᾶς ὁ Ἰππονόχου*. С этой точки зрения родительный падеж есть как бы «падеж родителя». В современной науке это объяснение, по-видимому, не встречает поддержки. Штейнталь производит название *γενική* от *γένος* 'род', полагая, что стоики рассматривали в качестве основной функции генитива обозначение целого (рода), из которого берется часть (вид). <sup>53</sup> По мнению Поленца, родительный был для стоиков родовым, общим падежом, наиболее «общим» из всех косвенных падежей, поскольку он вступает в синтаксическое сочетание со словами, принадлежащими к любой склоняемой или спрягаемой части речи. <sup>54</sup> Имеются и другие объяснения того, как возникло название родительного падежа.

Название *αἰτιατική πτῶσις* 'винительный падеж' связывали с глаголом *αἰτιάσθαι* 'обвинять'; такое понимание отразилось в латинском названии этого падежа *accusativus* (лат. *accusare* 'обвинять'), в русском названии *винительный падеж*. Трудно, однако,

<sup>50</sup> Hjelmslev L. La catégorie des cas. Aarhus, 1935, p. 4.

<sup>51</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft..., S. 302.

<sup>52</sup> См., в частности: Pohlenz M. Die Begründung der abendländischen Sprachlehre durch die Stoa, S. 169, Anm. 2; Pichard J. Classical antiquity; Greece, p. 85.

<sup>53</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft..., S. 302.

<sup>54</sup> Pohlenz M. Die Begründung der abendländischen Sprachlehre durch die Stoa, S. 172 sqq.

объяснить, почему «винительный падеж» должен был получить свое название от глагола «обвинять». Правда, этот глагол управляет винительным падежом, но наряду с ним винительным падежом управляет великое множество других глаголов. В современной науке наиболее широко принята точка зрения, в соответствии с которой αἰτιατική следует возводить к αἰτιάζω 'обусловленное причиной, следствие'. Обозначение объекта, возникшего в результате действия (*строить дом, печь хлеб*), не является, правда, единственной функцией винительного падежа, но это безусловно одна из основных его функций.<sup>55</sup> Предложенное объяснение названия αἰτιατική πτῶσις нельзя признать безраздельно господствующим, некоторые исследователи не склонны с ним соглашаться.<sup>56</sup>

Далеко не все ясно с названием дательного падежа δοτική πτῶσις. Связь между δοτική и δίδωμι 'давать', между лат. *dativus* и *dare* 'давать', между русск. *дательный* и *давать* очевидна. Мы представляем себе дело таким образом, что дательный падеж служит для обозначения лица, которому что-то дают. Греческое слово δοτικός, однако, обозначает не того, которому дают, а того, кто дает сам: δοτικός 'щедро дающий'.

Но как бы ни обстояло дело с происхождением названий падежей, вполне ясно одно — разработка падежной терминологии представляет собой крупный вклад стоиков в создание грамматической дисциплины. При этом следует учитывать, что «падеж» для стоиков — категория чисто семантическая. У нас нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что стоики проявляли интерес к формальным способам выражения падежных значений, к падежным окончаниям, к парадигмам склонения. Отсутствие таких данных едва ли может быть результатом случайной утраты соответствующих материалов, для этого оно слишком хорошо согласуется со всем тем, что нам известно о языковых разысканиях стоиков.

По справедливому замечанию Штейнталя, «наряду с учением о падежах учение о временах глагола представляет собой наиболее значительное достижение стоиков в области грамматики».<sup>57</sup>

Времена греческого глагола образуют сложную, многочленную систему, состоящую из презенса, имперфекта, аориста, перфекта, плюсквамперфекта и футурума (собственно говоря, в древнегреческом языке имеются два типа будущего времени, различающиеся между собой как с формальной стороны, так и по значению, но один из типов будущего времени — *futurum exactum* — представляет собой перифрастическую конструкцию и употребляется крайне редко).

Аристотель отмечает обозначение времени как наиболее важную особенность глагола, но он нигде не делает попытки описать грам-

<sup>55</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft..., S. 302.

<sup>56</sup> См.: Pfeiffer R. Geschichte der Klassischen Philologie, S. 298; Pinborg J. Classical antiquity; Greece, p. 86.

<sup>57</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft..., S. 307.

матическую систему времен греческого глагола. И в этой области стойки проявили себя как новаторы. Правда, остается не вполне ясным, с какой степенью полноты описали они систему времен греческого глагола; есть основания для сомнений в том, что стойки учитывали наряду с другими временами также аорист и футурум.<sup>58</sup> Все же современные исследователи, опираясь на некоторые косвенные данные, склонны считать, что стойки принимали во внимание все времена греческого глагола (по-видимому, без редко употреблявшегося *futurum exactum*).

Четыре времени глагола стойки различали, основываясь, с одной стороны, на том, относится ли действие к настоящему или прошедшему, и с другой — на том, является ли действие законченным или продолжающимся: *praesens* — ἐνεστώς παρτατικὸς «настоящее продолжающееся (длительное)» (SVF II, p. 48, fr. 165: «Настоящее (время) стойки определяли как настоящее продолжающееся, так как оно распространяется и на будущее; ибо говорящий „я делаю“ показывает, что „он делал“ и что „он будет делать“); *imperfectum* — παρῳχημένος παρτατικὸς ‘прошедшее продолжающееся (длительное)’ (имперфект обозначает действие, происходившее в прошлом, но не законченное и могущее продолжаться в настоящем); *perfectum* — ἐνεστώς συντελικὸς ‘настоящее законченное’ (перфект обозначает состояние в настоящем, возникшее как результат предшествующего, законченного действия); *plusquamperfectum* — παρῳχημένος συντελικὸς ‘прошедшее законченное’ (плюсквамперфект обозначает состояние в прошлом, следовавшее за законченным действием как его результат).

Все эти времена глагола стойки характеризовали как «определенные» (ὀρισμένοι) и противопоставляли им два «неопределенных» времени ἀόριστια: παρῳχημένος ἀόριστος ‘неопределенное прошедшее’ и μέλλων ἀόριστος ‘неопределенное будущее’. В дальнейшем название «аорист» закрепилось за первым из этих двух времен, будущее называлось одним словом — μέλλων.

Позднеантичный схолиаст<sup>59</sup> объясняет, как возникли названия παρῳχημένος ἀόριστος и μέλλων ἀόριστος. Для аориста, полагает схолиаст, как и для будущего времени, характерна неопределенность: когда кто-либо говорит ποιήσω ‘я буду делать’, то остается неясным, произойдет это в ближайшем или в далеком будущем. Точно так же, когда кто-то говорит ἐποίησα (аорист) ‘я сделал’, то остается невыясненным, произошло ли это действие в недалеком или в отдаленном прошедшем, тогда как перфект означает, по мнению схолиаста, действие, совершенное в недавнем прошлом, а плюсквамперфект — действие, совершенное в отдаленном прошлом.

<sup>58</sup> Robins R. H. Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe, p. 35, 36.

<sup>59</sup> Текст оригинала приводится Штейнталем: Steintal H. Geschichte der Sprachwissenschaft... S. 314.

В какой мере эти рассуждения схолиаста восходят к воззрениям стоических грамматиков, об этом судить, разумеется, трудно.

Определения, которые стоики дали грамматическим временам греческого глагола, могут вызвать возражения с точки зрения современной грамматики, в первую очередь это относится, пожалуй, к определению аориста. Но уже тот самый факт, что стоики правильно выделили времена глагола и дали им названия, составляет крупную заслугу стоиков перед наукой о языке.<sup>60</sup>

Определенные стоиками падежи склоняемых частей речи и времена глагола соответствуют морфологическим категориям древнегреческого языка; но ни в сфере наклонений глагола, ни в сфере залогов стоикам не удалось добиться подобных результатов. В этих сферах полностью господствует характерный для стоиков функционально-семантический, логико-синтаксический подход к явлениям языка, помешавший им разглядеть некоторые важнейшие особенности морфологического строя греческого глагола. «Строго говоря, грамматическое понятие о наклонениях столь же чуждо стоикам, как и Протагору. Они рассматривают не глагольные формы, а типы предложений, и это рассмотрение служит у них целям логического анализа суждения».<sup>61</sup> «Стоики занимались категорией наклонения, но здесь более, чем где бы то ни было, формальные разграничения оказались для них затемненными, поскольку эти разграничения поставлены в один ряд с разграничениями между типами предложений, в которых могут быть использованы одинаковые глагольные формы».<sup>62</sup>

В своих языковых разысканиях стоики рассматривали явления, относящиеся к сфере залоговой системы глагола, но кардинальное для морфологического строя греческого глагола разграничение между активом и медиумом не было ими раскрыто. Подводя итог изложению некоторых логико-синтаксических наблюдений стоиков, И. М. Тронский пишет: «Учения о залогах здесь еще нет: оно возникает на основе морфологических критериев, на которые древняя Стоя еще не обращает достаточного внимания».<sup>63</sup>

Таким образом, воззрения стоиков по вопросу о наклонениях и залогах следует рассматривать в связи с их синтаксическими разысканиями. Насколько мы можем судить, стоики впервые ввели самый термин «синтаксис» в античную грамматику,<sup>64</sup> но синтаксис был для них по существу скорее логической дисциплиной, чем

<sup>60</sup> О воззрениях стоиков по вопросу о временах глагола см.: Steinthal H. *Geschichte der Sprachwissenschaft...*, S. 307—315; Robins R. H. *Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe*, p. 35, 36; Barwick K. *Probleme der stoischen Sprachlehre...*, S. 51—53; Pinborg J. *Classical antiquity: Greece*, p. 92—94.

<sup>61</sup> Steinthal H. *Geschichte der Sprachwissenschaft...*, S. 317.

<sup>62</sup> Robins R. H. *Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe*, p. 34.

<sup>63</sup> Тронский И. М. *Основы стоической грамматики*, с. 306.

<sup>64</sup> Barwick K. *Probleme der stoischen Sprachlehre...*, S. 25.



грамматической. Это отмечали уже античные ученые. Дионисий Галикарнасский (греческий историк и грамматик второй половины I в. до н. э.) сообщает в одном из своих сочинений (SVF II, p. 67, fr. 206a), что книги Хрисиппа о синтаксисе посвящены логическим проблемам. О том, что синтаксические изыскания стоиков целиком и полностью подчинены задачам разработки логической теории суждения, пишут современные исследователи.<sup>65</sup>

Наряду со значением «содержательная сторона высказывания»  $\lambda\epsilon\kappa\tau\acute{o}\nu$  имеет и более специальное значение, приблизительно соответствующее понятию предложения, взятого в его смысловом, содержательном аспекте. Предложение рассматривается стоиками как «полное (самодовлеющее) высказывание» ( $\lambda\epsilon\kappa\tau\acute{o}\nu \alpha\upsilon\tau\omicron\tau\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\varsigma$ ). Помимо этого, у стоиков существует также понятие «неполного высказываемого» ( $\lambda\epsilon\kappa\tau\acute{o}\nu \acute{\epsilon}\lambda\lambda\iota\pi\acute{\epsilon}\varsigma$ ). Относительно того, что понимали стоики под «неполным высказываемым», у нас нет достаточной ясности. Некоторые источники сообщают о том, что «неполным высказываемым» было для стоиков значение отдельного слова. Так, например, Августин (De dialectica 5) пишет: «То, что из слова (ex verbo) воспринимает не ухо, а дух, и что содержится заключенным в духе, называется высказываемым ( $\text{dicibile} = \lambda\epsilon\kappa\tau\acute{o}\nu$ )».<sup>66</sup>

Современные исследователи склоняются к мысли, что то понимание «неполного высказываемого», которое мы находим у Августина, возникло относительно поздно; у представителей древней Стои, создателей стоического учения о языке, «неполное высказываемое» соответствует значению предиката — сказуемого.<sup>67</sup>

«Одни из высказываемых стоики называют полными, другие — неполными. Неполные заключают в себе незаконченные выражения, например, „пишет“; остается неизвестным „кто?“. Полные высказываемые соответствуют завершенным выражениям, например, „пишет Сократ“» (SVF II, p. 58, fr. 181 = Diog. Laert. VII, 63). «Высказываемыми ( $\lambda\epsilon\kappa\tau\acute{\alpha}$ ) Клеанф и Архедем называют сказуемые ( $\kappa\alpha\tau\eta\gamma\omicron\rho\acute{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$ )» (SVF I, p. 109, fr. 488). «Сказуемые ( $\kappa\alpha\tau\eta\gamma\omicron\rho\acute{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$ ) заключены в неполных высказываемых» (SVF II, p. 59, fr. 183 = Diog. Laert. VII, 63).

«Полное высказываемое» состоит из двух основных компонентов: «сказуемого» ( $\kappa\alpha\tau\eta\gamma\omicron\rho\acute{\eta}\mu\alpha$ ) и «падежа» ( $\pi\acute{\tau}\omega\iota\varsigma$ ). В данном контексте «падеж» приблизительно соответствует по значению подлежащему предложения, субъекту суждения. В том, что этот компонент «пол-

<sup>65</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft..., S. 307; Gudeman A. Grammatik, S. 1789; Pinborg J. Classical antiquity: Greece, p. 102.

<sup>66</sup> Другие примеры такого же понимания «неполного высказываемого» см.: Pinborg J. Classical antiquity: Greece, p. 80.

<sup>67</sup> Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft..., S. 299; Тронский И. М. Основы стоической грамматики, с. 304, 305; Кулаков В. В. К вопросу о соотносительности частей речи стоиков с их логическими категориями, с. 83 и след.; Nuchelmans G. Theories of the proposition. Ancient and medieval conceptions of the bearers of truth and falsity. Amsterdam—London, 1973, p. 47, 49, 51.

ного высказываемого» Стоики называли «падежом», заключен глубокий смысл: стоики поняли, что «полное высказываемое» — предложение — может быть образовано не только путем сочетания сказуемого с подлежащим в форме именительного падежа, но и путем сочетания сказуемого с обозначением субъекта, выступающим в форме косвенного падежа (например: «Сократу хочется»). В высшей степени показательно появление термина *κατηγόρημα* 'сказуемое, предикат'; оно свидетельствует о том, что стоики сумели провести разграничение между глаголом (*ῥῆμα*) как морфологической категорией и сказуемым (*κατηγόρημα*) как категорией синтаксической. Следует, правда, учесть, что *κατηγόρημα* означает не только сказуемое предложения, но также предикат суждения, иными словами, этот термин относится не только к сфере синтаксиса, но и к сфере логики. Тем не менее проведенное стоиками разграничение между морфологическим планом, с одной стороны, и логико-синтаксическим — с другой, было уже само по себе значительным достижением.

Стоики тщательно разработали разнообразные классификации предложений-суждений, причем большей частью эти классификации были основаны на разграничении между различными типами предикатов. «В основу классификации суждений ложится классификация предложений по характеру их глагольного предиката как наиболее существенного момента, создающего „высказываемое“». <sup>68</sup> По всей вероятности, это осознание предиката как наиболее существенного момента «высказываемого» и было причиной того, что «неполным высказываемым» представители древней Стои называли только предикат суждения-предложения, но не его субъект. Можно, по-видимому, предположить, что позиция стоиков по вопросу об отношении значимостей субъекта и предиката в предложении-суждении была прямо противоположна позиции Аристотеля, для которого именной компонент, выступающий в функции подлежащего, составлял наиболее важную, наиболее существенную часть предложения.

Четыре типа предложений различаются между собой, во-первых, в зависимости от того, какую грамматическую форму субъекта требует предикат предложения (форму прямого или косвенного падежа), и, во-вторых, в зависимости от того, нуждается ли предикат в дополнении (т. е. является ли он переходным) или не нуждается. Основной тип предиката для стоиков — это сказуемое, выраженное непереходным глаголом и сочетающееся с подлежащим, выступающим в форме именительного падежа (например: «Сократ гуляет»), такой предикат стоики называют категорема (*κατηγορημα*). Если предикат, не нуждающийся в дополнении, сочетается в предложении с субъектом, выступающим в форме косвенного падежа (например: «Сократу грустно»), то такой предикат называется паракатегорема (*παρακατηγορημα* 'околопредикат'). Если

<sup>68</sup> Тронский И. М. Основы стоической грамматики, с. 306.

в качестве сказуемого выступает глагол, сочетающийся с подлежащим в форме именительного падежа, но нуждающийся в дополнении для полноты высказывания (например: «Платон любит Диона»), полным было бы высказывание «Платон любит Диона»), то такое сказуемое называется неполным предикатом (*ἐλάττω ἢ κατηγορήμα* букв. 'менее, чем категорема'). И, наконец, если сказуемое сочетается с субъектом, выступающим в форме косвенного падежа,<sup>69</sup> и, кроме того, оно еще требует дополнения для полноты высказывания (например: «Платону жаль», полным было бы высказывание «Платону жаль Диона»), то такое сказуемое называется неполным околоредикатом (*ἐλάττω ἢ παρακατηγόρημα* букв. 'менее, чем паракатегорема'). Изложенное здесь стоическое учение о четырех типах предикатов и обусловленных ими типах предложений содержится в комментарии Аммония к трактату Аристотеля «Об истолковании».<sup>69</sup>

Другая классификация предикатов и предложений основывалась на признаках активности и пассивности. «Предикаты бывают прямые, навзничные (опрокинутые, перевернутые, лежащие на спине) и средние (ни те, ни другие). Прямые — сочетающиеся с одним из косвенных падежей, например: слышит (кого), видит (кого), беседует (с кем). Навзничные — сочетающиеся со страдательной частицей,<sup>70</sup> например: я слышим, я видим. Средние (ни те, ни другие), с которыми дело обстоит ни тем, ни другим образом, например: гуляет. Возвратными являются те из навзничных, которые, будучи навзничными, суть действия, например: стрижется, ибо стригущийся подвергает сам себя стрижке» (SVF II, p. 59, fr. 183=Diog. Laert. VII, 64).

Итак, стоики выделяли четыре типа глагольных предикатов по признаку активности/пассивности: 1) образованные переходным глаголом в активе; 2) образованные непереходным глаголом; 3) образованные глаголом, выступающим в пассивной (навзничной) форме и с пассивным значением; 4) образованные глаголом, выступающим в пассивной (навзничной) форме, но с возвратным значением.

Какие бы возражения ни вызывали изложенные выше классификации с точки зрения современной науки, надо признать, что для начального этапа изучения языковых явлений, к которому принадлежит стоическая грамматика, они представляли собой выдающееся достижение.

Стоики разработали также классификацию типов предложений, различающихся по цели высказывания. Основной тип предложения для них — аксиома (*ἀξίωμα*) — повествовательное предложение;

<sup>69</sup> Текст оригинала приведен у Штейнталя (Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . ., S. 305, 306; русский перевод в кн.: Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 71, 72).

<sup>70</sup> Агентивное дополнение в древнегреческом языке выражается конструкцией, состоящей из предлога *πρό* и имени в форме родительного падежа; под «страдательной частицей» здесь, по-видимому, имеется в виду предлог *πό*.

от всех остальных предложения этого типа отличаются тем, что они непременно должны содержать либо правду, либо ложь. «Аксиома. . . есть то, что может быть либо истинным, либо ложным» (SVF II, p. 61, fr. 186). Стоики различали, кроме того, два типа вопросительных предложений: ἐρώτημα — вопрос, на который можно ответить «да» или «нет» (например: «Дома ли Дион?»); πόσις — вопрос, требующий развернутого ответа (например: «Где живет Дион?») (SVF II, p. 60, 61, fr. 186, 187; II, p. 62, fr. 190). Наряду с повествовательными и вопросительными стоики выделяли также повелительные предложения (προστακτικόν SVF II, p. 60, fr. 186; p. 61, fr. 187); предложения, выражающие желание, мольбу (εὐχτικόν SVF II, p. 61, fr. 187. Например: «Зевс, отец, обладающий с Иды, преславный, великий, Дай ты Аяксу обрести и победу и светлую славу» (Илиада VII, 202, 203)); предложения, заключающие в себе заклинания (ἀρατικόν SVF II, p. 61, fr. 187. Например: «Мозг, как из чаши вино, да по черной земле разольется, Их вероломных и чад» (Илиада III, 300, 301)); предложения, заключающие в себе клятву (ὀρκικόν SVF II, p. 58, fr. 182; p. 61, fr. 186); стоики выделяли также высказывания обращения (προσχωρευτικόν SVF II, p. 61, fr. 186. Например: «Атрид, славнейший, царь мужей Агамемнон»); подобные высказывания не являются законченными предложениями, постановку высказываний обращения в один ряд с предложениями различных типов нельзя считать оправданной.

Из наших источников мы можем извлечь сведения о том, что стоики выделяли наряду с перечисленными также некоторые другие типы предложений, различающиеся по цели высказывания. Данная классификация предложений, как легко убедиться, основана по преимуществу не на формально-грамматических, а на смысловых, семантических критериях.

Особое внимание стоики уделяли аксиоме, поскольку аксиома была для них в первую очередь логической категорией — суждением. Стоики различали утвердительные и отрицательные аксиомы, причем последние они делили на типы, приблизительно соответствующие общеприцательным и частноотрицательным предложениям по современной грамматической терминологии. На различные типы подразделялись также и утвердительные аксиомы.

Стоики проводили разграничение между простым и сложным предложением, они разработали тщательную классификацию типов сложного предложения. «Стоики положили начало изучению видов сложного предложения, которое они исследовали в интересах своей теории умозаключения».<sup>71</sup>

Из сообщения Диогена Лаэртция (SVF II, p. 68, fr. 207 = Diog. Laert. VII, 71) мы узнаем, что стоики выделяли сложные предложения, выражающие соединительные отношения; сложные предложения, выражающие разделительные отношения; сложные пред-

<sup>71</sup> Т р о н с к и й И. М. Основы стоической грамматики, с. 307.

ложений с условным придаточным; сложные предложения с придаточным причины и некоторые другие типы сложных предложений.

Интерес к сложному предложению у стоиков был обусловлен нуждами их логической теории. Задачи логического порядка побуждали стоиков «анализировать виды сложного предложения, классифицировать их по характеру связи между отдельными частями»,<sup>72</sup> эти же задачи стимулировали «пристальное внимание к семантике различных сочинительных и подчинительных союзов, которое и впоследствии останется характерным для греческой грамматики».<sup>73</sup>

Таким образом, и в области изучения синтаксических явлений достижения стоиков очень значительны.

Большую роль в дальнейшей истории науки о языке сыграло введенное стоиками понятие аномалии.

Будучи сторонниками теории о «природной» связи между словом и обозначаемым им предметом, стоики исходили из представления о параллелизме между мыслью и языковым выражением, и все же они были вынуждены признать, что в некоторых случаях этот параллелизм нарушается. Существуют такие слова, предметное значение которых находится в противоречии с тем значением, на которое указывает их грамматическая форма. Так, например, названия городов Афины (Ἀθῆναι), Фивы (Θῆβαι) имеют форму множественного числа, но каждое из этих названий указывает на один город, с другой стороны, такие слова, как δῆμος 'народ' или χορός 'хор', обозначают множество лиц, но имеют форму единственного числа. Названия живых существ, оформленные как существительные мужского рода, означают как самца, так и самку (воспользуемся русскими примерами): *крот*, *скворец*, *коршун* и т. д.; на живые существа обоего пола могут указывать также некоторые существительные женского рода: *мышь*, *ласточка*, *синица* и т. д. Некоторые глаголы, имеющие форму пассивного залога, означают активное действие — так называемые отложительные глаголы (ср. русский глагол *сметься*, который, будучи возвратным по форме, не имеет возвратного значения).

Подобные явления стоики рассматривали как случаи «отклонения» (ἀνωμαλία 'отклонение') грамматической формы слова от его предметного значения. Основоположителем стоического учения об аномалии наши источники называют Хрисиппа (SVF II, p. 6; II, p. 45, fr. 151, 152).<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Там же.

<sup>73</sup> Там же.

<sup>74</sup> О стоическом учении об аномалии см.: Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft. . . , S. 359 sqq.; Gudeman A. Grammatik, S. 1791; Dahlmann H. Varro und die hellenistische Sprachtheorie, S. 52, 53; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre. . . , S. 53, 54, 55; Lohmann J. Über die stoische Sprachphilosophie, S. 257; Gentinetta P. M. Über Sprachbetrachtung bei den Sophisten. . . , S. S. 107, 114; Pfeiffer R. Geschichte der klassischen Philologie, S. 250; Pinborg J. Classical antiquity: Greece, p. 95.

Необходимо особо подчеркнуть, что в стоическом учении об аномалии речь идет не о несоответствии между звуковой формой и предметным значением слова, как полагают некоторые современные исследователи,<sup>75</sup> ведь между звучанием, взятым в отрыве от значения, и предметным значением слова не может быть ни соответствия, ни несоответствия; по существу стоики понимали под аномалией несоответствие между предметным значением слова и тем грамматическим значением, на которое указывает звуковая форма слова. Уже неоднократно приходилось говорить о том, что стоики близко подошли к понятию грамматического значения.

В своем учении об «аномалии», как и в учении о «высказываемом, обозначаемом», стоики открыли новую область — область языковых значений; тем самым был выявлен специфический объект науки о языке, были созданы предпосылки для возникновения этой науки.

Учение стоиков о частях речи и их акциденциях (прежде всего о падежах склоняемых частей речи и временах глаголов) послужило отправным пунктом для формирования морфологии как одной из отраслей науки о языке. Своей тщательно разработанной классификацией типов простого и сложного предложения стоики заложили основы синтаксиса.

В разысканиях Эпикура (341—270 гг. до н. э.) язык не занимал большого места, детальным изучением каких-либо языковых явлений эпикурейцы, насколько мы можем судить об этом, не занимались. Тем не менее от Эпикура и его последователей до нас дошли некоторые высказывания о языке, представляющие несомненный интерес.

Эпикур был крайним сенсуалистом, проповедовавшим полное доверие к показаниям наших чувств и критически относившимся к умозрению. Источник заблуждения заключается, по его мнению, не в наших ощущениях, но в наших суждениях и умозаклечениях, которые могут быть и истинными, и ложными в зависимости от того, соответствуют ли они ощущениям или не соответствуют им: «А ложь и ошибка всегда лежит в прибавлениях, делаемых мыслью (к чувственному восприятию)» (Эпикур. Письмо к Геродоту 50).<sup>76</sup> «Ибо исследовать природу не должно на основании пустых (не доказанных) предположений (утверждений) и (произвольных) законоположений, но должно исследовать ее так, как вызывают к этому (требуют) видимые явления» (Эпикур. Письмо к Пифоклу 86).<sup>77</sup>

<sup>75</sup> См., в частности: Gentinetta P. M. Über Sprachbetrachtung bei den Sophisten..., S. 114.

<sup>76</sup> Цит. по: Лукреций. О природе вещей. Т. II. М., 1947, с. 537 (пер. С. И. Соболевского).

<sup>77</sup> Там же, с. 567.

В мире все материально, телесно, даже душа: «...душа есть, состоящее из тонких частиц тело, рассеянное по всему организму, очень похожее на ветер с какой-то примесью теплоты. . .» (Эпикур. Письмо к Геродоту 63).<sup>78</sup> Бестелесным может быть только одно — пустота: «Далее, следует ясно понимать еще и то, что слово „бестелесное“ в наиболее обычном значении своем употребляется о том, что может мыслиться как нечто самостоятельное. Но самостоятельным нельзя мыслить что-нибудь иное бестелесное, кроме пустоты» (Эпикур. Письмо к Геродоту 67).<sup>79</sup> С этими мировоззренческими установками Эпикура связан его взгляд на языковые явления и их отношение к сферам внеязыковым. Реально существуют, по мнению Эпикура, звучащее слово и предмет, с которым это слово соотносено; и то, и другое дано нам в наших ощущениях. Предполагать существование недоступного для восприятия посредствующего звена между словом и предметом — некоего мыслительного представления, значит предаваться бесплодным умствованиям.

В одном из своих сочинений Секст Эмпирик рассматривает вопрос о взглядах различных философских школ на то, в чем может заключаться истина или ложь: «...одни связывают истинное и ложное с обозначаемым предметом, другие — со словом, третьи — с движением мысли. Первое мнение, как известно, возглавляют стоики, говорящие, что три [элемента] соединяются вместе: обозначаемое, обозначающее и предмет. . . Последователи Эпикура и физика Стратона, сохранившие только обозначающее и предмет (разрядка наша, — *И. П.*), придерживаются, по-видимому, второй позиции и связывают истину и ложь со словом».<sup>80</sup>

Аналогичные сведения о взглядах эпикурейцев содержатся в сообщении Плутарха: «Кто более, чем вы, эпикурейцы, совершает ошибку по отношению к языку? Вы полностью отвергаете род высказываемых (*τὸ τῶν λεκτῶν γένος*), составляющий существо речи, и оставляете только звуки (*τὰς φωνὰς*) и предметы (*τὰ τυχόμενα*), вы считаете, что среднего между тем и другим — обозначаемого (*σημαίνόμενα*) ... вовсе не существует».<sup>81</sup>

Со взглядами эпикурейцев, исключавших существование посредствующего звена между словом и соотношенным с ним предметом, солидаризовались также представители скептической школы. «Вот почему скептики говорят: как можно доказать, что существует какое-то бестелесное, словесное обозначение, которое отделено и от обозначающего звука (как, например, от слова «Дион») и от соответствующего предмета (как, например, сам Дион)?».<sup>82</sup>

<sup>78</sup> Там же, с. 549.

<sup>79</sup> Там же, с. 551.

<sup>80</sup> Цит. по: Секст Эмпирик. Соч. в двух томах. Т. I. М., 1975, с. 153.

<sup>81</sup> Текст оригинала в кн.: Epicurea, ed. H. Usener. Lipsiae, 1887, p. 189, fr. 259.

<sup>82</sup> Секст Эмпирик. Соч. в двух томах, т. I, с. 164.

По мнению некоторых современных исследователей,<sup>83</sup> Эпикур возвращается к старому, доплатоновскому, представлению о прямой связи между вещью и ее словесным обозначением. В известном смысле это, конечно, так, но следует принять во внимание, что точка зрения Эпикура опирается на целую систему взглядов и тесно связана с основами мировоззрения философа, тогда как позиция мыслителей V в. до н. э. была попросту наивной и объяснялась элементарной неосведомленностью.

Выдающийся интерес представляет рассуждение Эпикура о возникновении и развитии языка, заключенное в его письмо к Геродоту: «Далее надо полагать, что сами обстоятельства (предметы) научили и принудили (человеческую) природу делать много разного рода вещей и что разум (мысль) впоследствии совершенствовал (развивал) то, что было вручено природой, и делал дальнейшие изобретения, — в некоторых областях (случаях) быстрее, в некоторых медленнее, в некоторые периоды и времена делая большие успехи, в некоторые — меньшие. Вот почему и названия первоначально были даны вещам (возникли) не по соглашению (уговору), но так как каждый народ имел свои особые чувства и получал свои особые впечатления, то сами человеческие природы выпускали каждая своим особым образом воздух, образовавшийся под влиянием каждого чувства и впечатления, причем влияет также разница между народами в зависимости от места их жительства. Впоследствии у каждого народа, с общего согласия, были даны вещам свои особые названия, для того чтобы сделать друг другу (словесные) обозначения менее двусмысленными и выражаемыми более коротко. Кроме того, вводя некоторые предметы, ранее не виданные, люди, знакомые с ними, вводили и некоторые звуки для них: в некоторых случаях они вынуждены были произнести их, а в некоторых выбрали их по рассудку согласно обычному способу образования слов и таким образом сделали их значение ясным» (Эпикур. Письмо к Геродоту 75, 76).<sup>84</sup>

Из приведенного фрагмента видно, что, по мнению Эпикура, на ранних этапах возникновения и развития языка решающую роль играли природные факторы, позднее же, когда были достигнуты значительные успехи в различных областях жизни, на развитие языка большое влияние начинает оказывать сознательная деятельность людей. Таким путем Эпикуру удалось примирить противоборствующие точки зрения по вопросу об отношении между предметом и обозначающим его словом (точку зрения о «природной» связи между тем и другим и точку зрения о «договорной, условной» связи). Гораздо важнее, однако, другое: фрагмент из «Письма к Геродоту» свидетельствует, что Эпикура интересовали не только проблемы возникновения языка, но и проблемы его раз-

---

<sup>83</sup> См., в частности: Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten. . . , S. 107.

<sup>84</sup> Л у к р е ц и й. О природе вещей, т. II, с. 557.



вития, и, наконец, нельзя не признать гениальной высказанную в письме идею о том, что функционирование и развитие языка подчиняется различным закономерностям в зависимости от условий жизни людей, в зависимости от культурного уровня общества, которому язык принадлежит. Рассуждение Эпикура о возникновении и развитии языка — одна из самых значительных вершин, достигнутых античностью в области рассмотрения языковых явлений.

Представители древней Стои и Эпикур были последними философами, уделившими внимание тем или иным аспектам языка. В дальнейшем изучение языка в Древней Греции обособляется в специальную научную дисциплину, а интерес к философским проблемам языка в античном обществе постепенно угасает.

Деятельность Платона и Аристотеля, стоиков и Эпикура протекала в Афинах, средоточием философской мысли Афины оставались и в более позднее время, но в области литературы и науки в эллинистическую эпоху возникают новые центры, крупнейшим из которых с III в. до н. э. вплоть до конца античности была Александрия — столица эллинистического Египта. Именно здесь возникает филология — наука, изучающая памятники письменности, и как отрасль филологии наука о языке — грамматика. Появившиеся позднее центры филологической науки (Пергам, Родос, Афины) имели несравненно меньшее значение.<sup>85</sup>

По образцу платоновской Академии и аристотелевского Ликейя в Александрии был основан Мусейон (святилище муз) — государственное научное учреждение, находившееся под покровительством царя. В Мусейоне наряду с учеными других специальностей трудились также ученые-филологи. Тесно связанной с Мусейоном была прославленная Александрийская библиотека, для пополнения которой приобретались рукописи со всех концов греческого мира. На основе изучения рукописей началась работа по критическому изданию произведений классиков греческой литературы. Ученые, посвятившие себя этой работе, отделяли подлинные произведения классиков от произведений, приписанных им ошибочно, устанавливали, какие части текста представляют собой интерполяции, сличали различные рукописи одного и того же произведения, часто содержавшие не вполне идентичный текст, и отбирали варианты, заслуживающие предпочтения. Памятники классической литературы большей частью нуждались в комментировании, в частности, надо было объяснить значение устаревших слов. Вполне понятно, что работа по изданию и комментированию произведений классической литературы служила источником наблюдений над языком, давала новые импульсы для языковых разысканий. Исследования в области языка стимулировались также другими задачами. Естественная языковая эволюция привела к тому, что раз-

---

<sup>85</sup> Pfeiffer R, *Geschichte der klassischen Philologie*, S. 254, 287.

говорная речь в эпоху эллинизма уже сильно отличалась от языка, на котором были написаны произведения классической литературы. Поскольку речь человека во все времена служила главным показателем его культурного уровня, образованные люди стремились к овладению безукоризненной литературной речью, ориентированной на классические образцы (ἐλληνισμός). В связи с этим возникают задачи выработки норм литературной речи как в области лексики, так и в области грамматики. Языковые разыскания, связанные с работой над рукописями памятников классической литературы, и исследования в области языка, подчиненные целям выработки норм образцовой литературной речи, имели много точек соприкосновения, взаимно дополняли друг друга. «Экзегетическая и нормативная грамматика идут рука об руку, так как „эллинская речь“ все более ориентируется на старинный литературный язык, а встающие перед издателями проблемы критики текста требуют установления языковых норм издаваемого автора».<sup>86</sup>

Исследования в области языка, тесно связанные в классическую эпоху и у стоиков с философской проблематикой, теперь утрачивают эту связь, ставятся на чисто эмпирическую почву. Если в предшествующие периоды истории греческой науки интерес исследователей был направлен почти исключительно на функциональные, семантические аспекты языка, то теперь картина резко меняется: в центре внимания оказываются формальные явления. Разработка формальных аспектов морфологии греческого языка — одна из основных заслуг александрийской грамматической школы.

Утратив связь с философской проблематикой, изучение языка подчиняется теперь задачам филологии, превращается в практическую, вспомогательную дисциплину, занимающую скромное место в комплексе исследований, посвященных памятникам письменности.

Поскольку изучение языковых явлений не рассматривалось как особая наука, оно не имело и своего специального наименования. Термин γραμματικὴ «грамматика» обозначал в эллинистическую эпоху науку, в задачу которой входили толкование и критика литературных произведений, соответственно термин γραμματικός «грамматик» означал по существу филолога в современном понимании этого слова, а существовавшее уже в языке слово φιλόλογος служило для обозначения высокообразованного человека, ученого, но вовсе не обязательно специалиста в области изучения памятников письменности. Лишь в позднеэллинистическую эпоху и эпоху римского владычества исследование явлений языка постепенно обособляется в самостоятельную отрасль знаний.

Изучение языковых явлений было в эллинистическую эпоху интенсивным и разносторонним, но никакого интереса к живому разговорному языку наука того времени не проявляла, занимались

---

<sup>86</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке, с. 25.

лишь языком литературных произведений, письменных памятников, в первую очередь поэтических; язык писателей-прозаиков начали исследовать позднее и уделяли ему гораздо меньше внимания.

Эпоха эллинизма была временем расцвета греческой лексикографии. Собирать и истолковывать устаревшие, вышедшие из обихода слова, т. е. глоссы, начали уже в классическую эпоху (Демокрит), но теперь эта работа приобретает гораздо больший размах; интерес филологов распространяется не только на слова устаревшие, но также и на такие сохраняющиеся в речи слова, которые не во всех своих значениях понятны обыкновенному носителю греческого языка; в отличие от глосс (γλῶσσαι) слова этой категории именовались λέξεις. Составлялись словари вышедших из употребления (γλῶσσαι) или представлявших те или иные трудности (λέξεις) слов к отдельным авторам, в первую очередь к Гомеру, а также к другим классикам греческой литературы, лексиконы к литературным жанрам, словари диалектной лексики и словари, построенные по предметному принципу. Общим для них было то, что фиксировались и объяснялись только слова, засвидетельствованные в письменных памятниках, лексика же устной речи и прежде всего диалектов, которые не стали литературными, не принималась во внимание.

Собирание и истолкование устаревших и трудных слов служило не только целям лучшего понимания произведений классической литературы. Редкие слова, собранные в словарях, использовались alexandрийскими поэтами, часто совмещавшими поэтическую деятельность с филологическими занятиями, для придания своим произведениям особого колорита изысканной учености.

Уже об одном из зачинателей филологии, первом руководителе Александрийской библиотеки Зенодоте Эфесском (325—260 гг. до н. э.), нам известно, что он не только составил словарь гомеровских глосс, построенный по алфавитному принципу, но и издавал словари диалектной лексики.

Подлинным основателем научной лексикографии явился выдающийся alexandрийский филолог Аристофан Византийский (257—180 гг. до н. э.). До нас дошли некоторые фрагменты его словарей аттического и лаконского диалектов. Более обстоятельными сведениями мы располагаем относительно словарей Аристофана Византийского, построенных по предметному принципу; специальное лексикографическое исследование Аристофана, озаглавленное «О наименовании возрастов», посвящено выявлению и объяснению большого числа слов, обозначающих понятия, связанные с возрастом людей и животных; в другом словаре, составленном Аристофаном, собраны слова, выражающие отношения родства. Сохранились названия ряда других лексикографических исследований Аристофана.

Данные, которыми мы располагаем, позволяют сделать вывод, что Аристофан в своих лексикографических работах стремился с максимальной полнотой охватить все слова и выражения, относящиеся к соответствующей сфере; самым скрупулезным образом

выявлялись значения отдельных слов, различные значения иллюстрировались многочисленными примерами из поэтических и прозаических памятников классической эпохи; очень часто отмечались изменения, которые претерпело значение слова в период от древнейших памятников до времени Аристофана, особенно тщательно фиксировались случаи, когда одно и то же слово выступало у Гомера в одном значении, а в памятниках аттической литературы — в другом.

Труды Аристофана Византийского послужили образцом для лексикографической работы последующего времени, собранные им материалы широко использовались составителями словарей многих поколений.

Крупнейший александрийский филолог II в. до н. э. Аристарх Самофракийский (217—145 гг. до н. э.) не оставил после себя лексикографических исследований, но об ученике Аристарха Аполлодоре из Афин нам известно, что он составлял этимологические словари. Многие видные грамматик I в. до н. э. интенсивно работали в области греческой лексикографии. Филоксен писал о гомеровских глоссах, о лексике сиракузского и лаконского диалектов, Дидам посвятил специальные исследования лексике аттической трагедии и аттической комедии, Трифон составил словари названий растений и животных, уделяя при этом большое внимание этимологии и установлению различий между словами, близкими по значению.

В I в. н. э. грамматик Памфил обобщил и систематизировал лексикографические исследования предшествующего времени в обширном лексиконе, состоявшем из 95 книг. Для целей школьного обучения во II в. н. э. Диогениан составил сокращение труда Памфила в 5 книгах. От словарей Памфила и Диогениана сохранились лишь единичные отрывки, но лексикон Диогениана дошел до нас в переработке Гесихия Александрийского (V—VI вв. н. э.). Словарь Гесихия представляет собой «самый обширный античный словарь, которым мы располагаем, он содержит неопценные сведения как о лексике писателей, так и о диалектах».<sup>87</sup>

Наряду с большой работой в области лексикографии в эллинистическую эпоху велось тщательное исследование грамматики греческого языка, впервые началось изучение грамматических явлений с их формальной стороны. В разработке формальных аспектов морфологии, большую роль сыграл принцип аналогии (соответствия, соразмерности, пропорциональности), применявшийся первоначально к решению текстологических вопросов. «Гомеровский язык рукописей, которыми александрийские ученые располагали, изобиловал множеством сомнительных, а то и вовсе неясных слов и форм. Для того чтобы восстановить первоначальное состояние текста, необходимо было выработать какой-то четкий критерий, на

<sup>87</sup> Тронский И. М. Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973, с. 48.

который можно было бы опереться при решении вопроса о том, какие формы следует принять в качестве правильных. Таким критерием могло служить сравнение сомнительных и неясных форм с формами, не вызывающими сомнений. . . Сравнение это выглядело как математическая пропорция: сомнительная форма одного из двух (или нескольких) однотипных сравниваемых слов восстанавливалась на основе соответствующей бесспорной формы другого (или остальных) слов, подобно тому, как вычисляется неизвестный член пропорции при остальных трех известных.

Само собой разумеется, что основанием для привлечения принципа аналогии должны были послужить возникшие в процессе работы над текстами наблюдения, говорящие о том, что от сходных по форме в именительном падеже слов можно ожидать сходные формы также и в других падежах.<sup>88</sup>

Принцип аналогии использовался, конечно, и при работе над текстами других классиков греческой литературы. Со временем он был использован также для установления «правильных» форм образцовой эллинской речи (ἐλληνισμός). Из бытовавших в разговорном языке многочисленных морфологических дублетов производился отбор предпочтительных форм, в качестве каковых рассматривались формы, отвечавшие требованиям аналогии, т. е. формы слова, обнаруживавшие наибольшее сходство с соответствующими формами других слов того же грамматического разряда. По-видимому, деятельность грамматиков-аналогистов не ограничивалась отбором «правильных» форм из реально в языке существующих; в отдельных случаях они не останавливались перед попыткой «исправления» языка, введения новых искусственно созданных форм взамен используемых в языке «неправильных», противоречащих требованиям аналогии. Об этих попытках мы узнаем, в частности, из сочинения римского ученого I в. до н. э. Марка Теренция Варрона «О латинском языке». «Из бытующих в обиходе слов, нарушающих аналогию, одни могут быть легко устранены, другие же укоренились в речи; те слова, которые легко поколебать и внести в них изменения без того, чтобы вызвать неудовольствие (говорящих), следует сразу же исправлять в соответствии с аналогией; тех же слов, что укоренились в языке, а потому не представляется возможным немедленно их исправить, следует по мере возможности избегать: благодаря этому они выйдут из употребления, а когда они забудутся, легче будет их поправить» (М. Т. Варрон, О латинском языке, IX, 16). «К тем новым формам склонения слова, соответствующим аналогии. . . должны приучить слух народа хорошие поэты, особенно сценические» (там же, IX, 17).

Для того чтобы определить, какие формы слова следует рассматривать в качестве правильных, а какие в качестве непра-

---

<sup>88</sup> Каракулаков В. В. Возникновение в науке понятия аналогии и его проникновение в область грамматики. — В кн.: Вопросы теории языкознания. Калинин, 1975, с. 8.

вильных, надо было установить правила языка, прежде всего правила склонения и спряжения, выявить типы склонения и спряжения. Сам термин «аналогия» получил новое значение «типа склонения или спряжения». «Аналогией именуется сходное склонение сходных слов» (М. Т. Варрон, О латинском языке, IX, 51).

Очень плодотворным для разработки формальных аспектов морфологии оказался спор между приверженцами двух направлений в области рассмотрения языковых явлений: между представителями александрийской школы — аналогистами и их противниками — сторонниками принципа аномалии, выступавшими в первую очередь против нормализаторских и реформаторских устремлений аналогистов. Аномалисты придерживались мнения, что наличие в речи всякого рода аномальных форм, различных исключений из правил отнюдь не вредит языку, не препятствует взаимопониманию; более того, человек, заменяющий в своей речи общепринятые формы на формы, построенные в соответствии с аналогией, рискует оказаться непонятым, и уж во всяком случае ставит себя в смешное положение.

Родоначальниками аналогистического направления наши источники называют видных александрийских филологов — Аристора Византийского и Аристарха Самофракийского, центром аномалистического направления была соперничающая с александрийской пергамская филологическая школа, а главным представителем этого направления — один из корифеев пергамской школы философ-стоик Кратет Маллосский, деятельность которого относится к середине II в. до н. э. «Два знаменитых греческих грамматика Аристарх и Кратет с величайшим упорством отстаивали первый — аналогию, второй — «аномалию» (А. Геллий, Аттические ночи, II, 25). Традиционному стоическому понятию аномалии Кратет придал новое значение. Если у Хрисиппа в качестве аномальных рассматривались случаи несоответствия между предметным значением слова и тем грамматическим значением, на которое указывает форма слова, то Кратет перенес это понятие в иную сферу, в сферу отношений между формами слов. Отсутствие регулярности, неупорядоченность, по мнению Кратета, очень характерны для языка и нисколько ему не вредят. Познание языка достигается не в результате усвоения правил, а путем наблюдения (*παράτηρις*) над обычным употреблением (*συνήθεια*).

Из всех дошедших до нас сочинений, содержащих критику позиции аналогистов, наибольший интерес представляет произведение Секста Эмпирика «Против грамматиков». Приводя примеры искусственно созданных аналогистами форм, Секст делает заключение: «...это не только неясно, но и оказывается достойным смеха искажением. Вот что получается по „анalogии“. Следовательно, как я сказал, нужно пользоваться не этой последней, а обычаем» (Секст Эмпирик, Против грамматиков, 196). «Для чистоты греческой речи аналогию надо отбрасывать, а пользоваться надо наблюдением за обычаем» (там же, 209).

Спор аналогистов и аномалистов имел в первую очередь практическую направленность. Речь шла о том, следует ли стремиться к созданию образцовой эллинской речи, использующей идеально правильные формы, которые находятся в соответствии с законами грамматической аналогии, или же надо отказаться от всей этой затеи как абсолютно бесполезной и беспочвенной. Но в споре двух этих направлений была и другая сторона, которую можно с известным правом назвать теоретической. Аналогистам важно было доказать, что они не совершают насилия над языком, что упорядоченность, симметрия, регулярность присущи самой природе языка. А эта позиция, в свою очередь, порождала дополнительные импульсы к разработке правил склонения и спряжения. Легко себе представить, что в этой совершенно новой для греческой науки области первые опыты не были вполне удачными. Каноны (κανόνες) александрийцев — правила склонения и спряжения различных разрядов слов, во всяком случае на первых порах, были далеки от совершенства, из них имелись многочисленные исключения. В этой ситуации Кратет и его последователи не упускали случая, чтобы продемонстрировать неудовлетворительность правил грамматики и выразить скептическое отношение к самой возможности их установления. Излюбленный полемический прием аномалистов заключался в том, что они приводили слова очень близкие и по своему звучанию, и по своему значению, и тем не менее имевшие разные формы склонения или спряжения. Так, например (воспользуемся латинскими словами, приводимыми М. Т. Варроном в сочинении «О латинском языке», IX, 91), латинские существительные *lupus* 'волк' и *lepus* 'заяц' — очень близки между собой по звучанию (они различаются лишь гласным первого слога), сходны и по значению (оба существительных означают животных) и тем не менее эти слова имеют разные формы склонения: род. пад. ед. числа — *lupi*, *leporis* и т. д. Стремясь парировать доводы аномалистов, александрийские грамматики видели свою задачу в том, чтобы выявить ту совокупность признаков слова, которая позволила бы с точностью установить, к какому типу склонения или спряжения данное слово относится. Наши источники сообщают о том, что выявлению этих признаков уделяли внимание уже Аристофан Византийский и Аристарх. У римского грамматика IV в. н. э. Харисия мы читаем, что Аристофан в числе прочих признаков слова, определяющих тип его склонения, называл род имени, количество слогов, составляющих слово, место ударения, а Аристарх указывал на необходимость проводить разграничения между словами простыми и составными.<sup>89</sup>

Самым важным результатом спора аналогистов и аномалистов была детальная разработка парадигм склонения и спряжения. В целом позиция александрийцев была гораздо более плодотворной для развития науки о языке, именно благодаря их усилиям

<sup>89</sup> См. об этом: Античные теории языка и стиля, с. 302.

были установлены правила склонения и спряжения, разработаны формальные аспекты морфологии греческого языка. Определенное положительное значение имела критика деятельности аналогистов со стороны представителей пергамской школы и их последователей. Указывая на несовершенства установленных правил, на наличие многочисленных исключений из них, аномалисты побуждали своих противников совершенствовать правила грамматики, формулировать эти правила так, чтобы учитывались и те явления, которые при первоначальной формулировке выступали как исключения.

Таким образом, в эллинистическую эпоху благодаря деятельности представителей стоической школы были выявлены основные категории морфологического строя греческого языка, а александрийские филологи обогатили науку о языке разработкой формальных аспектов морфологии. Грамматические учения филологов Александрии и Пергама известны нам только по отдельным цитатам и изложениям, которые содержатся в сочинениях более поздних античных писателей. Единственным дошедшим до нас произведением эллинистической эпохи, посвященным проблемам грамматики греческого языка, является труд ученика Аристарха Дионисия Фракийца «Грамматическое искусство» (Τέχνη γραμματική), созданный в конце II в. до н. э.

## АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Логико-грамматическая теория Стои завершила период, когда язык был предметом анализа философов. Грамматика оформляется в самостоятельную дисциплину со своим объектом, специфическим методом исследования, собственной терминологией. Заслуга выделения грамматики в самостоятельную отрасль науки принадлежит ученым-Александрии.

Среди александрийских филологов III—II вв. до н. э. известны: Зенодот, Ликофрон, Александр Этолийский, Каллимах, Эратосфен, Аристофан Византийский, Аристарх Самофракийский и др. Наибольшая слава выпала на долю Аристарха (217—145 гг. до н. э.). Он исследовал язык Гомера, занимался вопросами орфографии, ударения, флексии. Ему принадлежит трактат о восьми частях речи, который, к сожалению, не сохранился. Большую ценность для познания грамматической системы александрийских филологов того времени представляет единственная сохранившаяся «Грамматика» ученика Аристарха Дионисия Фракийца (170—90 гг. до н. э.).

Для создания нормативной грамматики греческого языка необходимы были соответствующие наставления, правила, пара-



дигмы, что привело к выдвижению в языке принципа аналогии.<sup>1</sup> Ему был противопоставлен принцип аномалии. Учение об аналогии и аномалии разделило греческих грамматиков эллинистического периода на два антагонистических лагеря. Центром аналогистов была Александрия, аномалистов — Пергам.

Александрийские филологи, и в частности Аристарх, один из основоположников учения об аналогии, пытались создать критерии, при помощи которых можно было бы оценивать грамматические явления. По их представлению, аналогия означала полную симметрию, сходство языковых явлений, которое они считали критерием истины при исследовании грамматической системы греческого языка.

Аномалисты утверждали, что среди языковых явлений нет полной схожести, что в языке существуют непоследовательность и неупорядоченность. Однако представители стойко-пергамской школы не отрицали правил о языке и не требовали подчинения только «обычаю». Выступления аномалистов против Аристарха касались в основном чрезмерной и часто необоснованной унификации текста гомеровских поэм, на которой настаивали александрийские грамматиканы, не имевшие еще достаточного представления о многообразии диалектных форм, встречающихся в этих поэмах. Другим предметом дискуссии были правила склонения и спряжения, которые хотел унифицировать Аристарх. Дионисий Фракийец придерживался взгляда, что в языке существует определенный порядок, отдельные языковые формы складываются в сходные между собой группы. Он утверждал, что схожесть в языке отображает идеальное состояние, которое когда-то существовало.

Борьба стоического и александрийского грамматических направлений завершилась победой александрийской школы, которая обусловила дальнейшее развитие грамматической мысли. Главными представителями первого направления можно считать Хрисиппа и Диогена Вавилонского, второго — Аристарха и Дионисия Фракийца.

### «Грамматика» Дионисия Фракийца

Произведение Дионисия Фракийца Τέχνη γραμματικὴ начинается с определения предмета грамматики и ее задач. Далее изложена краткая информация о чтении, требования к чтению, понятия об ударении, пунктуации, классификация гласных и согласных, характеристика слогов, определение слова и предложения. Основное место в данной грамматике занимают части речи: имя (ὄνομα), глагол (ῥῆμα), причастие (μετοχή), артикль (ἄρθρον), местоимение (ἄντωνυμία), предлог (πρόθεσις), наречие (ἐπίρρημα), союз (σύνδεσμος).

<sup>1</sup> Тронский И. М. Проблемы языка в античной науке. — В кн.: Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 27.

В первом разделе «О грамматике» Дионисий Фракийец пишет: «Грамматика — это практическое знание (эмпирия) главным образом того, что говорится у поэтов и прозаиков».<sup>2</sup> Грамматика, по мнению Дионисия Фракийца, должна состоять из шести частей и преследовать такие цели: 1) умелое чтение согласно просодии; 2) объяснение поэтических тропов; 3) толкование трудных слов и выражений; 4) исследование этимологии слов; 5) подбор аналогий; 6) эстетическая оценка поэтических произведений.

Дионисий Фракийец в своем изложении фонетики насчитывает двадцать четыре звукобуквы — от α до ω. Из них семь гласных: α, ε, η, ι, ο, υ, ω. Название «гласные», по его мнению, происходит от того, что они сами по себе образуют полный звук. Он дает перечень дифтонгов в алфавитном порядке (αι, αυ, ει, ευ, οι, ου). Все остальные — согласные: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ. Они называются так потому, что дают полные звуки только в соединении с гласными. Из них восемь полугласных: ζ, ξ, ψ, λ, μ, ν, ρ, σ, которые дают звук, сопровождающийся шумом и более слабый, чем гласные. Девять остальных называются безгласными: β, γ, δ, κ, π, τ, θ, φ, χ. Безгласные в свою очередь делятся на густые (придыхательные, аспирированные) (θ, φ, χ), простые (лишенные придыхания, неаспирированные) (κ, π, τ) и средние (β, γ, δ).

Дионисий выделяет также двойные согласные (ζ, ξ, ψ) и плавные (λ, μ, ν, ρ).

Дионисий дает определение слова и предложения: «Слово — это наименьшая часть связного предложения»; «Предложение — соединение слов, выражающее законченную мысль».<sup>3</sup> Слово рассматривается как составная часть предложения, а предложение — как соединение слов, т. е. с синтаксической точки зрения. Вместе с тем слово может быть самостоятельным (т. е. иметь определенное значение вне предложения) и характеризуется автором на основании морфологических и семантических признаков.

Определениям слова и предложения александрийской школы свойствен лингвистический характер; они явно отличаются от стоических определений, ориентированных на логику. Эти определения являются значительным шагом вперед по сравнению со стоическими. Они были общепринятыми в античности и не потеряли своей ценности на протяжении многих столетий.

В противовес стоикам, выделяющим собственные и нарицательные имена в отдельные части речи (Диокл Магнесийский у Диогена Лаэртца VII, 57—58),<sup>4</sup> Дионисий Фракийец объединяет их в одну часть речи — имя (ὄνομα): «Имя — склоняемая часть речи, обозначающая тело или вещь (бестелесную), например: „камень“, „воспи-

<sup>2</sup> Dionysii Thracis Ars grammatica. Ed. G. Uhlig. Lipsiae, 1883.

<sup>3</sup> Ibid., p. 22.

<sup>4</sup> Stoicorum veterum fragmenta. Coll. ab J. Arnim von. T. I—IV. Lipsiae, 1903—1924, t. III, p. 213, fr. 21, 22.

гание“». <sup>5</sup> Оно употребляется как общее название (нарицательное имя) и как собственное, например: «конь», «Сократ». В основу определения имени здесь положены морфологический и семантический принципы. С одной стороны, имя является частью речи, изменяемой по падежам, а с другой — имеет определенное значение.

Грамматик называет пять акциденций имени: род (γένος), вид (εἶδος), образ при словообразовании (σχῆμα), число (ἀριθμός), падеж (πτῶσις). Три акциденции (род, число, падеж) такие же, как и у стойков.

Дионисий рассматривает три рода: мужской (ἀρσενικόν), женский (θηλυκόν), средний (οὐδέτερον). Он также указывает, что некоторые грамматиканы называют еще два рода: общий (κοινόν), например ὁ, ἡ κῶων ‘собака’; совместный (ἐπίκοινον), например: ἡ χελιδών ‘ласточка’, ὁ ἀετός ‘орел’.<sup>6</sup>

Под термином «общий род» имеется в виду общая грамматическая форма для обозначения живых существ обоих полов с дифференциацией рода при помощи артикля, а «совместный род» — это общая грамматическая форма, обозначающая мужской и женский пол, без дифференциации рода при помощи артикля. В сущности эти термины не указывают на грамматические свойства и искусственно присоединены к трем предыдущим.

Термины-названия мужского и женского родов Дионисий принял от своих предшественников и только заменил термин σκευή ‘вещный (род)’, восходящий к Протагору,<sup>7</sup> на οὐδέτερον ‘никакой (род)’ для обозначения среднего рода.

Грамматик выделяет два вида имен по их происхождению: первичные и производные.<sup>8</sup> Далее называет семь видов производных имен: *патронимическое* в собственном значении образовано от имени отца, в несобственном — от имени предков; *притяжательное* — относится к понятию «владеть» и включает в себе имя владельца; *имя в сравнительной степени* — включает в себе сравнение одного «предмета» с другим однородным или же сравнение одного со многими разнородными; *имя в превосходной степени* — обозначает превосходство одного при сравнении со многими; *ласкательное* — указывает на особый оттенок основного имени при отсутствии сравнения; *отыменное* — образовано от имени; *отглагольное* — от глагола.

Дионисий Фракиец также разрабатывает и другую классификацию имен по видам, в основе которой лежат главным образом семантические и лексико-грамматические признаки.<sup>9</sup> Он насчитывает двадцать четыре вида имен и дает им определения: *собственное* — обозначает единичное существо; *нарицательное* — общее

<sup>5</sup> Dionysii Thracis Ars grammatica, p. 24.

<sup>6</sup> Ibid., p. 24.

<sup>7</sup> Aristoteles. Ars rhetorica. Ed. A. Roemer. Lipsiae, 1898, 1407b.

<sup>8</sup> Dionysii Thracis Ars grammatica, p. 25.

<sup>9</sup> Ibid., p. 33.

существо; *прилагательное* — одинаково присоединяется к собственным и нарицательным именам и обозначает похвалу или порицание; *имя, имеющее отношение к чему-либо*, т. е. находящееся в какой-то причинной связи с другим предметом или явлением, например: «отец — сын»; *имя, якобы имеющее отношение к чему-либо*, например: «ночь — день», «смерть — жизнь»; *равноименное* — одинаково употребляется при многих предметах (речь идет об именах, которые одинаковы по звуковому составу, но различаются по значению); *соименное* (синонимическое) — разными именами обозначается одно и то же понятие; *имяносное* — данное на основании какого-либо события, например: «Тисамен» (букв.: мститель); *двуименное* — два имени, предназначенные для одного собственного; *наименное* — прозвище (стоящее рядом с другим именем собственным и относящееся к тому же лицу); *племенное* — обозначает племя; *вопросительное* — употребляется в вопросах; *неопределенное* — употребляется в значениях, противоположном вопросительному, например: «кто-то», «какой-нибудь» и др.; *относительное* (называется еще уподобляющим, указательным, соотносительным, соответствующим), например: «такой», «такой величины»; *собирательное* — обозначает множество формой единственного числа; *распределяемое* — например: «каждый из двух»; *объемлющее* — обозначает определенное помещение или территорию, например: «роща», «партенон»; *звукоподражательное* — возникшее посредством подражания природному звучанию обозначаемого предмета; *родовое* — может разделяться на много видов, например: «животное», «растение»; *видовое* — называет понятие, выделенное из рода, например: «конь», «маслина»; *порядковое* — указывает на порядок (последовательность), например: «первый», «второй»; *количественное* — обозначает количество, например: «один», «два» и т. п.; *абсолютное* — называет понятие, само собой разумеющееся, например: «слово»; *причастное* — обозначает отношение к какому-либо предмету, например: «огненный», «дубовый».

Под термином *ἑρμῆα* Дионисий Фракийец рассматривает главным образом имена существительные, а также имена прилагательные, местоимения (вопросительное, неопределенное, относительное, распределительное), числительные (количественное, порядковое).

Несмотря на некоторое влияние стоической теории в учении о «видах имен» (аналогичные определения собственного и нарицательного имен; термин *πρὸς τι ἔχειν* Дионисия и его примеры напоминают трактовку этого вопроса у Хрисиппа; сходство в определении синонимов и дионимов), Дионисий Фракийец проявил большую самостоятельность, намного увеличил перечень видов имен; дал им определения и проиллюстрировал примерами.

Не вызывает сомнения, что систематика имени у Дионисия фактически включает в себя «все то, что содержится в современной описательной грамматике: признаки словообразования — конструктивные (образы), семантические (виды); результаты слово-

образования — лексико-грамматические категории (второе понимание вида); частные грамматические категории — род, число, падеж».<sup>10</sup>

Дионисий, рассматривая словообразование,<sup>11</sup> различает три формы имен по словопроизводству: простую (*ἀπλοῶν σχήμα*), например: «Мемнон»; сложную (*σύνθετον*), например: «Агамемнон»; образованную от сложной (*παρασύνθετον*), например: Агамемнонид.

Автор грамматики выделяет три числа с такими названиями: *ἐνικός* (единственное), *δ्वικός* (двойственное), *πληθυντικός* (множественное). Кроме того, он приводит примеры имен, которые по форме относятся к единственному числу, а по значению — ко множественному, например: «народ», «хор». Также приводятся примеры во множественном числе, выражающие единственное и двойственное число, например: «Афины», «оба».

Дионисий Фракийец вслед за стоиками признает пять падежей в греческом языке: <sup>12</sup> прямой (*ὀρθή πτῶσις*), родительный (*γενική*), дательный (*δοτική*), винительный (*αἰτιατική*), звательный (*κλητική*). Он также дает им дублетные названия: прямому — *ὀνομαστική* (именительный) и *εὐθεία* (прямой), родительному — *κτητική* (притяжательный) и *πατρική* (отцовский), дательному — *ἐπισταλτική* (поручительный), звательному — *προσάγορευτική* (падеж обращения).

Последовательность падежей, предложенная стоиками, сохраняется и у Дионисия Фракийца. У него лишь отсутствует деление падежей на прямой и непрямые.

«Глагол, — согласно Дионисию Фракийцу, — это беспадеежная часть речи, которая может принимать времена, лица, числа, выражает действие или страдание».<sup>14</sup> Как в определении глагола, так и в определении имени Дионисий пользуется двумя критериями: морфологическим (глагол изменяется по временам, лицам и числам) и семантическим (глагол обозначает действие или страдание).

К акциденциям глагола он относит: <sup>15</sup> наклонения (*ἐγκλίσεις*), залоги (*διαθέσεις*), виды (*εἶδη*), формы словообразования (*σχήματα*), числа (*ἀριθμοί*), лица (*πρόσωπα*), времена (*χρόνοι*), спряжения, глагольные классы (*συζυγαί*).

Впервые в греческой грамматической науке Дионисий дает глагольным наклонениям названия в сугубо грамматическом плане. Он выделяет пять наклонений: изъявительное (*ὀριστική*), повелительное (*προστατική*), желательное (*εὐκτική*), сослагательное (*ὕποτακτική*), неопределенное (*ἀπαρεμφατος*), но, к сожалению, не приводит их определений, не говорит об их роли в предложении; примеров, иллюстрирующих формы наклонений, он не дает.

<sup>10</sup> Амирова Т. А., Ольховников Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. М., 1975, с. 104.

<sup>11</sup> Dionysii Thracis Ars grammatica, p. 29.

<sup>12</sup> Ibid., p. 30.

<sup>13</sup> Ibid., p. 31.

<sup>14</sup> Ibid., p. 47.

<sup>15</sup> Ibid.

Дионисий Фракийец называет залог: <sup>16</sup> действие (ἐνέργεια), страдание (πάθος), середина (μεσότης). «Середина», по мнению грамматика, — это «залог, иногда выражающий действие, иногда — страдание».

Он указывает на существование двух видов глаголов: первичных и производных, например: ἄρδω 'орошаю', ἄρδευω 'часто орошаю'.

Что касается словообразования и чисел, то, как и при рассмотрении имени, грамматик говорит о трех формах глаголов (простой, сложной и образованной от сложной) и трех числах (единственном, двойственном и множественном).

О глагольных лицах мы узнаем: первое лицо — от кого речь, второе — к кому речь, третье — о ком речь.

Дионисий сначала называет три времени: <sup>17</sup> настоящее (ἐνεστώς), прошедшее (παρελθούς), будущее (μέλλων). Далее он выделяет четыре разновидности прошедшего времени: несовершенного вида (παρτατικός), совершенного вида (παρακείμενος), преждепрошедшее (ὑπερσυντελικός), неопределенное (ἀόριστος).

В различении трех временных степеней Дионисий в определенном отношении следует за Аристотелем, <sup>18</sup> о чем свидетельствует термин παρελθούς, который не встречается у стоиков. В большей мере Дионисий был под влиянием стоической теории. Вместе с тем учение Дионисия о временах глагола существенно отличается от учения стоиков: если стоики выдвигали на первый план вид действия, то Дионисий — временные степени; видовая система стоиков заменяется относительно-временной системой Дионисия Фракийца.

Дионисий творчески усвоил учение стоиков о глаголе, работал над его усовершенствованием и ввел новые грамматические названия для обозначения понятий, относящихся к сфере глагола.

Дионисий Фракийец в противовес стоикам считает причастие отдельной частью речи, но для его обозначения принимает стоический термин μετοχή. По его мнению, «причастие — это слово, имеющее свойства глаголов и имен. Оно обладает теми же признаками, что имя и глагол, кроме лиц и наклонений». <sup>19</sup> Причастие не может быть отнесено к глаголу, так как склоняется по падежам, и не может быть причислено к имени, поскольку имеет также свойства глагола.

Дионисий останавливается только на морфологических признаках причастия. Его взгляды на причастие как отдельную часть речи и определение причастия как имеющего свойства глагола и имени восприняли грамматики последующих поколений.

---

<sup>16</sup> Ibid., p. 48.

<sup>17</sup> Ibid., p. 53.

<sup>18</sup> Aristoteles. De arte poetica liber. Ed. I. Bywater. Oxonii, 1898, 1457a, 18.

<sup>19</sup> Dionysii Thracis Ars grammatica, p. 60.

Дифференциация между артиклем и местоимением как частями речи является заслугой александрийских ученых.<sup>20</sup> «Артикль, по Дионисию, это падежная часть речи, которая стоит перед и после склоняемых имен». Акциденции артикля: род, число, падеж.

Дионисий Фракиец определяет местоимение (*ἀντωνυμία*) как «слово, употребляемое вместо имени, которое указывает на определенные лица»<sup>21</sup> (этим подчеркивается функция местоимения в предложении, т. е. его синтаксическое значение). Дионисий рассматривает только личные и притяжательные местоимения, так как они относятся к трем лицам. Вопросительные, относительные и неопределенные местоимения рассматриваются среди видов имен. По его мнению, существует два вида местоимений: первичный (например: «ты») и производный (например: «твой»). В «Грамматике» приводятся образцы склонения первичных и производных местоимений.

Александрийские ученые впервые выделили предлог (*πρόθεσις*) в отдельную часть речи. Хотя Л. Лерш<sup>22</sup> указывал на отсутствие веских доказательств того, что предлоги были выделены в отдельную часть речи Аристархом, однако принадлежность учения о предлоге как самостоятельной части речи Дионисию Фракийцу несомненна. По мнению Дионисия, «предлог — это часть речи, которая стоит перед всеми частями речи — и в составе слова, и в составе предложения»,<sup>23</sup> т. е. предлог может выступать в составе слова в качестве приставки и самостоятельно как отдельное слово. В определении предлога не упоминается его неизменность. Дионисий насчитывает в греческом языке восемнадцать предлогов; шесть из них — односложных и двенадцать — двусложных. Среди неизменяемых частей речи предлог он ставит на первое место.

Наречия Дионисий Фракиец также считает отдельной частью речи. Он отбрасывает стоическое название *μερότης* для обозначения наречия и вводит термин *ἐπίρρημα*. Термин *μερότης* у него тоже встречается, но он обозначает лишь наречия, происходящие от прилагательных,<sup>24</sup> а не наречия вообще. «Наречие, по его определению, это несклоняемая часть речи, которая характеризует глагол или добавляет что-либо к нему».<sup>25</sup> Данное определение наречия основывается на морфологическом и синтаксическом признаках.

---

<sup>20</sup> Schmidt R. *Stoicorum grammatica*. Halle, 1839, p. 42; Pohlenz M. *Die Begründung der abendländischen Sprachlehre durch die Stoa. — Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen (Philol.-hist. Klasse)*. N. F., 1939, Bd 3, N 6, S. 164.

<sup>21</sup> Dionysii Thracis *Ars grammatica*, p. 63.

<sup>22</sup> Lersch L. *Die Sprachphilosophie der Alten*. T. 2. Bonn, 1840, S. 60.

<sup>23</sup> Dionysii Thracis *Ars grammatica*, p. 70.

<sup>24</sup> Traglia A. *La sistemazione grammaticale di Dionisio Trace. — Studi classici e orientali*, Vol. 5. Pisa, 1956, p. 61.

<sup>25</sup> Dionysii Thracis *Ars grammatica*, p. 72.

Дионисий рассматривает двадцать шесть видов наречий:<sup>26</sup> наречия, обозначающие время, качество, образ действия, количество, число, место, желание, волнение, отказ или отрицание, согласие, запрещение, схожесть, удивление, предположение, порядок, собирательность, побуждение или призыв, сравнение, вопросительность, усиление, слияние, клятвенно-отрицательность, клятвенно-утвердительность, подтверждение, обязательство, воодушевление.

Значительное место среди наречий у Дионисия занимают частицы, междометия. К наречиям он также относит отглагольное прилагательное (*adiectivum verbale*).

Уже Аристарх отделяет предлоги от союзов, но оставляет за союзом как отдельной частью речи стоическое название *σύνδεσμος*.

У Дионисия Фракийца читаем: «Союз — это слово, связывающее мысль в определенном порядке и показывающее разрыв в выражении мысли».<sup>27</sup> Характерно, что он указывает не на неизменяемость слова, а на функцию соединения мыслей. Стоическое определение подчеркивает неизменяемость союза.

Характеризуя союзы, Дионисий, кроме определения их как части речи, дает классификацию по видам:<sup>28</sup> соединительные, разделительные, причинно-соединительные, причинно-подчинительные, причинные, сомнительно-вопросительные, например: «неужели», «разве не»; заключительные, например: «таким образом», «итак»; дополнительные, например: «вероятно», «действительно».

Дионисий отмечает, что некоторые грамматики рассматривали еще противопоставительные союзы.

В своем учении о союзах Дионисий Фракиец учитывает достижения стоиков по этому вопросу, а также проявляет большую самостоятельность. Он использует четыре стоических названия союзов (соединительные, разделительные, причинно-соединительные, заключительные), однако вводит еще четыре вида (причинно-подчинительные, причинные, сомнительно-вопросительные, дополнительные).

В такой последовательности, иллюстрируя большинство грамматических понятий соответствующими примерами, излагает Дионисий Фракиец свое учение о частях речи. Его классификация частей речи в сущности основывается на трех принципах: морфологическом, семантическом и в определенном понимании — синтаксическом.

---

<sup>26</sup> Ibid., p. 73—86.

<sup>27</sup> Ibid., p. 86.

<sup>28</sup> Ibid., p. 86—100.



## Грамматическая теория Аполлония Дискола

Грамматическая система Дионисия Фракийца не сразу стала общепринятой. О том, что его система вышла победительницей лишь в результате преодоления сопротивления соперничающих с ней грамматических учений, свидетельствуют схолии к «Грамматике» Дионисия Фракийца, а также сочинения Дионисия Галикарнасского и Присциана. Из этих источников мы узнаем, что наряду с «канонической» классификацией восьми частей речи существовали и другие классификации. Например, Присциан <sup>29</sup> пишет о том, что некоторые грамматики называли девять частей речи, добавляя к восьми общепринятым нарицательное имя, другие — десять (они рассматривали инфинитив как отдельную часть речи), но были и такие, которые называли одиннадцать частей речи, выделяя в особую часть речи некоторые разряды местоимений.

Кому принадлежат эти классификации, трудно определить. Нам только известно, что после Дионисия Фракийца вопросами грамматики занимались Асклепиад из Мирлеи, Харет, Деметрий Хлор, Дионисий Галикарнасский (I в. до н. э.) и др. Синтаксические вопросы рассматривали грамматики Дидим, Трифон (I в. до н. э.), Габрон (I в. н. э.), Телеф Пергамский, Элий Теон, Павсаний Цезарейский (II в. н. э.) и др. Труды этих грамматиков, однако, до нас не дошли. О дальнейшем развитии греческой грамматической мысли мы можем говорить только на основе сохранившихся произведений Аполлония Дискола (II в. н. э.).

По свидетельству Суды,<sup>30</sup> Аполлонию Дисколу принадлежит более тридцати произведений, в которых рассматриваются морфология, синтаксис, греческие диалекты и другие вопросы. К сожалению, до нас дошло только пять произведений и то неполностью: «О синтаксисе частей речи» (Περὶ συντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν) в четырех книгах (нет конца IV книги); «О местоимениях» (Περὶ ἀντωνυμιῶν); «О наречиях» (Περὶ ἐπιρρημάτων); «Об удивительных звуках» (Περὶ θαυμάσιων ἀκουσμάτων). Сохранился также отрывок о наречиях, который, по мнению О. Шнейдера,<sup>31</sup> является частью утерянного конца IV книги «О синтаксисе частей речи». Кроме того, нам известны еще два небольших фрагмента о местоимениях.

А. Добиаш приводит доводы в пользу того, что Аполлоний Дискол написал отдельное произведение, в котором была дана классификация звуков, учение о частях речи и их акциденциях.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Grammatici Latini. Vol. II. Ed. H. Keil. Lipsiae, 1856, 54, 5—55, 3.

<sup>30</sup> Suidae Lexicon. Ed. A. Adler. T. I—IV. Lipsiae, 1928—1935.

<sup>31</sup> Schneider O. Über die Schlußpartie des Apollonius Dyscolos Περὶ ἐπιρρημάτων. — Rhein. Mus., 1845.

<sup>32</sup> Д о б и а ш А. В. Синтаксис Аполлония Дискола. — Изв. ист.-фил. ин-та кн. Безбородко в Нежине, 1881, VI, с. 2—3, 5—6.

Морфологическое учение Аполлония Дискола. На основе анализа схолий к «Грамматике» Дионисия Фракийца и аналогичных им по содержанию отрывков из произведений Присциана «Грамматический трактат» (*Institutiones grammaticae*) можно говорить о морфологическом учении Аполлония Дискола. Он рассматривал восемь частей речи с такими же названиями и в такой же последовательности, как и Дионисий Фракийец: имя, глагол, причастие, член, местоимение, предлог, наречие, союз.<sup>33</sup>

В первой книге «Синтаксиса» Аполлоний Дискол перечисляет части речи в определенной последовательности, указывая, что эта последовательность отнюдь не случайна.<sup>34</sup> Далее он объясняет, что как буквы делятся на произносящиеся самостоятельно (гласные) и несамостоятельно (согласные), так и части речи делятся на самостоятельные и несамостоятельные.<sup>35</sup> Самостоятельными он называет прежде всего имя и глагол, а затем — местоимение, употребляющееся вместо имени. Первое место отводится имени, глагол ставится на второе место, так как действие может происходить только тогда, когда есть действующее лицо. Подчеркивается, что местоимение хотя и употребляется при глаголе вместо имени, однако не может занять второе место. Далее он рассматривает причастие как часть речи, имеющую свойства имени и глагола. На четвертом месте — артикль, поскольку он приимыкает к трем предыдущим частям речи. На пятом месте — местоимение. У предлога шестое место. Он может выступать и при именах, и при глаголах (как приставка). Наречию отводится место после предлога, потому что предлог относится к имени и глаголу, а наречие — только к глаголу. Союз занимает последнее, восьмое место, так как он только соединяет предыдущие части речи.<sup>36</sup>

Аполлоний Дискол делит все части речи на группы: *πτωτικὰ* 'склоняемые по падежам' (имя, причастие, член, местоимение); *ῥήματα* 'глаголы' (изменяемые по временам и лицам); *ἄκλιτα* 'несклоняемые' (предлог, наречие, союз). Он определяет имя как часть речи, показывающую общее и единичное качество каждого тела или вещи.<sup>37</sup> Если Дионисий Фракийец делает упор на том, что имя обозначает субстанцию, то у Аполлония имя служит для обозначения субстанции, наделенной определенным качеством.<sup>38</sup>

Говоря о свойствах глагола, Аполлоний подчеркивает, что глагол выражает действие или страдание (или же и то и другое) в наклонениях, залогах, временах без падежей.<sup>39</sup>

<sup>33</sup> Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 17. Rec. G. Uhlig. Lipsiae, 1910.

<sup>34</sup> Ibid., p. 2, 3—3, 2.

<sup>35</sup> Ibid., p. 13, 1—15, 5.

<sup>36</sup> Ibid., p. 16, 2—27, 16.

<sup>37</sup> Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam. Ed. A. Hilgard. Lipsiae, 1901, p. 216, 25.

<sup>38</sup> Ibid., p. 214, 17; 215, 16.

<sup>39</sup> Ibid., p. 215, 28.

Причастие отличается от глагола тем, что имеет падежи, которых лишен глагол, и род по образцу имени, но не имеет наклонений, характерных для глагола.<sup>40</sup>

Свойством местоимения является то, что оно употребляется вместо какого-либо собственного имени, обозначая определенные лица.<sup>41</sup>

Характерная особенность наречия — его употребление с глаголом.<sup>42</sup>

Предлог ставится отдельно перед падежными словами, а также в сложных словах.<sup>43</sup>

Свойство союза — соединять разные имена или какие-нибудь падежные слова, разные глаголы, наречия.<sup>44</sup>

Аполлоний Дискол употребляет термин *παρεπόμενον* для понятия «акциденции».<sup>45</sup> Он принимает такие же акциденции имени, как и Дионисий.

Из схолий к «Грамматике» Дионисия Фракийца <sup>46</sup> узнаем, что Аполлоний Дискол делил имена на две группы: по звуковому выражению и по значению. По звуковому выражению имена бывают первичные и производные. Производных имен семь разрядов: патронимические, притяжательные, сравнительные, превосходные, ласкательные, отыменные, глагольные.

Таким образом, Аполлоний Дискол считает производными те же категории имен, что и Дионисий Фракиец. Классифицируя имена по значению, Аполлоний насчитывает двадцать один вид: собственные, нарицательные, прилагательные, имена, относящиеся к чему-либо, имена, вроде бы относящиеся к чему-либо, равноименные, соименные, имяносные, двуименные, племенные, вопросительные, неопределенные, соотносительные, относительные, собирательные, распределительные, объемлющие, родовые, видовые, количественные, порядковые. Эти названия видов имен в основном заимствованы у Дионисия Фракийца.

Что касается рода имен, то из схолий к «Грамматике» Дионисия Фракийца узнаем, что, по мнению Аполлония, род имен определяется грамматической формой, а не значением слова.<sup>47</sup> Аполлоний сначала рассматривает три рода: мужской, женский, средний с такими же терминами-названиями, что и Дионисий Фракиец. Упоминает также об «общем роде», объединяя дионисиевские понятия «общий род» и «совместный род» под термином

<sup>40</sup> Ibid., p. 215, 30.

<sup>41</sup> Ibid., p. 216, 1.

<sup>42</sup> Ibid., p. 216, 4.

<sup>43</sup> Ibid., p. 216, 3.

<sup>44</sup> Ibid., p. 216, 5.

<sup>45</sup> Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 7, 10; p. 23, 12 etc.

<sup>46</sup> Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam, p. 517, 25.

<sup>47</sup> Apollonii Dyscoli Quae supersunt. Scripta minora. Ed. R. Schneider. Lipsiae, 1902, p. 248, 7.

κοινὸς γένος. Термин «общий род» у Аполлония не обозначает грамматических свойств, а касается лишь значения.

Аполлоний Дискол обогащает учение о грамматических числах за счет определения числа: «Число — признак слова, который в состоянии показывать различие количества».<sup>48</sup> Единственное число он считает определенным, множественное — неопределенным.

Аполлоний не вносит ничего нового в вопрос словопроизводства по сравнению с Дионисием Фракийцем, т. е. рассматривает простые имена, сложные и образованные от сложных в терминах, которыми пользовался Дионисий. Можно предположить, что этот вопрос широко освещался у Аполлония, так как он ссылается на отдельную работу по вопросам словообразования, которая, однако, не сохранилась.

Учение о падежной системе Аполлоний Дискол главным образом изложил в произведении «О падежах», которое упоминается в схождениях к «Грамматике» Дионисия Фракийца: «Падеж — это изменение имени или какого-нибудь именного слова, происходящее в конце слова».<sup>49</sup>

Что касается наименований падежей, то они такие же и даются в такой же последовательности, как и у Дионисия Фракийца. В отличие от Дионисия Аполлоний делит падежи на прямой и косвенные. Он обосновывает последовательность падежей. Считает порядок падежей естественным. На первое место ставит именительный, прямой падеж (ἐὐθεῖα, ὀρθή, ὀνομαστική), так как он служит для наименования предметов и прямо показывает их сущность.<sup>50</sup> Второе место занимает родительный (γενική, κτητική, πατρική), который происходит от именительного и порождает все последующие падежи. Дательный (δοτική, ἐπιστατική), определяющий отношения друзей (давать), занимает третье место, а винительный, характеризующий отношения недругов (обвинять) (αἰτιατική), — четвертое место. На последнем месте — звательный падеж (κλητική), который кажется более совершенным по сравнению с другими. Он может относиться только ко второму лицу.<sup>51</sup>

«Глагол, утверждает Аполлоний Дискол, — часть речи с временами и наклонениями без падежа, показывает действие или страдание».<sup>52</sup> В его «Синтаксисе» читаем: «...характерная особенность глагола состоит в своеобразном выражении разных времен, залогов — действительного, страдательного, среднего».<sup>53</sup> Акциденции глагола у него такие же, как и у Дионисия Фракийца: наклонения, залого, виды, образы (словообразование), числа, лица, времена, спряжения. Определения наклонений у Аполлония

<sup>48</sup> Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam, p. 545, 7.

<sup>49</sup> Ibid., p. 230, 21; 383, 3.

<sup>50</sup> Ibid., p. 548, 14.

<sup>51</sup> Ibid., p. 111, 25—112, 31.

<sup>52</sup> Ibid., p. 71, 23.

<sup>53</sup> Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 325, 12.

Дискола сводятся к тому, что наклонения отражают разные душевные настроения.<sup>54</sup>

Аполлоний выделяет пять наклонений (изъявительное, повелительное, желательное, сослагательное, неопределенное) с названиями, встречающимися у Дионисия Фракийца.

Изложение теории глагола Аполлоний начинает с неопределенной формы глагола (*ἀπαρέμφατος*), которая не имеет ни чисел, ни лиц, а только времена и залоги в качестве существенных признаков действия и должна стоять среди наклонений на первом месте, так как в некоторых условиях может заменять другие наклонения. Неопределенная форма, по мнению Аполлония, — самое общее наклонение, выражающее чистое действие. Он считает ее именем действия (*ὄνομα πράγματος*) и именем глагола (*ὄνομα ῥήματος*).

Изъявительное наклонение (*ἔγκλισις ὀριστικῆς*), как учит Аполлоний, употребляется для обозначения утверждения, отрицания, а также в вопросительных предложениях.<sup>55</sup> Аполлоний указывает, что термин *ἀποφαντικῆς* имеет очень широкий смысл и не может служить синонимом для обозначения изъявительного наклонения.<sup>56</sup>

Желательное наклонение (*ἔγκλισις εὐκτικῆς*) употребляется с наречием *εἴθε* для обозначения как осуществимых, так и неосуществимых желаний.<sup>57</sup>

Аполлоний указывает, что второе лицо повелительного наклонения употребляется со словами *ἄγε*, *φέρε* и звательными формами.<sup>58</sup> При помощи третьего лица повелительного наклонения передается приказ не прямо лицу, которому приказывают, а посредством другого лица. Он обращает внимание на то, что первое лицо не имеет повелительного наклонения.

Сослагательное наклонение (*ἔγκλισις ὑποτακτικῆς*), по мнению Аполлония, называется подчиненным потому, что всегда выступает в зависимости от союзов.<sup>59</sup> Он не согласен с термином *διστακτικῆς* для обозначения конъюнктива. Названия наклонений у него такие же, как у Дионисия Фракийца.

Аполлоний рассматривает действительный (*ἐνεργητικῆς*) и страдательный залоги (*παθητικῆς*), а также средний залог,<sup>60</sup> средние глаголы (*μέσα ῥήματα*).<sup>61</sup> Средние глаголы — это глаголы, которые при активных окончаниях могут иметь пассивное значение, и наоборот.

Для определения глагольных времен Аполлоний пользуется терминами-названиями дионисиевского происхождения: для обозна-

<sup>54</sup> Scholia in Dionysii Thracis *Artem grammaticam*, p. 245, 3—4; p. 399, 30—31; p. 400, 28.

<sup>55</sup> Apollonii Dyscoli *De constructione libri quattuor*, p. 346, 3—350, 2.

<sup>56</sup> Ibid., p. 346, 6.

<sup>57</sup> Ibid., p. 350, 3—357, 10.

<sup>58</sup> Ibid., p. 358, 14—359, 2.

<sup>59</sup> Ibid., p. 375, 13 sqq.

<sup>60</sup> Ibid., p. 325, 14.

<sup>61</sup> Ibid., p. 296, 1 sqq.

чения настоящего времени — ἐνεστώς, прошедшего несовершенного вида — παρατατικός, перфекта — παρακείμενος, давнопрошедшего — ὑπερσυντελικός, прошедшего неопределенного — ἀόριστός, будущего — μέλλων.

Интересно то, что Аполлоний, как и стоики, принимает во внимание не только время действия, но и вид действия, т. е. применяет понятие длительности и завершенности. Он отмечает длительность действия в настоящем времени, прошедшем и будущем. Действие, по его мнению, может быть совершенным с результатом в настоящем времени, совершенным в прошлом с результатом в прошлом, совершенным в будущем.

Таким образом, Аполлоний Дискол в своей временной классификации учитывает два фактора: отношение действия к моменту речи и отношение к другим временам.

Определение причастия как части речи у Аполлония Дискола напоминает дионисиевское. Судя по некоторым отрывкам «Синтаксиса», причастиям он посвятил отдельную работу, которая не сохранилась. Он учит, что причастие имеет общие акциденции с именем (падеж, род, число)<sup>62</sup> и глаголом (время, залог), но ему не свойственны лица и наклонения.<sup>63</sup> Аполлоний подробно описывает эту часть речи.

Местоимение, по мнению Аполлония, — это слово, которое употребляется вместо имени, склоняется по падежам, числам и родам.<sup>64</sup> Под термином «местоимение» как частью речи он понимает личные, притяжательные, возвратные и указательные местоимения. Вопросительные и неопределенные местоимения рассматриваются в качестве имен, а относительные как артикли.

Все местоимения он делит на местоимения с указательным (показывающие) и относительным значением (относительные).<sup>65</sup> К дейктическим местоимениям он причисляет, кроме указательных, также личные в первом и во втором лицах. Личные местоимения в третьем лице могут быть или указательными, или относительными. Такое деление местоимений основывается на семантическом принципе.

Аполлоний также делит местоимения по их происхождению (образованию) на первичные и производные.<sup>66</sup> К первой группе относит личные местоимения, ко второй — притяжательные.

Аполлоний Дискол затрагивает также целый ряд других вопросов, связанных с теорией местоимения.

По тому же принципу, что и имя, глагол, причастие, местоимение, рассматриваются также другие части речи и их акциденции. Дается обстоятельная классификация наречий, союзов. Вводятся новые понятия, термины и т. п.

<sup>62</sup> Ibid., p. 292, 10.

<sup>63</sup> Ibid., p. 113, 3.

<sup>64</sup> Apollonii Dyscoli Quae supersunt. Scripta minora, p. 9, 11.

<sup>65</sup> Ibid., p. 9, 17.

<sup>66</sup> Ibid., p. 16, 14.

Синтаксические понятия и термины у Аполлония Дискола. Из сохранившихся произведений Аполлония Дискола представляет большой интерес его синтаксис в четырех книгах под заглавием *Περὶ συντάξεως τῶν τοῦ λόγου μερῶν* (О синтаксисе частей речи). Его синтаксическое учение высоко оценили исследователи греческой грамматической науки А. Добиаш,<sup>67</sup> А. Грефенганг<sup>68</sup> и др.

Аполлоний начинает свое изложение с определения предмета синтаксиса. Главной задачей он считает объяснение того, как отдельные слова объединяются в предложение. Основную часть первой книги Аполлоний посвящает артиклям, его сочетаниям с именами. Объектом второй книги являются местоимения, их сочетаемость с другими частями речи. Третья книга начинается с учения о солецизмах (синтаксических ошибках). Далее речь идет об инфинитиве, глагольных наклонениях, залогах, о сочетаемости глаголов с другими частями речи, о синтаксических функциях косвенных падежей и др. Четвертая книга посвящена главным образом предлогам, их сочетаемости с другими частями речи, наречиям, а также некоторым другим вопросам.

Термин *σύνταξις* Аполлоний употребляет для обозначения связи слов в предложении, а также для обозначения сочетания букв, слогов, связи отдельных слов путем словосложения.

Он использует термин *σύνταξις* применительно к синтаксическим отношениям между словами, принадлежащими к различным частям речи: именами, глаголами, артиклями, местоимениями, предлогами, наречиями, союзами.

Имя и глагол Аполлоний считает наиболее самостоятельными, жизнеспособными, употребительными. Все остальные части речи связаны с именем и глаголом. Он указывает, что артикли ставятся при именах, наречия выступают при глаголах, предлоги имеют отношение к именам и глаголам (как приставки). Далее, имена относятся к глаголам, глаголы — к именам и местоимениям, заменяющим имена.<sup>69</sup> В другом месте Аполлоний подчеркивает, что местоимения употребляются вместо имен и с именами, причастия — вместо глаголов, вместе с глаголами и при других частях речи. Таким образом, речь идет о синтаксических связях, имеющих непосредственное отношение к его трактовке понятия *καταλλήλότης*.

Грамматик утверждает, что как соединение букв в слоги и слогов в слова не происходит случайно, а по определенным законам, так и слова соединяются в предложение на основе определенных закономерных связей — *καταλλήλότης*.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Добиаш А. В. Синтаксис Аполлония Дискола, с. 28.

<sup>68</sup> Graefenhann A. Geschichte der klassischen Philologie im Altertum. Bd I. Bonn, 1843, S. 8.

<sup>69</sup> Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 440, 7 sqq.

<sup>70</sup> Ibid., p. 2, 3—3, 2.

Аполлониевский термин *καταλληλότης* обозначает 'законы всякого рода связей слов',<sup>71</sup> а не согласование, как предполагали некоторые исследователи его синтаксиса.<sup>72</sup>

Аполлоний также исследует неправильности в связях слов и обозначает их терминами *ἀκαταλληλότης* и *ἀκαλληλία*.

Понятие *αὐτοτελής λόγος*, рассматриваемое Аполлонием Дисколом,<sup>73</sup> объясняется по-разному. Л. Ланге<sup>74</sup> и Е. Еггер<sup>75</sup> отождествляют его с понятием «предложение» в современном значении. А. Добиаш,<sup>76</sup> опираясь на то, что Аполлоний был далек от понимания теории предложения, предлагает переводить *αὐτοτελής λόγος* как 'цельная речь'. Толкование А. Добиаша представляется не совсем убедительным. В ряде мест Аполлоний говорит о правильной синтаксической форме предложения (*καταλληλότης τοῦ αὐτοτελοῦς λόγου*).<sup>77</sup> Он имел в виду предложение, выражающее определенную законченную мысль, правильно синтаксически оформленную.<sup>78</sup>

В произведении Аполлония «Союз»<sup>79</sup> читаем, что выражение «есть день» является полнозначным предложением, а «есть ли день» — уже неполное синтаксически оформленное предложение, очевидно, потому, что *ἤτοι* 'ли' требует объяснения, других слов. Таким образом, *αὐτοτελής λόγος* — это полнозначное предложение, ни одно «слово» которого не требует объяснения, расширения значения при помощи других слов.

Учение о сочетаемости слов является одним из основных вопросов синтаксической системы Аполлония. Он указывает на свойство слов присоединяться к другим разрядам слов и вместе с ними создавать самостоятельное предложение. Аполлоний уделяет внимание вопросу деления частей речи на слова с самостоятельным значением и слова, которые приобретают определенный смысл в сочетании с другими частями речи.<sup>80</sup> В центре внимания Аполлония — синтаксические свойства, синтаксические функции частей речи.

Аполлоний Дискол не знает терминов «подлежащее», «сказуемое». Грамматик утверждает, что нет предложения без имени и глагола;<sup>81</sup> в данном случае под именем и глаголом имеются в виду

<sup>71</sup> Добиаш А. В. Синтаксис Аполлония Дискола, с. 19.

<sup>72</sup> Lange L. Das System der Syntax des Apollonius Dyscolos. Göttingen, 1852, S. 27; Butmann A. Des Apollonius Dyscolos vier Bücher über die Syntax. Übersetzt und erläutert. Berlin, 1877.

<sup>73</sup> Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 2, 19; 3, 2; 16, 12.

<sup>74</sup> Lange L. Das System der Syntax des Apollonius Dyscolos, S. 14.

<sup>75</sup> Egger E. Apollonius Dyscole. Essai sur l'histoire des theories grammaticales dans l'antiquité. Paris, 1854, p. 241.

<sup>76</sup> Добиаш А. В. Синтаксис Аполлония Дискола, с. 29, 35.

<sup>77</sup> См., в частности: Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 2, 1.

<sup>78</sup> Ibid., 1, 3; 2, 9.

<sup>79</sup> Apollonii Dyscoli Quae supersunt. Scripta minora, p. 225, 10.

<sup>80</sup> Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 13, 4 sqq.

<sup>81</sup> Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 16, 13; 17, 2; 113, 1.



подлежащее и сказуемое предложения, для которых у Аполлония нет специальных названий: именительный падеж при личном глаголе рассматривается им как подлежащее, глагол — как сказуемое.<sup>82</sup>

Аполлоний также подчеркивает, что всякая спрягаемая глагольная форма своим окончанием указывает на именительный падеж одного из трех грамматических лиц, т. е. речь идет опять-таки о подлежащем и сказуемом.

Большое внимание уделяет Аполлоний Дискол именительному падежу имени и местоимения при глаголах, которые он называет *ὕπαρκτης*, т. е. при глаголе «быть» и глаголах именования «называть», «именовать» и др.<sup>83</sup>

Он говорит о действующем лице (*τὸ διατιθέν πρόσωπον*),<sup>84</sup> а также о лице, действие которого переходит на другой предмет (*τὸ διαβιβάζμενον πρόσωπον*);<sup>85</sup> здесь он имеет в виду слова, выступающие в роли подлежащего. Для обозначения «подлежащего» Аполлоний пользуется также термином *τὸ ὑποκείμενον* 'субъект'.<sup>86</sup>

По поводу терминов и понятий «подлежащего» и «сказуемого» в синтаксическом учении Аполлония Дискола А. Добиаш пишет, что везде, где синтаксисты (исследователи Аполлония) находят подлежащее и сказуемое, у Аполлония выступают личные глаголы, именительный падеж при личных глаголах, особый именительный падеж при *ὕπαρκτης*.<sup>87</sup>

Далее Аполлоний Дискол рассматривает косвенные падежи имен, на которые переходит действие глагола, тем самым касаясь вопроса о глагольном управлении и о дополнениях. Специального термина для понятия «дополнение» у Аполлония нет. Для обозначения «дополнения» Аполлоний Дискол пользуется главным образом названиями косвенных падежей: *γενική πτῶσις, δοτική, αἰτιατική*.<sup>88</sup>

Аполлоний, отводя личной форме глагола главную роль в предложении, указывает, что косвенные падежи сочетаются с глаголами. Он не знает термина «управление» как обозначения грамматической связи, но само понятие «управления» ему известно. Эту связь он ставит в зависимость от переходности глаголов. Для определения глагольного управления он пользуется выражениями: падеж «связывается с глаголом», «присоединяется к глаголу»,<sup>89</sup> «относится к глаголу»,<sup>90</sup> «глаголы требуют родительного, дательного, винительного падежей». <sup>91</sup> Рассматривая синтаксические

<sup>82</sup> Ibid., p. 123, 12; 142, 7.

<sup>83</sup> Ibid., p. 61, 24; 88, 13; 112, 5.

<sup>84</sup> Ibid., p. 177, 15; 237, 8.

<sup>85</sup> Ibid., p. 203, 5; 204, 17; 409, 3.

<sup>86</sup> Ibid., p. 29, 1; 101, 13; 102, 1; 142, 4; 211, 20; 233, 7 sqq.

<sup>87</sup> Добиаш А. В. Синтаксис Аполлония Дискола, с. 57.

<sup>88</sup> Apollonii Dyscoli De constructione libri quattuor, p. 405, 7 sqq.

<sup>89</sup> Ibid., p. 422, 6; 429, 11, 13.

<sup>90</sup> Ibid., p. 410, 2; 411, 5; 413, 7.

<sup>91</sup> Ibid., p. 420, 13; 427, 5; 431, 9 sqq.

функции всех косвенных падежей, он называет группы глаголов, требующие того или иного падежа.

Аполлоний Дискол также занимается вопросами определения как типа синтаксической связи. Термин «определение» у него не встречается. Для обозначения определения он пользуется главным образом словами ὀνόμα ἐπιθετικόν 'имя прилагательное',<sup>92</sup> ἐπίθετον 'определятельное имя'.<sup>93</sup>

Определятельные слова, по его мнению, могут выражать качество, количество, порядок, происхождение, притяжательность, и эту способность он называет свойствами, акциденциями имени (ἐπισυμβαίνοντα τοῖς ὀνόμασι).<sup>94</sup> Он объясняет, что «определение» выражается не только прилагательными, но и именами-приложениями, притяжательными местоимениями, причастиями, числительными,<sup>95</sup> т. е. словами, выражающими свойства имени. Вместе с тем речь идет о «согласовании определений» с определяемыми словами.

У Аполлония было также некоторое представление об «обстоятельстве» как члене предложения, но он не дал этому понятию специального термина. Так, он приводит примеры ἐν οἴκῳ 'в доме', ἐν γυμνασίῳ 'в гимнасии', которые, по его мнению, выполняют роль дополнителей значения глаголов. Здесь, конечно, имеется в виду обстоятельство места. Согласно Аполлонию, наречия так же дополняют значения глаголов,<sup>96</sup> как прилагательные дополняют значения имен. Он рассматривает наречия качества, места, времени, количества и др.,<sup>97</sup> выражающие обстоятельства времени, места и т. п.

Таким образом, основная задача Аполлония — объяснить соединение отдельных слов в полнозначное предложение. Пользуясь названиями частей речи и названиями некоторых акциденций, он фактически придает им синтаксический смысл.

Александрийские филологи всесторонне исследовали вопросы морфологии. Аристарх и вслед за ним Дионисий Фракийец создали учение о восьми частях речи. «Грамматика» Дионисия Фракийца творчески использует логику-грамматическое учение Стои и учитывает достижения александрийских грамматиков. Его грамматика отличается от стоической в области учения о частях речи и их акциденциях, а также освещением целого ряда грамматических вопросов. В качестве заслуги Дионисия Фракийца следует отметить создание многих новых грамматических терминов.

Учение Дионисия Фракийца послужило основой для создания грамматики языков многих народов. По выражению Ф. Ф. Зелин-

<sup>92</sup> Ibid., p. 56, 3; 95, 11—12.

<sup>93</sup> Ibid., p. 56, 8; 89, 4, 14; 92, 1.

<sup>94</sup> Ibid., p. 29, 9.

<sup>95</sup> Ibid., p. 30, 5—32, 14.

<sup>96</sup> Ibid., p. 27, 6.

<sup>97</sup> Ibid., p. 30, 10 sqq.

ского, грамматика Дионисия Фракийца является «матерью всех европейских грамматик с русской включительно».<sup>98</sup>

От появления «Грамматики» Дионисия Фракийца до времени Аполлония Дискола — более двух столетий. За этот период написано большое число сочинений по проблемам языка, которые не сохранились. Таким образом, судить о развитии греческой лингвистической науки можно только по грамматическому наследию Аполлония Дискола. Если учение Дионисия Фракийца изложено очень сжато, все грамматические вопросы освещены в форме кратких справок, то у Аполлония представлено подробное описание морфологии, даны исчерпывающие для того времени определения частей речи и их акциденций. Аполлоний вводит новые грамматические понятия, правила, термины. Его изложение морфологии частей речи — это самое большое грамматическое произведение античности по количеству поставленных вопросов и их освещению. Аполлоний Дискол научно изложил синтаксическую теорию греческого языка. Он признавал закономерности в сочетаниях слов, иллюстрировал эти закономерности многочисленными примерами. Аполлоний считал, что характер синтаксических сочетаний слов обусловлен принадлежностью слов к той или иной части речи. В основе синтаксической сочетаемости лежат специфические свойства частей речи, их семантика. Но у Аполлония еще не было обобщающих терминов-названий для главных и второстепенных членов предложения, синтаксических связей слов в предложении, видов предложений и т. п.

Синтаксическое учение Аполлония оказало большое влияние на становление и развитие римской грамматической науки.

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДРЕВНЕГО РИМА

Интерес к языку в древнем Риме долгое время (до середины II в. до н. э.) ограничивался отдельными вопросами письма, фонетики и лексики. Аппий Клавдий, крупный государственный деятель конца IV и начала III в. до н. э., учитель Спурий Карвилий (III в. до н. э.), выдающийся поэт Квинт Энний (239—169 гг. до н. э.) работали над усовершенствованием латинского письма. Квинту Эннию приписываются также два не дошедших до нас трактата: «О буквах и слогах» (*De litteris syllabisque*) и «О размерах» (*De metris*), в которых, по всей вероятности, в связи с вопросами метрики рассматривались и фонетические явления.<sup>1</sup> Первые опыты этимологического толкования слов засвидетельствованы у поэта Гнея Невия (III в. до н. э.) и историка Фабия

<sup>98</sup> Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. М., 1915, с. 239.

<sup>1</sup> См.: Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка. М.—Л., 1953, с. 186.

Пиктора (вторая половина III—начало II в. до н. э.). Юрист Секст Элий, консул 198 г. до н. э., в комментариях к «Законам Двенадцати таблиц» уделил внимание также объяснению устаревшей лексики. Катон Старший (234—149 гг. до н. э.), видный государственный деятель, оратор и ученый, нередко останавливался в своих речах на семантических различиях синонимов.

Филология (или, как говорили римляне, грамматика)<sup>2</sup> в качестве самостоятельной научной дисциплины возникает в Риме в середине II в. до н. э. К этому времени в Риме была уже создана довольно большая и разнообразная литература, и многие произведения нуждались в критических изданиях и комментариях. Очень много неясностей накопилось в текстах юридического, исторического, религиозного содержания. Состояние латинского языка также давало немало поводов для размышлений. Морфология была перегружена дублетами, в орфографии царил разноречивый, лексика была насыщена грецизмами и диалектизмами, резко усилилась языковая дифференциация между различными социальными группами. В этих условиях не могла не возникнуть важная и трудная задача нормализации языка.

Становлению и развитию филологии в Риме в значительной мере содействовало знакомство с греческой наукой и культурой. В первой половине II в. до н. э. римляне начинают в широких масштабах изучение греческого языка, греческой литературы, риторики, философии. Греческие ученые все чаще посещают Рим, а многие из них остаются там работать. В 168 г. до н. э. в Риме некоторое время находился знаменитый греческий философ-стоик и грамматик Кратет из Малла. Его лекции и беседы по филологии имели огромный успех и побудили многих слушателей к занятиям языком и литературой. Среди римлян господствовало мнение, что грамматика (филология) была завезена в Рим Кратетом (Светоний. О грамматиках и риторах 2).<sup>3</sup>

Лингвистические споры, которые велись в Греции и эллинистических странах, стали распространяться и в Риме. Особое внимание римлян привлекла дискуссия между аналогистами и аномалистами. Аномалисты утверждали, что в языке преобладают неправильности (аномалии) — противоречия между грамматикой и логикой, несовпадения между формой и содержанием, разного рода исключения и колебания. Всякие идеи и проекты «исправления» языка они считали ненужными и нереальными. Иную позицию занимали аналогисты. Они отстаивали тезис о господстве закономерностей (аналогий) в языке и полагали, что аномальные яв-

---

<sup>2</sup> В понятие грамматики (*grammatica*) римляне включали фонетику и орфографию, морфологию и синтаксис, этимологию и лексикографию, стилистику и метрику, историю литературы и литературную критику. Римский грамматик (*grammaticus*) преподавал язык и литературу, был ученым-филологом в широком смысле, хорошо знал историю, право, философию.

<sup>3</sup> О названной работе Светония подробнее см. ниже, с. 250.

ния могут быть устранены путем сознательного вмешательства в процесс языковых изменений. Центром аналогизма был город Александрия, центром аномализма — Пергам. В середине II в. до н. э. пергамскую грамматическую школу возглавлял Кратет, о котором говорилось выше.

Значительный интерес в Риме вызвала также дискуссия о происхождении языка. Сторонники теории природного происхождения языка стремились доказать, что слова воспроизводят природу вещей, между тем противники этой теории настаивали на том, что связь между словами и вещами носит условный и произвольный характер.

В последний век Республики (130—30 гг. до н. э.) языкознание как по уровню своего развития, так и по общественному признанию быстро выдвигается на одно из первых мест в римской науке. Самыми крупными грамматиками-профессионалами этого периода были Элий Стилон, Аврелий Опилл, Стаберий Эрот, Антоний Гнифон, Атей Претекстат. Много внимания лингвистическим вопросам уделяли и ученые-энциклопедисты — Марк Теренций Варрон и Нигидий Фигул. Однако от огромной лингвистической литературы последнего века Республики до нас дошло очень мало. Значительное число работ погибло полностью. От остальных, за исключением трактата Варрона «О латинском языке» (*De lingua Latina*), сохранились лишь единичные или разрозненные фрагменты.<sup>4</sup> Из 25 книг трактата Варрона уцелела примерно четвертая часть — 6 книг (с пропусками в некоторых местах). Среди утраченной литературы были и школьные грамматики латинского языка. Первая такая грамматика появилась, очевидно, в последние десятилетия II в. до н. э. Созданная по образцу греческой школьной грамматики пергамского (стоического) типа, она включала, по-видимому, три раздела: в первом давались сведения по фонетике и письму, затем следовало учение о частях речи и их акциденциях,<sup>5</sup> наконец, в третьем разделе рассматривались достоинства и недостатки речи. Такая структура грамматики вошла у римлян в традицию.<sup>6</sup>

Элий Стилон (около 150—90 гг. до н. э.) первым начал систематическое изучение древнейших памятников латинской письменности. Широкой популярностью пользовался его комментарий к гимнам Салиев, жрецов бога Марса. Значительный вклад внес Стилон также в латинскую грамматику; его трактат «О простых

---

<sup>4</sup> Фрагменты лингвистического содержания из несохранившихся сочинений республиканского периода собраны в кн.: Funaioli H. *Grammaticae Romanae fragmenta*. Lipsiae, 1907 (далее: GRF).

<sup>5</sup> Акциденциями римские языковеды называли грамматические принадлежности слова; по объему понятие акциденции близко к современному понятию грамматической категории; см. ниже, с. 251—254.

<sup>6</sup> Barwick K. *Remmius Palaemon und die römische ars grammatica*. Leipzig, 1922, S. 89—111.

повествовательных предложениях» (*De proloquiis*) был, вероятно, первым исследованием по синтаксису латинского языка. Блестящий знаток первых римских писателей, Стилон много сделал для отграничения подлинных комедий Плавта от приписываемых ему подделок. Среди учеников Силона были Варрон и Цицерон.

Аврелий Опила стал грамматиком не сразу, сначала он преподавал философию и риторику. Его основной лингвистический труд «Музы» (*Musagium libri*) был посвящен толкованию редких и неясных слов, встречающихся в поэтических произведениях.

У Стаберия Эрота учились Брут и Кассий. Плиний Старший называет Эрота основателем грамматики (*Естественная история* XXXV, 199). Это, конечно, преувеличение, однако вполне возможно, что его трактат «Об аналогии» (*De proportione*) явился первой теоретической работой о принципах систематизации латинского склонения и спряжения.

Антоний Гнифон, грамматик и ритор, был сначала домашним учителем Цезаря, потом открыл собственную школу. Уровень преподавания Гнифона был столь высок, что его занятия посещал Цицерон уже в зрелые годы. В своем трактате «О латинской речи» (*De Latino sermone*) Гнифон обсуждал с аналогистических позиций вопросы нормализации латинского языка.

Атей Претекстат был учеником Антония Гнифона. Его огромный труд «Чаща» (в восьмистах книгах) содержал, по всей вероятности, разнообразные материалы по языку, литературе, риторике и истории (грек по происхождению, Претекстат назвал этот труд по-гречески *Hyle*). Высоко ценилось сочинение Претекстата «Редкие слова» (*Liber glossematorum*).

Ученый-энциклопедист Нигидий Фигул, работавший преимущественно в области естественных наук и теологии, написал также «Грамматические записки» (*Commentarii grammatici*) — обширную работу, которая охватывала не менее 29 книг. Внимание Фигула привлекали все сферы языка, в особенности орфография, синонимия, словообразование и этимология.

Значительное место занимало языкознание в творчестве Марка Теренция Варрона (116—27 гг. до н. э.), крупнейшего римского ученого. Помимо трактата «О латинском языке», Варроном было написано еще несколько лингвистических работ: «О латинской речи» (*De sermone Latino*), «О сходстве слов» (*De similitudine verborum*), «О пользе речи» (*De utilitate sermonis*), «О происхождении латинского языка» (*De origine linguae Latinae*), «О древности букв» (*De antiquitate litterarum*). Грамматике была посвящена также первая из девяти книг его энциклопедического труда «Науки» (в остальных книгах рассматривались диалектика, риторика, геометрия, арифметика, астрономия, музыка, медицина и архитектура). Вопросы языка нередко затрагивались Варроном и в его сочинениях по литературе, истории и философии, а также в его поэтических произведениях; лингвистические заметки встречаются даже в его трактате «О сельском хозяйстве» (этот тракт-

гат — единственная работа Варрона, дошедшая до нас почти полностью).<sup>7</sup>

Трактат «О латинском языке» — главный лингвистический труд Варрона.<sup>8</sup> Он состоял из трех частей: первая часть (книги II—VII) была посвящена этимологии, вторая (книги VIII—XIII) — морфологии, третья (книги XIV—XXV) — синтаксису. Такая структура трактата была обусловлена убеждением Варрона в том, что «речь по природе троечастна, и первая часть ее — как слова были установлены для вещей; вторая — каким образом они, отклонившись от этих последних, приобрели различия; третья — как они, разумно соединяясь между собой, выражают мысль» (VIII, 1). Первая книга служила введением и представляла собой краткий обзор основного содержания трактата. Из уцелевших шести книг три первые (V—VII) составляли вторую половину первой части трактата, а три следующие (VIII—X) — первую половину второй части.

В своих этимологических разысканиях Варрон опирался преимущественно на теорию и практику стоиков.<sup>9</sup> Он исходил из того, что человеком при установлении слов для вещей руководила природа и что, следовательно, познание слов ведет к познанию вещей. Поэтому этимологический анализ ведется Варроном по лексическим группам, основанным на классификации вещей. Различая четыре основные категории вещей, он выделяет и четыре основных класса слов: слова, обозначающие пространство; слова, обозначающие тела; слова, обозначающие время; слова, обозначающие события. Варрон обращает внимание на отсутствие полного совпадения между семьями слов и группировками вещей. Так, например, со словом пространственного значения *ager* 'поле' этимологически связано слово, обозначающее тело, — *agricola* 'земледелец' (V, 13). Но такие случаи Варрон считает периферийными.

Варрон был далек от мысли о возможности установления этимологий всех слов языка. Он называл пять причин, препятствующих успешной работе этимолога (V, 3). Три из них обусловлены происходящими в языке изменениями: 1) выпадением слов из языка (что может привести к потере либо первичного слова, либо промежуточных звеньев между исследуемым словом и словом первичным); 2) изменением внешнего облика слов; 3) появлением

---

<sup>7</sup> Подробную характеристику лингвистической деятельности Варрона и обстоятельный разбор его лингвистических взглядов см.: Каракулаков В. В. Марк Теренций Варрон и его место в истории языкознания. АДД. Л., 1969; Collart J. Varron grammairien latin. Paris, 1954.

<sup>8</sup> Значительная часть сохранившихся книг трактата переведена на русский язык Я. М. Боровским (Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 80—83, 94—104) и В. В. Каракулаковым (Вопросы теории языкознания. Калинин, 1975, с. 72—87). Цитаты из трактата приводятся нами в их переводах.

<sup>9</sup> См.: Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957, S. 58—69.

у слова нового значения при утрате старого (например, слово *hostis* 'враг' прежде означало 'чужестранец'). Четвертая причина состоит в том, что некоторая часть лексики имеет иноязычное происхождение, и, наконец, пятая причина — это ошибки тех, кто создавал слова.

По степени трудности для этимологического анализа все слова, согласно Варрону, распадаются на четыре группы (V, 7—9). К первой группе относятся слова, этимология которых прозрачна, как например *argentifodinae* 'серебряные рудники'. Вторая группа включает поэтическую лексику, третья — обиходную. Четвертая группа, почти недоступная для анализа, представляет собой самый древний слой лексики, первичные слова, которые не восходят к другим словам, но имеют свои собственные корни.<sup>10</sup>

Своими замечаниями о трудностях и границах этимологических исследований Варрон преследовал, очевидно, две цели. С одной стороны, он хотел оправдать свой отказ от анализа многих слов, а также вероятный характер некоторых своих этимологий, а с другой — он хотел предостеречь других исследователей от чрезмерного увлечения этимологической фантастикой.

В Риме очень любили заниматься этимологическими разысканиями, но уровень их был чрезвычайно низок. Фонетические законы римским этимологам были неизвестны, их представления о морфологической структуре слова носили крайне поверхностный характер, а их взгляды на отношение языка к действительности были во многом наивны. И как только римские этимологи выходили за пределы самоочевидного, они почти всегда скатывались на путь произвола и вымысла.

Много неправильных этимологий можно найти и у Варрона. Так, например, происхождение слова *vallum* 'насыпь с кольями' он объясняет либо тем, что ее никто не может перешагнуть (*varicare*), либо тем, что расщепленные концы кольев образуют форму буквы V (V, 117). К слову *vis* 'сила' он возводит *vinum* 'вино', *vita* 'жизнь', *video* 'вижу' (V, 37, 63; VI, 80), но все эти слова этимологически не связаны.

С другой стороны, у Варрона наблюдаются и некоторые элементы более глубокого подхода. В ряде случаев Варрон ссылается на фонетические регулярности, например на явление ротацизма, о котором он пишет: «Во многих словах, где древние произносили S, впоследствии стали произносить R» (VII, 26). Нередко привлекает Варрон диалектный материал и факты других языков.<sup>11</sup> Показательно и следующее. Стоики в предложенной ими звукоподражательной теории происхождения языка различали два способа возникновения первичных слов: 1) непосредственное звукоподра-

<sup>10</sup> См.: Каракулаков В. В. Варрон о четырех ступенях этимологического исследования. — Учен. зап. Духанбинск. пед. ин-та, 1967, т. 51.

<sup>11</sup> См.: Wölfflin E. Die Etymologien der lateinischen Grammatiker. — Arch. für lateinische Lexikographie und Grammatik, 1893, Bd 8, S. 424; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre. . . , S. 67—68.



жание, при котором звучание слова воспроизводит звучание вещи; 2) символическое звукоподражание, при котором в звучании слова воспроизводится якобы ощущение от вещи.<sup>12</sup> В своих этимологических толкованиях Варрон обращается только к первому принципу; отсутствие ссылок на символическое звукоподражание связано, очевидно, с тем, что опора на этот принцип представлялась ему очень шаткой или вообще несостоятельной.<sup>13</sup>

В книгах VIII—X Варрон вступает в дискуссию между аномалистами и аналогистами по вопросам словоизменения и словообразования. Оба эти процесса он называет склонением (*declinatio*). Склонению противопоставлено установление (*impositio*), т. е. создание простых (непроизводных) слов в исходной («прямой») форме. В качестве исходной формы имен принимается именительный падеж единственного числа, в качестве исходной формы глагола — форма первого лица единственного числа настоящего времени в изъявительном наклонении активного залога. Склонение Варрон считает полезным и необходимым свойством языка: «Склонение вошло в речь не только латинскую, но и всех людей в силу пользы и необходимости: ведь если бы этого не произошло, то мы не могли бы и заучить такое число слов — ибо бесчисленны естества, на которые они отклоняются, — да и из тех, которые мы заучили бы, не было бы видно, какова связь вещей между собой. Теперь же мы видим, что сходно, что производно. Если *legi* (я прочел) склонилось от *lego* (я читаю), то видны сразу две вещи: что говорится неким образом одно и то же и что действие происходит не в одно и то же время» (VIII, 3).

Основной упрек Варрона аномалистам состоит в том, что они объединяют несходные явления и в то же время не замечают сходства там, где оно имеется. В первую очередь необходимо разграничивать слова склоняемые (изменяемые) и несклоняемые (неизменяемые). Нельзя, например, считать сходными такие слова, как *nox* ‘ночь’ и *mox* ‘вскоре’, ибо «*nox* должно подчиняться чередованию падежей, а *mox* и не должно, и не может» (X, 14). Любопытно рассуждение Варрона о причинах наличия или отсутствия у слов склонения: «Для тех вещей, употребление которых однообразно, таково и склонение слова, как в том доме, где только один раб,

---

<sup>12</sup> См.: Вагвик К. Probleme der stoischen Sprachlehre. . . , 29—33. По поводу понятия символического звукоподражания у стоиков христианский писатель Августин (IV в. н. э.) писал: «Но так как есть вещи, которые не звучат, то для них то же значение имеет сходство осязательного воздействия: если они воздействуют на чувства мягко или грубо, то мягкость или грубость букв, действующая на слух, породила для них такие же имена. Так, самое слово „мягкое“ (*lene*) в произношении звучит мягко; и точно так же и „грубость“ (*asperitas*) кто не найдет грубой и по самому имени? Мягко для слуха, когда мы произносим *voluptas* (наслаждение), грубо, когда произносим *scix* (крест)» (цит. по кн.: Античные теории языка и стиля. М.—Л., 1936, с. 72).

<sup>13</sup> Ср.: Каракулаков В. В. Марк Теренций Варрон . . . , с. 12.

нужно одно рабское имя, а в том, где рабов много, нужно несколько. Так же и у таких вещей, какими являются имена, вследствие многих различий в употреблении слова имеется и много отпрысков, а у тех вещей, которые служат связками и соединяют слова, — так как им не было надобности склоняться на многое, то они и остаются единичными: ведь одним ремнем можно привязать и человека, и коня, и все, что только может быть привязано к другому. Так, когда мы говорим: «Консулами были Туллий и Антоний», то этим же самым *et* (и) мы можем связать любых двух консулов, и более того любые имена и даже любые слова; а односложная опора — то самое *et* — остается одна» (VIII, 10).

Что касается склоняемых слов, то здесь нужно различать естественное склонение и склонение произвольное. В современной терминологии естественному склонению соответствует словоизменение, произвольному — словообразование. Естественное склонение возникает от общего согласия, здесь господствует аналогия, закономерность; произвольное склонение, напротив, зависит от воли отдельных людей, и здесь преобладает разнობой, аномалия. Варрон был, возможно, первым ученым, разграничившим словоизменение и словообразование исходя из степени регулярности этих процессов.<sup>14</sup>

Слова, способные к естественному склонению, Варрон делит на четыре класса, которые он называет частями речи (*partes orationis*): 1) слова, которые имеют падежные формы, но не имеют временных форм (имена; сюда входят существительные, прилагательные, местоимения и числительные); 2) слова, которые имеют временные формы, но не имеют падежных форм (глаголы); 3) слова, которые имеют и падежные, и временные формы (причастия); 4) слова, которые не имеют ни временных, ни падежных форм (наречия, допускающие образование степеней сравнения) (X, 17). Как видим, в основу классификации слов по частям речи Варрон кладет две категории — падеж и время; эти категории, по его словам, «создают наибольшее различие в области аналогии» (X, 7).

Самая острая полемика между аналогистами и аномалистами шла вокруг грамматических категорий рода и числа, вокруг склонения и спряжения. Очень трудные вопросы ставили аномалисты в связи с категорией рода. Почему мужские имена типа *Regreppa* имеют форму женского рода? Почему наименования неодушевленных предметов часто оказываются словами мужского или женского рода? Почему такие сходные слова, как *paries* 'стена' и *abies* 'ель', отнесены к разным родам, первое — к мужскому, а второе — к женскому? Чтобы отстоять здесь позиции аналогизма, Варрон покидает область морфологии и обращается к синтаксису, к соче-

---

<sup>14</sup> См.: Robins R. H. A short history of linguistics. London, 1967, p. 50.

таемости слов. Сходство слов мужского рода заключается в том, что они сочетаются с местоимениями *hic* 'этот' и *hi* 'эти', сходство слов женского рода — в том, что они сочетаются с местоимениями *haec* 'эта' и *hae* 'эти', а сходство слов среднего рода — в том, что они сочетаются с местоимениями *hoc* 'это' и *haec* 'эти' (IX, 41, 94). Свою мысль Варрон поясняет следующим сравнением: «...ведь и о двух магнитных камнях не сможешь решить, сходны они или нет, если не положить вблизи мелкие кусочки железа, которые от сходных получают сходные движения, а от несходных — несходные» (IX, 94). Аномалисты указывали и на такое несовпадение грамматического рода и биологического пола: в природе животные делятся на самцов и самок, между тем в языке это различие во многих случаях не находит отражения. Ответ Варрона тонкий и глубокий: половые различия животных могут иметь, но могут и не иметь практического значения — в первом случае наименования животных получают две родовые формы, например *equus* 'жеребец' и *equa* 'кобыла', во втором — только одну, например *turdus* 'дрозд'. Интересен приводимый Варроном пример из истории латинского языка: «...в некоторых случаях раньше было не так, как теперь: например, *columbae* (мн. ч. от *columba* 'голубь') назывались все, и самцы и самки, потому что не были в домашнем употреблении, как теперь; теперь же, наоборот, вследствие их домашнего употребления, которое мы усвоили, самец называется *columbus*, а самка — *columba*» (IX, 56).

Немало неправильностей находили аномалисты и в рамках категории числа. Как неправильность, например, рассматривали они отсутствие формы множественного числа у слов типа *acetum* 'уксус', *plumbum* 'свинец', *cicer* 'горох'. Варрон справедливо связывает особое положение таких слов с особенностями их семантики. Форма множественного числа свойственна словам, которые обозначают предметы, поддающиеся счету; между тем слова, лишенные формы множественного числа, обозначают предметы, которые подлежат «скорее измерению и взвешиванию, чем счету: ведь о свинце, серебре, если произошло приращение, мы говорим *multum* (много) — *multum plumbum* (много свинца), *multum argentum* (много серебра), а не *plumba* (мн. ч.), *argenta* (мн. ч.)» (IX, 66). Но, добавляет Варрон, если предмет, которому присуща мера, имеет несколько разновидностей, то его наименование получает способность к образованию множественного числа, например *vinum* 'вино' — *vina* 'вина' (IX, 67).

Значителен был вклад Варрона в изучение латинского склонения и спряжения. Варрон установил или во всяком случае обосновал наличие в латинском языке отложительного падежа (аблатива); исходя из сопоставления латинского языка с греческим, он называл его собственным латинским или шестым падежом (X, 62). Варрон обнаружил, что по окончаниям этого падежа можно определить тип склонения существительных и прилагательных. Он указал также, что тип спряжения глагола может быть установлен по

окончанию второго лица единственного числа настоящего времени: «Для различения сходств важно, имеет ли глагол во втором лице последний слог *as*, или *is*, или *es*: поэтому признак аналогии скорее здесь, чем в первом лице, где несходство бывает затемнено, как это видно на примере глаголов *тео* (ступаю), *нео* (пряду), *гуо* (рушусь): при переходе от этих форм образуются несходные, ибо говорится так: *тео* — *теас*, *нео* — *нес*, *гуо* — *гуис*; и каждая из этих разновидностей в дальнейшем сохраняет свою форму сходства» (IX, 109).

Варрон не отрицал наличия аномалий в словоизменении, но он стремился доказать, что их здесь в общем немного. К числу неправильностей Варрон относил, например, форму множественного числа *сгорае* 'веник', потому что она указывает на один предмет; использование одной и той же формы *аquila* 'орел' для обозначения самца и самки; совпадение формы именительного и родительного падежа у слова *vis* 'сила'; форму именительного падежа *лас* 'молоко', потому что у нее отсутствует имеющийся в косвенных падежах звук *t* (ср. родительный падеж *lactis*) (VIII, 7; GRF, p. 293). Всякого рода неправильности Варрон считал результатом неразумного обращения с языком, результатом порчи языка. Он допускал, кроме того, что могли ошибиться и те, которые первыми давали наименования вещам.

Аномалии, согласно Варрону, могут и должны быть исправлены. «Речевой обиход, — писал он, — находится в постоянном движении, а поэтому хорошее может ухудшаться, а дурное улучшаться» (IX, 17). Однако устранение аномалий, подчеркивал Варрон, следует проводить постепенно и осторожно: «Наподобие того как кормилица не отлучает младенцев внезапно от груди, когда переводит их от прежнего питания на более содержательное, точно таким же способом в речи переход должен осуществляться постепенно от менее подходящих слов к более разумным. Из бытующих в обиходе слов, нарушающих аналогию, одни могут быть легко устранены, другие же укоренились в речи; те слова, которые легко поколебать и ввести в них изменения без того, чтобы вызвать неудовольствие (говорящих), следует сразу же исправлять в соответствии с аналогией; тех же слов, что укрепились в языке, а потому не представляется возможным немедленно их исправить, следует по мере возможности избегать: благодаря этому они выйдут из употребления, а когда они забудутся, легче будет их исправить» (IX, 16). Осуществлению языковой реформы должны помочь хорошие поэты, особенно те, которые пишут для сцены (IX, 17).

Требую устранения аномалий в области словоизменения, Варрон санкционировал их в области словообразования. В итоге он утверждал, что «не следует отвергать ни аномалию, ни аналогию» (IX, 3).

Варрон был самой яркой фигурой в римском языкознании, как и вообще в римской науке. Он сделал наиболее подробный и основательный разбор теоретических установок аналогизма и анома-

лизма.<sup>15</sup> Он стремился раскрыть внутреннюю упорядоченность словоизменения и добился здесь немалых успехов. Варрона отличало «внимательное отношение к своеобразию строя латинского языка»,<sup>16</sup> и велики были его заслуги в создании нормативно-описательной латинской грамматики.

В последний век Республики над вопросами языка много работали не только ученые, но и писатели.

В последние десятилетия II в. до н. э. с предложениями по усовершенствованию латинской орфографии выступил драматург-трагик Луций Акций (около 170—85 гг. до н. э.). Вопросы языка часто затрагивал в своих сатирах поэт Гай Луцилий (около 180—102 гг. до н. э.). Так, он нападал здесь на орфографические проекты Акция и пропагандировал свои собственные. Подвергая насмешкам разного рода погрешности против речевого обихода, не пощадил Луцилий и своего друга Сципиона Младшего, который в угоду аналогии употреблял формы *pertisus*, *rederguisse* вместо обычных форм *pertaesus*, *redarguisse* (GRF, p. 4).<sup>17</sup>

По-разному подходили к решению многих задач по нормализации языка, и прежде всего ораторской речи, Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.) и Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.).

Цезарь изложил свои взгляды в трактате «Об аналогии» (*De analogia*). Он написал его, по всей вероятности, в 54 г. до н. э., в то время, когда он вел войну с галлами (*inter tela volantia* 'под градом дротиков', по образному выражению Фронтонa, ритора II в. н. э. GRF, p. 145). Уцелевшие фрагменты трактата Цезаря, а также языковые особенности его сохранившихся произведений позволяют сделать вывод, что своей основной задачей Цезарь считал разработку единых и твердых норм латинского языка на основе аналогизма. Он стремился к устранению дублетности и ограничению синонимии, он боролся против архаизмов, неологизмов и заимствований.<sup>18</sup> Цезарь предлагал также исправление форм, противоречащих аналогии; он рекомендовал, например, в именительном падеже множественного числа и в косвенных падежах слова *turbo* 'вихрь' заменить *-i* на *-o* и говорить *turbonis*, *turboni* и т. д. вместо *turbinis*, *turbini* и т. д. (GRF, p. 149). Сам Цезарь, однако, «исправленными» формами не пользовался, и осталось неизвестным, как он представлял себе их внедрение в речевую практику.

<sup>15</sup> Здесь следует подчеркнуть, что проблеме аналогии и аномалии полностью были посвящены трактаты Варрона «О сходстве слов» и «О пользе речи» — в первом из них преимущественно рассматривались вопросы аналогии, во втором — вопросы аномалии.

<sup>16</sup> Т р о н с к и й И. М. Указ. соч., с. 21.

<sup>17</sup> Говоря *pertisus* вместо *pertaesus*, Сципион следовал образованиям типа *existimo* 'полагаю' (из *ex* + *aestimo*), *illido* 'наталкиваюсь' (из *in* + *laedo*); при употреблении *rederguisse* вместо *redarguisse* он исходил из образований типа *coerceo* 'сдерживаю' (из *co* + *arceo*), *refectus* 'восстановленный' (из *re* + *factus*).

<sup>18</sup> Ср.: Т р о н с к и й И. М. Указ. соч., с. 220—221.

Трактат Цезаря был посвящен Цицерону и в известной мере являлся, очевидно, ответом на трактат последнего «Об ораторе» (*De oratore*) (55 г. до н. э.).<sup>19</sup> Цицерон защищал здесь свое убеждение в том, что правильность латинской речи «приобретается обучением в детстве, развивается углубленным и сознательным изучением языка и практикой живого разговора в обществе и семье, а закрепляется работой над книгами и чтением древних ораторов и поэтов» (III, 13, 48).<sup>20</sup> Из высказываний Цицерона недвусмысленно вытекало, что для овладения правильной речью совершенно не требуется какой-то особой грамматической учености. Это как раз то, что утверждали аномалисты. Кроме того, Цицерон отстаивал принцип уместности речи, принцип соответствия средств выражения задачам, содержанию и условиям общения: «Ибо совершенно очевидно, что одного и того же рода речь не годится для любого дела, любого слушателя, любого лица, любого времени. Потому что особого звучания требуют дела уголовные и особого — дела гражданские и заурядные; и особого рода способ выражения нужен для речей совещательных, особый для хвалебных, особый для судебных, особый для собеседования, особый для утешения, особый для обличения, особый для рассуждения, особый для изложения событий. Существенно также и то, перед кем ты выступаешь: перед сенатом или перед народом, или перед судьями; много ли слушателей, или их мало, или их всего несколько человек, и каковы они. Ораторам надо принимать во внимание и свой собственный возраст, должность и положение; и, наконец, помнить, мирное ли время или военное, есть ли досуг, или же надо торопиться» (III, 55, 210—212). Принцип уместности речи не только оправдывал, но и требовал привлечения самых разнообразных средств языка, включая синонимы и дублеты, архаизмы и неологизмы. Особенно ценил Цицерон образную синонимию, создаваемую путем переносного употребления слов. В своем другом трактате «Оратор» (*Orator*), который был написан в 46 г. до н. э., Цицерон выступил против аналогизма еще более открыто и энергично. Критерию аналогии он противопоставил аномалистические критерии употребительности и благозвучия. Защищая правомерность использования дублетов, Цицерон, например, писал: «И можно ли запрещать нам говорить *nosse, iudicasse* и требовать только *novisse, iudicavisse*, словно мы и не знаем, что в этом случае полная форма будет правильнее, а сокращенная употребительнее. . . Я не могу осудить и слов *scripsere alli rem*, я чувствую, что *scripserunt* — правильнее, но охотно следую обычаю, более приятному для слуха» (47, 157). Интересно следующее признание Цицерона: «Я и сам, зная, что наши предки употребляли в своей речи придыхания только при гласных, говорил, например,

<sup>19</sup> См.: D i h l e A. Analogie und Attizismus. — *Hermes*, 1957, Bd 85, S. 188—189.

<sup>20</sup> Цитаты из Цицерона приводятся по изданию: Ц и ц е р о н. Три трактата об ораторском искусстве. Пер. с латинского Ф. А. Петровского, И. П. Стрельниковой, М. Л. Гаспарова. М., 1972.

pulcer, Cetegus, triumphus, Cartago; но потом, хотя и запоздало, требования слуха заставили меня отбросить правильность, и я уступил общему обыкновению в разговоре, оставив свое знание при себе» (48, 160).

В середине I в. до н. э. вышла в свет знаменитая поэма Тита Лукреция Кара (около 98—55 гг. до н. э.) «О природе вещей» (*De rerum natura*). Здесь в пятой книге в рамках поэтического очерка возникновения и развития человечества рассказывается также о происхождении языка и письма. Рассказ ведется в духе материалистического учения древнегреческого философа Эпикура.

Язык, согласно поэту, создается в семье и коллективе. На первых порах люди стремятся достичь взаимопонимания с помощью выкриков и телодвижений, но затем они переходят к более совершенному средству общения — к языку.

После, как хижины, шкуры, огонь себе люди добыли,  
После того, как жена, сочетавшись с мужем, единым  
Стала хозяйством с ним жить, и законы супружества стали  
Ведомы им, и они свое увидали потомство,  
Начал тогда человеческий род впервые смягчаться.

.....  
Там и соседи сводить стали дружбу, желая взаимно  
Ближним не делать вреда и самим не терпеть от насилья.  
Требуя к детям притом сплсхождения и к женскому полу,  
Смутно давали понять движеньями тела и криком,  
Что сострадательным быть подобает ко всем слабосильным.

.....  
Что же до звуков, какие язык производит, — природа  
Вызвала их, а нужда подсказала названья предметов. . .

(V, 1011—1014; 1019—1023; 1028—1029) <sup>21</sup>

Лукреций категорически отвергает мысль о том, что язык мог быть создан одним человеком, и он выдвигает убедительные аргументы:

... полагать, что кто-то снабдил именами  
Вещи, а люди словам от него научились впервые, —  
Это безумие, ибо, раз мог он словами означить  
Все и различные звуки издать языком, то зачем же  
Думать, что этого всем в то же время нельзя было сделать?  
Кроме того, коли слов и другие в сношениях взаимных  
Не применяли, откуда запало в него представленье  
Пользы от этого иль возникла такая способность,  
Чтобы сознание того, что желательно сделать, явилось?  
Также не мог он один насильно смирить и принудить  
Многих к тому, чтоб они названья вещей заучили.

(V, 1041—1051).

Различное звучание слов обусловлено различием ощущений и восприятий, получаемых людьми от разных вещей:

Что же тут странного в том, наконец, если род человек  
Голосом и языком одаренный, означил предметы

<sup>21</sup> Лукреций. О природе вещей. М., 1958 (пер. Ф. А. Петровского).

Разными звуками все, по различным своим ощущениям?  
Ведь и немые скоты и даже все дикие звери  
Не одинаковый крик испускают, а разные звуки,  
Если охвачены страхом или чувствуют боль или радость.  
(V, 1056—1061)

Изобретение письма Лукреций справедливо считает относительно поздним достижением человеческого разума; с изобретением письма знания человека о природе и обществе становятся гораздо более полными и точными.

Жизнь проводили уже за оградой крепкою башен  
И, на участки разбив, обрабатывать начали землю.  
Море тогда зацвело кораблей парусами, и грады  
Стали в союзы вступать и взаимно оказывать помощь,  
Как появились певцы, воспевавшие века деянья;  
А незадолго пред тем изобретены были и буквы.  
Вот отчего мы о том, что до этого было, не знаем  
Иначе, как по следам, истолкованным разумом нашим.  
(V, 1440—1447)

В последние десятилетия Республики и первые десятилетия Империи был создан литературный латинский язык (классическая латынь). Этот язык был основным предметом изучения и описания грамматиков императорского Рима. Немало внимания уделяли они также языку писателей доклассического периода (Плавт, Эний, Теренций, Луцилий), но их почти совершенно не интересовала народно-разговорная речь, которая с течением времени все больше и больше отходила от норм литературного языка. Если языковеды Империи иногда и привлекали факты народно-разговорной латыни, то только для того, чтобы их осудить и отвергнуть.<sup>22</sup>

Первым выдающимся грамматиком императорского Рима был Веррий Флакк (вторая половина I в. до н. э. — начало I в. н. э.). Император Август пригласил его в качестве учителя для своих внуков. Веррий был создателем первого большого словаря латинского языка «О значении слов» (*De verborum significatione*). Словарь этот в своем первоначальном виде до нас не дошел; он был вытеснен сокращенным вариантом, сделанным во II в. н. э. Секстом Помпеем Фестом. Фест исключил слова, вышедшие из употребления, и уменьшил объем словарных статей. Извлечение Феста состояло из 20 книг. Оно в свою очередь в VIII в. было подвергнуто сокращению монахом Павлом Диаконом. Этот последний в предисловии к своей работе писал: «Секст Помпей растянул свой труд до 20 огромных томов. Из этой громады все излишнее и менее необходимое я пропустил, кое-что темное излагал яснее своими словами, некоторые статьи оставлял так, как они были».<sup>23</sup> Извлечение Павла Диакона

<sup>22</sup> Сохранившиеся от эпохи Империи руководства по грамматике, а также трактаты по метрике и орфографии собраны в издании: Keil H. *Grammatici Latini*. Vol. I—VII. Lipsiae, 1855—1880 (далее: GL).

<sup>23</sup> Цит. по кн.: История римской литературы. Т. I. М., 1959. с. 505.



сохранилось полностью, от извлечения Феста осталась примерно половина.

Лексикографический труд Веррия включал слова, которые могли вызывать какие-либо затруднения лексического или грамматического характера: преимущественно это были слова устаревшие, специальные, синонимические, многозначные. В словарных статьях объяснялось значение слов (часто с помощью синонимов), отмечались их морфологические и фонетические особенности, давалась этимология, рассказывалось о древних обычаях и предметах. Словарные статьи не были однотипными, их содержание и объем зависели в основном от того, какие стороны слова нуждались в толковании.<sup>24</sup> Словарь был богат примерами. В своем труде Веррий опирался как на собственные материалы, так и на сочинения своих предшественников (Стилон, Опили, Претекстат, Варрон).

Веррием было написано также два трактата: «О темных местах у Катона» (*De obscuris Catonis*) и «Об орфографии» (*De orthographia*), но они почти полностью утрачены.

В середине I в. н. э. была создана первая большая грамматика латинского языка — «Грамматическое руководство» (*Ars grammatica*) Квинта Реммия Палемона (около 10—75 гг. н. э.). Руководство это не сохранилось, но оно легло в основу последующей грамматической традиции, что и позволило его в значительной мере реконструировать.<sup>25</sup>

Руководство Палемона состояло из тех же трех разделов, что и обычная школьная грамматика: 1) фонетика и письмо; 2) части речи и их акциденции; 3) достоинства и недостатки речи. Однако каждый раздел — особенно второй, главный, — был разработан более детально и тщательно. Палемон первым применил к описанию частей речи латинского языка систему понятий и определений александрийской грамматической школы. В частности, он следовал во многом греческой грамматике Дионисия Фракийского.

Однако немало было у Палемона и нового. Впервые в античном языкознании Палемон выделил междометия в качестве самостоятельной части речи; Дионисий и другие греческие языковеды считали их наречиями. Новая часть речи получила у Палемона такое определение: «Междометия — это слова, которые не имеют никакого отчетливого содержания, но обозначают душевное состояние» (*GL I*, р. 238). У Дионисия в состав частей речи входил артикль, у Палемона такой части речи не было: он сумел увидеть, что латинскому языку артикль чужд (это понимали отнюдь не все римские языковеды). В общем у Палемона были представлены и охарактеризованы следующие части речи: имя (*nomen*), место-

<sup>24</sup> Подробнее см.: Чекалова Е. И. Из истории римской лексикографии (о характере словаря Веррия Флакка). — В кн.: Язык и стиль античных писателей. Л., 1966, с. 188—193.

<sup>25</sup> См.: Bagwick K. Remmius Palaemon... S. 111—167; Оленич Р. М. Грамматическая система Квинта Реммия Палемона. АКД. Львов. 1964.

имение (pronomen), глагол (verbum), причастие (participium), наречие (adverbium), предлог (praepositio), союз (coniunctio), междометие (interiectio).

В грамматике Дионисия не рассматривалось словоизменение, в грамматике Палемона оно занимало значительное место. Предложенное Палемоном описание системы склонения и спряжения почти полностью совпадает с тем, что дается здесь и в современных грамматиках латинского языка. Характеризуя части речи, Палемон подробно рассматривал их синтаксические аспекты (например, согласование времен в сложном предложении, взаимосвязь между подчинительными союзами и наклонением глагола, употребление предлогов с различными падежами).

Палемон внес значительный вклад в создание латинской лингвистической терминологии. Он сыграл выдающуюся роль в кодификации норм классической латыни.

Во второй половине I в. н. э. программы нормализации литературного языка были предложены ученым-энциклопедистом Плинием Старшим (23—79 гг.) и видным ритором Марком Фабием Квинтилианом (около 35—96 гг.).

Плиний Старший был в древности широко известен не только как создатель энциклопедического труда «Естественная история», но и как автор интересного лингвистического трактата в восьми книгах «О сомнительных формах языка» (*Dubii sermonis libri*). От этого трактата до нас дошло более ста небольших фрагментов.

Сомнительными формами Плиний называл морфологические или орфографические (фонетические) варианты одного и того же слова. Цель трактата состояла в том, чтобы отобрать лучшие варианты и запретить употребление остальных. В словоизменении основным критерием правильности Плиний считал аналогию (*analogia*, *ratio*, *regula*), но вместе с тем он широко использовал и аномалистические критерии — обычай (*consuetudo*), авторитет писателя (*auctoritas*), величие старины (*vetus dignitas*), благозвучие (*suavitas aurium*); в словообразовании решающим критерием считался авторитет писателя.<sup>26</sup> В общем Плиний не придавал аналогии слишком большого значения — он ограничил сферу ее действия только областью вариантных способов выражения, а в этой области довольно часто отдавал предпочтение другим нормативным факторам.

Еще меньшую роль играет аналогия в программе Квинтилиана, которая изложена в его руководстве по риторике «Обучение оратора» (*Institutio oratoria*). Правильность речи, согласно Квинтилиану, основывается на правилах аналогии и этимологии, на давности, на авторитете писателей, на обычае. «Однако, продолжает он, самый верный наставник в речи — это обычай» (I, 6, 3). Аналогию следует учитывать постольку, поскольку она создается и существует в речевой практике. Старинные слова, отмечает

---

<sup>26</sup> Ср.: Steintal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. T. 2. Berlin, 1891, S. 155.

Квинтилиан, придают речи величественность и могут создавать впечатление как бы новизны, однако ими нужно пользоваться в разумных пределах и при условии, что они понятны. Новобраования выдающихся авторитетов красноречия Квинтилиан принимает даже тогда, когда они грешат против правил.

И Квинтилиану, и Плинию совершенно чужды идеи исправления языковых форм, идеи, которые волновали умы римлян во времена Республики.

Со второй половины I в. н. э. в Риме начинают развиваться архаистические тенденции — любование стариной, ориентация на образцы прошлого, повышенный интерес к древним памятникам литературы и языка. Своего апогея архаизм достигает в середине II в.

Основателем архаистического направления в языкознании стал грамматик Марк Валерий Проб. Светоний сообщает о нем: «Марк Валерий Проб из Берита долгое время добивался чина центуриона и, наконец, наскуча этим, занялся науками. В провинции у грамматиста он прочитал когда-то несколько старых книг — там до сих пор жива память о древних, еще не совсем исчезнувшая, как в Риме. Теперь он прилежно вернулся к ним, а затем пожелал познакомиться и с другими; и хотя все относились к этому презрительно и считали чтение скорее позором, чем славой и пользой, он остался при своем решении. Собрав много рукописей, он их тщательно исправил, разметил и снабдил примечаниями; занимался он только этой и никакой другой отраслью грамматики» (О грамматиках и риторах 24).<sup>27</sup>

Среди изданных Пробом сочинений периода Республики были, вероятно, комедии Плавта и Теренция, поэма Лукреция, исторические работы Саллюстия. Проб издавал и сочинения писателей Империи — Вергилия, Горация, Персия. Издания Проба ценились очень высоко. Пользовался успехом и сборник его наблюдений над речью древних.

Во II в. тщательное описание латинского языка было сделано Теренцием Скавром в его «Грамматическом руководстве» (*Ars grammatica*) и Флавием Капром в трактате «О чистой латыни» (*De latinitate*). Труды эти не сохранились, но многое из них вошло в лингвистическую литературу III—VI вв. Скавр, и в особенности Капр, широко привлекли языковой материал не только классического, но и доклассического периода.

Особенностям древней (доклассической) латыни специальные исследования посвятили Цеселлий Виндекс и Велий Лонг. Работы эти почти полностью утрачены.

От II в. дошло до нас два трактата по орфографии — Теренция Скавра и Велия Лонга. Сохранился также стихотворный трактат Теренциана Мавра «О буквах, о слогах, о размерах», где дана подробная характеристика звуков латинского языка.

---

<sup>27</sup> См.: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1966, с. 229—230 (пер. М. Л. Гаспарова).

Во II в. широкий размах принимает комментирование произведений художественной литературы. Комментарии к Вергилию были составлены Эмилием Аспером, Теренцием Скавром и Велием Лонгом. Аспер написал также комментарии к Теренцию и Саллюстию, а Скавр — к Плавту и Горацию. Все комментарии погибли.

Ценный материал по истории римского языкознания II в. до н. э.—II в. н. э. содержится в сочинениях «О знаменитых людях» Гая Светония Транквилла (около 75—150 гг.) и «Аттические ночи» Авла Геллия (около 130—170 гг.). От сочинения Светония дошло до нас очень немного, но как раз книга «О грамматиках и риториках» (*De grammaticis et rhetoribus*) в основном сохранилась (утрачен только конец раздела о риториках). В этой книге рассказывается о первых шагах филологии в Риме и даются, к сожалению, очень краткие сведения о жизни и деятельности наиболее известных грамматиков и риторов II в. до н. э.—I в. н. э.<sup>28</sup> «Аттические ночи» Авла Геллия — это преимущественно выписки из разных авторов на разные темы. Имеются здесь и выписки из утраченных лингвистических трудов. Для нас особенно ценными являются фрагменты из «Грамматических записок» Нигидия Фигула и из трактата Цезаря «Об аналогии».

В III в. наблюдается спад лингвистической работы. Нужды преподавания в этот период в значительной мере обслуживала лингвистическая литература, созданная ранее, особенно во II в.

К III в. относится первая из сохранившихся грамматик латинского языка — это «Об основах грамматики» (*De institutis artis grammaticae*) Мария Сацердота. Дошла она до нас, однако, в плохом состоянии. Сацердот написал еще две (также уцелевшие) работы: одна из них посвящена вопросам склонения, спряжения и ритмических концовок, другая — метрике. К III в. относится, по-видимому, и дошедший до нас комментарий Помпония Порфириона к Горацию; много внимания уделено здесь языку и стилю поэта. Из утраченных сочинений III в. заслуживает упоминания трактат Юлия Романа о правильности латинской речи. Трактат этот преследовал не только практические, но и теоретические цели. Его главными источниками были труды Плиния Старшего и Флавия Капра.

Богат лингвистическими работами был IV в., и многие из них дошли до наших дней. Сохранившиеся работы носят в основном компилятивный характер.

Наиболее значительные руководства по грамматике были созданы: в начале века — Пробом (которого обычно называют поздним в отличие от Валерия Проба, грамматика I в.), в середине века — Элием Донатом и Флавием Харисием, в конце века — Диомедом.

Необыкновенный успех выпал на долю «Грамматического руко-

---

<sup>28</sup> В остальных книгах речь шла о поэтах, ораторах, историках и философах, см.: История римской литературы, т. II. М., 1962, с. 341.

водства» Элия Доната. Более тысячи лет (до начала XV в.) служило оно основным учебником латинского языка в школах Европы. Переработанные издания Доната широко использовались и позже, до конца XVIII в. Труд Доната сыграл очень важную роль в процессе формирования школьных учебников и грамматической терминологии современных европейских языков.<sup>29</sup>

Грамматика Доната состояла из двух частей, первая из которых впоследствии была названа «Меньшее руководство» (*Ars minor*), а вторая — «Большее руководство» (*Ars maior*). Первая часть предназначалась для начального обучения, вторая — для более углубленного.

*Ars maior* представляет собой полный курс школьной грамматики и включает сведения по фонетике, письму и стихосложению, учение о частях речи и стилистику. В *Ars minor* дается только учение о частях речи и материал излагается более сжато. Это руководство имеет форму вопросов и ответов. Вот его начало: «Частей речи сколько? Восемь. Каковы они? Имя, местоимение, глагол, наречие, причастие, союз, предлог, междометие» (GL IV, p. 355). После этих предварительных сведений обсуждению подвергается каждая часть речи в отдельности. В *Ars maior* Донат не ограничивает предварительные сведения указанием только на число и состав частей речи; здесь он сообщает также, что две части речи — имя и глагол — являются главными, что римляне не относят к частям речи артикль, а греки — междометие, что относительно количества частей речи существуют большие разногласия и что, наконец, три части речи — имя, местоимение и причастие — изменяются по шести падежам (GL IV, p. 372).

«Имя, — по Донату, — есть часть речи, наделенная падежом и обозначающая тело или вещь собственным или общим образом, собственным — например, Рим, Тибр, общим — например, город, река» (GL IV, p. 373). Под именами, обозначающими вещь, имеются в виду абстрактные («бестелесные») имена типа *pietas* 'благочестие', *iustitia* 'справедливость', *dignitas* 'достоинство'. Имя имеет шесть акциденций: качество (*qualitas*), сравнение (*comparatio*), род (*genus*), число (*numerus*), строение (*figura*), падеж (*casus*). По качеству имена делятся на собственные и нарицательные, по строению — на простые и составные (например, *suburbanus* 'пригородный', *nugigerulus* 'пустомеля'). Донат различает четыре рода — мужской (*genus masculinum*), женский (*femininum*), средний (*neutrum*) и общий (*commune*). К общему роду относятся имена, употребляющиеся в двух или трех родах (например, *sacerdos* 'жрец, жрица', *felix* 'счастливый, -ая, -ое').

---

<sup>29</sup> См.: I s i n g E. Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1970. В течение многих веков имя Доната было синонимом слова «грамматика». Так, например, появившаяся в XIII в. грамматика литературного провансальского языка была озаглавлена «Провансальский Донат».

Прилагательные у Доната, как и вообще в античности, в качестве самостоятельной части речи не выделяются. Главной причиной здесь было чрезвычайно большое морфологическое сходство существительных и прилагательных в латинском и греческом языках. Важное значение имела также известная семантическая близость существительных и прилагательных — ведь, с одной стороны, предмет, обозначаемый существительным, включает какую-то совокупность признаков, а с другой — признак, обозначаемый прилагательным, представлен не абстрактно, не сам по себе, а как признак, данный в каком-то предмете; эта семантическая близость ярко проявляется в том, что прилагательные легко субстантивируются, а существительные часто используются для характеристики предмета (существительные в функции предикатива, приложения, определения).

Прилагательные (*epitheta*) трактуются Донатом как разряд таких имен, которые прилагаются к другим именам, например *magnus* в словосочетании *magnus vir* 'великий человек' или *fortis* в *fortis exercitus* 'храброе войско' (GL IV, p. 374). Прилагательные имеет в виду Донат и тогда, когда он говорит о разрядах имен со значением качества (например, *bonus* 'хороший', *malus* 'плохой') и количества (например, *magnus* 'большой', *parvus* 'маленький'); именно этим разрядам присуща акциденция сравнения (например, *fortis*, *fortior*, *fortissimus* 'храбрый, храбрее, храбрейший').

Давая определение местоимению, Донат опирается на его заместительную функцию: «Местоимение есть часть речи, которая, будучи поставлена вместо имени, обозначает почти столько же и иногда принимает лицо» (GL IV, p. 379). У местоимения, как и у имени, шесть акциденций: качество (*qualitas*), род (*genus*), число (*numerus*), строение (*figura*), лицо (*persona*), падеж (*casus*). По качеству местоимения делятся на определенные (личные) и неопределенные (все остальные разряды).

Переходим к определению глагола у Доната: «Глагол есть часть речи, наделенная временем и лицом, лишенная падежа, обозначающая либо действие, либо страдание, либо ни то ни другое» (GL IV, p. 381). Акциденций у глагола семь: качество (*qualitas*), спряжение (*coniugatio*), залог (*genus*), число (*numerus*), строение (*figura*), время (*tempus*), лицо (*persona*). К качеству глагола Донат относит наклонение (*modus*) и вид (*forma*). Он различает шесть наклонений: изъявительное (*indicativus*), например *lego* 'читаю'; повелительное (*imperativus*), например *lege* 'читай'; желательное (*optativus*), например *utinam legerem* 'о если бы я читал'; подчинительное (*coniunctivus*), например *cum legam* 'так как я читаю', 'хотя я читаю'; неопределенное (*infinitivus*), например *legere* 'читать'; безличное (*impersonalis*), например *legitur* 'читают'. Видов четыре: совершительный (*forma perfecta*), например *lego* 'читаю'; желательный (*meditativa*), например *lecturio* 'хочу читать', 'собираюсь читать'; многократный (*frequentativa*), например

lectito 'часто читаю'; начинательный (*inchoativa*), например *fervesco* 'начинаю кипеть'.

Залог у Доната имеет пять разновидностей: действительный (*genus activum*), страдательный (*passivum*), средний (*neutrum*), отложительный (*deponens*), общий (*commune*). В основе разграничения залогов лежит морфологический принцип. Действительный и страдательный залогом соотносительны по образованию: действительные формы глагола допускают образование страдательных форм, страдательные формы — образование действительных. Глаголы среднего залога лишены страдательной формы (например, *sto* 'стою'), у глаголов отложительного залога нет действительной формы (например, *conductor* 'борюсь'). При выделении общего залога ведущую роль играет синтаксический критерий: к этому залогу отнесены глаголы, которые имеют страдательную форму, но употребляются и в действительной и в страдательной конструкции, например *crimino* *te* 'обвиняю тебя', *crimino* *a te* 'обвиняюсь тобой'.

Наречие определяется Донатом по его синтаксическим связям с глаголом: «Наречие есть часть речи, которая, будучи присоединена к глаголу, поясняет или дополняет его значение, как, например, *iam faciam* 'сейчас сделаю' или *non faciam* 'не сделаю' (GL IV, p. 385). У наречия три акциденции: значение (*significatio*), сравнение (*comparatio*), строение (*figura*). Донат насчитывает более двадцати разновидностей наречий: места (*adverbia loci*), например *hic* 'здесь'; времени (*temporis*), например *hodie* 'сегодня'; числа (*numeri*), например *semel* 'один раз', 'однажды'; отрицания (*negandi*), например *non* 'не', утверждения (*adfirmandi*), например *etiam* 'да'; указания (*demonstrandi*), например *en* 'вот'; желания (*optandi*), например *utinam* 'о если бы'; побуждения (*hortandi*), например *eia* 'ну'; порядка (*ordinis*), например *deinde* 'затем'; вопроса (*interrogandi*), например *cur* 'почему' и др.

Причастие характеризуется у Доната как часть речи, совмещающая акциденции имени и глагола: «Причастие есть часть речи, названная так потому, что она причастна к имени и глаголу, ибо от имени принимает роды и падежи, от глагола — времена и залого, от того и другого — число и строение» (GL IV, p. 387).

Определение союза носит функциональный характер: «Союз есть часть речи, связывающая и упорядочивающая мысль» (GL IV, p. 388). У союза три акциденции: значимость (*potestas*), строение (*figura*), местоположение (*ordo*). По значимости союзы делятся на соединительные (*coniunctiones copulativeae*), разделительные (*disiunctivae*), восполняющие (*expletivae*), причинные (*causales*) и выводные (*rationales*).

Предлогу дается следующее определение: «Предлог есть часть речи, которая, будучи поставлена перед другими частями речи, либо изменяет, либо дополняет, либо уменьшает их значение» (GL IV, p. 389). Понятие предлога у Доната, как и у других римских грамматиков, охватывает два понятия современной лингвисти-

ки — предлог и приставку. Предлогу приписывается одна акциденция — падеж (*casus*; под падежом в данном случае имеется в виду способность сочетаться с различными падежными формами).

В определении междометия Донат в отличие от Палемона вводит указание на его синтаксическую позицию: «Междометие есть часть речи, помещаемая между другими частями речи для выражения душевных переживаний» (GL IV, р. 391).<sup>30</sup>

«Грамматическое руководство» Доната получило широкое признание уже в античности. Уже тогда появляются предназначенные для школы комментарии к Донату: первый из них был написан в конце IV в. Сервием, в V в. последовали комментарии Сергия, Помпея, Кледония.

Учебник Доната привлекал внимание своей двучастной структурой, рассчитанной на обучение от простого к сложному. Особенно ценилась его первая часть, поскольку она содержала самое главное и имела форму вопросов и ответов. Успеху Доната содействовало и то, что он был учителем крупного христианского писателя Иеронима (около 340—420 гг.): это делало имя Доната широко известным в христианских кругах и вызывало здесь благожелательное отношение к его учебнику. В VI в. видный деятель христианской церкви Кассиодор (около 480—575 гг.) рекомендовал грамматику Доната в качестве основного учебника латинского языка для монастырских школ и тем самым положил начало ее распространению по странам Европы.

От IV в. сохранилось два словаря-справочника; автором одного из них был Ноний Марцелл, автором другого — Арусиан Мессий.

Словарь Нония состоял из двадцати глав и преследовал разные цели. Так, в первой главе указывается этимология или исконное значение слов, в четвертой (занимающей почти третью часть всего словаря) объясняются многозначные слова, в пятой проводится различие между синонимами. В главах 13—15 и 17—20 использован тематический принцип описания лексики, здесь, например, дается толкование слов, обозначающих типы кораблей (гл. 13), виды одежды (гл. 14), разновидности сосудов (гл. 15).<sup>31</sup> В ряде глав отмечаются грамматические особенности слов — колебания рода существительных, необычные падежные формы и др.

Иного типа словарь Арусиана. Это — справочник синтаксической сочетаемости. В словарь входят глаголы, прилагательные, существительные, предлоги, и для каждого слова приводятся возможные синтаксические конструкции. Примеры для иллюстраций

---

<sup>30</sup> При описании частей речи Донат почти целиком следовал сложившейся в эпоху Империи грамматической традиции. О разногласиях римских языковедов по отдельным вопросам учения о частях речи см.: J e e r L. Zur Geschichte der Lehre von den Redeteilen bei den lateinischen Grammatikern. Leipzig, 1893.

<sup>31</sup> К тематическим главам относилась и гл. 16 — единственный раздел словаря, который до нас не дошел.



взяты, как правило, из произведений Вергилия, Саллюстия, Теренция и Циперона.

На рубеже IV и V вв. римский грек Макробий написал трактат «О различиях и сходствах греческого и латинского глагола» (*De differentiis et similitudinibus graeci et latiniq[ue] verbi*). Значительная часть трактата уделена. Автор систематически сопоставляет акциденции глагола греческого и латинского языков в отношении состава и образования их форм. Вопросам семантики уделено мало внимания. Трактат Макробия был, возможно, единственной в римском языкознании специальной работой по сопоставительному изучению грамматики.

В конце IV в. Римская империя раскололась на две части — Западную римскую империю со столицей в Риме и Восточную римскую империю со столицей в Константинополе. С начала V в. Западная римская империя попала в полосу острых социальных конфликтов и губительных варварских нашествий и в 476 г. прекратила свое существование.

Константинополь, провозглашенный в 330 г. новой столицей тогда еще единой римской империи, быстро превратился в важный центр римской культуры и науки. Долгое время его называли Новым Римом. В IV—VI вв. в Константинополе работало немало крупных специалистов по латинскому языку. Особое место среди них занимает Присциан, который в первые десятилетия VI в. создал самую значительную латинскую грамматику древности (*Institutio de arte grammatica* или, согласно поздней традиции, *Institutiones grammaticae* — «Курс грамматики»).

В своем «Курсе» Присциан во многом опирался на грамматические учения греков, особенно на труды Аполлония Дискола (II в.). Вместе с тем он широко использовал материалы и наблюдения римских грамматиков, в первую очередь Флавия Капра.

В «Курсе» Присциана восемнадцать книг. Более пяти книг посвящено имени, три — глаголу, две — местоимению, по одной книге — причастию, предлогу и союзу, одна книга — наречию и междометию. В отличие от традиционных римских руководств по грамматике у Присциана нет стилистики, но зато в качестве самостоятельного раздела у него выделен синтаксис, который занимает две последние книги.<sup>32</sup>

В определении предложения Присциан учитывает не только семантический, но и структурный аспект: «Предложение есть надлежащая упорядоченность слов, выражающая законченную мысль» (GL II, р. 53). Описание структуры предложения дается в терминах частей речи. Понятие членов предложения у Присциана, так же как у его предшественников, отсутствует. Следуя Аполлонию, Присциан считает имя и глагол главными частями речи, потому что

---

<sup>32</sup> Грамматическая система Присциана, его источники, а также самостоятельный вклад в изучение латинского языка детально рассматриваются в кн.: О л е н и ч Р. М. Прісціан і антична граматика. Львів, 1973.

только они, по его мнению, необходимы в завершенном предложении. Обосновывая свою позицию, Присциан использует процедуры опущения и подстановки. Если, пишет он, в предложении *idem homo lapsus heu hodie concidit* 'тот самый человек, оступившись, увы, сегодня упал' опустить имя или глагол, оно будет незавершенным: *idem lapsus heu hodie concidit* 'тот самый, оступившись, увы, сегодня упал', *idem homo lapsus heu hodie* 'тот самый человек, оступившись, увы, сегодня'; но если в том же предложении опустить любую другую часть речи, завершенность предложения не пострадает: *idem homo lapsus heu concidit* 'тот самый человек, оступившись, увы, упал', *idem homo heu hodie concidit* 'тот самый человек, увы, сегодня упал', *idem homo cecidit* 'тот самый человек упал', *homo cecidit* 'человек упал'. Правда, продолжает Присциан, завершенное предложение может создаваться также сочетанием глагола и местоимения, например *ego ambulo* 'я гуляю', *tu ambulas* 'ты гуляешь', однако в таких случаях местоимение стоит вместо имени (GL III, p. 116). Присциан ставит также вопрос об иерархии имени и глагола и решает его в пользу имени, «потому что действовать и страдать свойственно субстанции, которую обозначают имена, а ими порождается свойство глагола, т. е. действие и страдание» (там же). Учение Аполлония—Присциана о главенствующем положении имени и глагола среди частей речи родственно синтаксической концепции нашего времени о господстве в предложении подлежащего и сказуемого.

Присциан подвел своего рода итог исканиям и достижениям античного языкознания. В средние века его «Курс» был после грамматики Доната самым распространенным учебником латинского языка. Около восьми веков (до XIV в.) он служил основой лингвистической теории в странах Западной Европы. Влияние Присциана на разработку грамматических вопросов было значительным еще в XVIII в.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АДД — Автореферат докторской диссертации.  
АКД — Автореферат кандидатской диссертации.  
ВДИ — Вестник древней истории.  
ВЯ — Вопросы языкознания.  
ФН — Филологические науки.  
AJPh — American Journal of Philology.  
BiOr — Bibliotheca Orientalis.  
FL — Foundations of Language.  
JAOS — Journal of the American Oriental Society.  
JCS — Journal of Cuneiform Studies.  
JDAI — Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.  
JEA — The Journal of Egyptian Archaeology.  
JEGPh — The Journal of English and Germanic Philology.  
JNES — Journal of Near Eastern Studies.  
KlF — Kleinasiatische Forschungen.  
LSS — Leipziger Semitische Studien.  
MAOG — Mitteilungen der Alt-Orientalischen Gesellschaft.  
MIO — Mitteilungen des Instituts für Orientforschung.  
OLZ — Orientalische Literaturzeitung.  
PhW — Philologische Wochenschrift.  
PSBA — Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.  
RHA — Revue hittite et asianique.  
RSO — Rivista degli Studi Orientali.  
StBot — Studien zu den Bogazköy-Texten.  
TPhS — Transactions of the Philological Society.  
ZA — Zeitschrift für Assyriologie.  
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие (С. Д. Кацнельсон) . . . . .	3
ДРЕВНИЙ ВОСТОК	
Представления древних египтян о языковых явлениях (Н. С. Петровский) . . . . .	7
Вавилонская филология (III—I тыс. до н. э.) (И. М. Дьяконов) . . .	17
Зачатки исследования языка у хеттов (Вяч. Вс. Иванов) . . . . .	37
Возникновение знаний о языке у финикиян (И. Ш. Шифман) . . . . .	58
Лингвистические знания в Древней Индии (Т. Е. Катенина, В. И. Рудой) . . . . .	66
История языкознания в Китае (I тыс. до н. э.—I тыс. н. э.) (С. Е. Яхонтов) . . . . .	92
АНТИЧНОСТЬ	
Греческие мыслители V в. до н. э. (И. А. Перельмутер) . . . . .	110
Платон (И. А. Перельмутер) . . . . .	130
Аристотель (И. А. Перельмутер) . . . . .	156
Философские школы эпохи эллинизма (И. А. Перельмутер) . . . . .	180
Александрийская грамматическая школа (Р. М. Оленич) . . . . .	214
Языкознание древнего Рима (С. А. Шубик) . . . . .	233
Список сокращений . . . . .	257

*ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ.  
ДРЕВНИЙ МИР*

*Утверждено к печати Институтом языкознания  
АН СССР*

Редактор издательства Л. М. Романова  
Художник Д. А. Данилов  
Технический редактор Р. А. Кондратьева  
Корректоры Л. Я. Коэм и Г. И. Суворова

ИБ № 8678

Сдано в набор 10.08.79. Подписано к печати 18.12.79.  
М-41276. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 1.  
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> =  
=16,25 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 18,99. Тираж 4850. Изд. № 7266.  
Тип. зак. 613. Цена 2 р. 10 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»  
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

---

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая типография издательства «Наука»  
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА» МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ  
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»**

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:  
117192 Москва В-192, Мичуринский пр., 12

магазин «Книга—почтой» Центральной конторы «Академкнига»;  
197110 Ленинград П-110, Петрозаводская ул., 7

магазин «Книга—почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига»  
или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга—почтой»

480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга—почтой»);

370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13;

320005 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24 («Книга—почтой»);

734001 Душанбе, пр. Ленина, 95 («Книга—почтой»);

335009 Ереван, ул. Туманяна, 31;

664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289;

252030 Киев, ул. Ленина, 42;

252030 Киев, ул. Пирогова, 2;

252142 Киев, пр. Вернадского, 79;

252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга—почтой»);

277001 Кишинев, ул. Пирогова, 28 («Книга—почтой»);

343900 Краматорск (Донецкой обл.), ул. Марата, 1;

660049 Красноярск, пр. Мира, 84;

443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2 («Книга—почтой»);

192104 Ленинград, Д-120, Литейный пр., 57;

199164 Ленинград, Таможенный пер., 2;

199034 Ленинград, 9 линия, 16;

220012 Минск, Ленинский пр., 72 («Книга—почтой»);

103009 Москва, ул. Горького, 8;

117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;

630076 Новосибирск, Красный пр., 51;

630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр., 22 («Книга—почтой»);

142292 Пушкино (Московской обл.), «Академкнига»;

620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга—почтой»);

700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;

700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;

700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга—почтой»);

634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;

450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга—почтой»);

450025 Уфа, Коммунистическая ул., 49;

720001 Фрунзе, бульв. Дзержинского, 42 («Книга—почтой»);

310003 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга—почтой»).

# ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
5	3 снизу	Antropo-	Anthropo-
48	3 »	-hettitischer	-hettitischen
52	1 сверху	[GAM t]	[GÁM t-]
54	18 снизу	NU. GAL-kán	NU. GÀL-kán
55	11 »	Структуры	Структура
63	15 сверху	лемед	ламед
85	11 »	образамц	образам
174	10 снизу	Pristotele	Aristotele
212	21 »	— «аномалию»	— аномалию»
253	8 »	copulativea	copulativae